

ДРУЖБА НАРОДОВ



● *Евгений Солонович*
Честь по чести
Стихи

● *Марина Москвина*
Кентавр и Маруся
Сюжет из будущей книги

● *Игорь Булкаты*
Фигляр предзимья
Рассказы

● *Юрий Нечипоренко, Сергей Седов*
Сказки на два голоса

● *Анатолий Цирульников*
Поцелуй юкагирки
Записки путешественника



8'2017

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LIVEJOURNAL: http://druzha-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomrk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.06.2017.
Подписано в печать 27.07.2017.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 6255. Цена свободная.

Дружба народов

8'2017

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Лев
АННИНСКИЙ
Ирина
ДОРОНИНА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

Александр
ЭБАНОИДЗЕ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Евгений СОЛОНОВИЧ. Честь по чести. Стихи	3
Марина МОСКВИНА. Кентавр и Маруся. Сюжет из будущей книги	6
Сергей ЗОЛОТАРЁВ. Планировка пространства. Стихи	36
Сергей ПРУДНИКОВ. Здравствуй, папа. Записки современного тридцатилетнего	40
Владимир КОЗЛОВ. Остановись, живи. Стихи	84
Сергей РЯЗАНЦЕВ. Кочевники проспекта Возрождения. Повесть	87
Ганна ШЕВЧЕНКО. Особенности естества. Стихи	113
Игорь БУЛКАТЫ. Фигляр предзимья. Рассказы	116
Александр КЛИМОВ-ЮЖИН. Так здесь живут. Стихи	136
Евгений ВОЙСКУНСКИЙ. Дело Кузнецова. Отрывок из романа	139
Олег КАВУН. Фрески эпохи Когусё. Рассказ	162
Илья ОГАНДЖАНОВ. Бесприигрышная лотерея. Рассказ	178

Дружба на вырост

Юрий НЕЧИПОРЕНКО, Сергей СЕДОВ. Сказки на два голоса	185
«НА ЗЕМЛЕ ВСЁ ХОРОШО»	
Многонациональная Россия: стихи для детей	195
Вася ВЕЙККИ. Кто кошке глаза и хвост дал. Пьеса в шести действиях	201

Первые стихи

Андрей ГРИЦМАН. «...и мне приснился стих»	206
---	-----

Нация и мир

Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Поцелуй югагирки. Записки путешественника	208
---	-----

Публицистика

Вера ХАРЧЕНКО. Феномен Ахты: горы и люди	228
--	-----

Литературный барометр

Евгений АБДУЛЛАЕВ. «Я б в писатели пошёл...»	233
--	-----

Подробное чтение

Ефим ГОФМАН. Задачу передоказав (Е. Бершин. «Гранёный воздух»)	236
--	-----

Культурная хроника

Эвелина МЕЛЕНЕВСКАЯ. Вокруг родника. О ереванских конференциях русистов	243
--	-----

Из почты «ДН»

На авансцене общественного внимания. Два письма по следам публикации о Константине Федине	248
--	-----

Эхо

Дурылинский окоём. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	251
Summary	256

Евгений Солонович

Честь по чести

* * *

Старомодный
(поздно меняться),
у привычного на поводу,
сторонюсь настырных новаций,
в ногу с временем не попаду.
Что ни день,
то новая штука,
куча непостижимых затей...
Старый бука,
чураюсь фейсбука
и других социальных сетей.
Скайп хвалёный,
смартфоны,
планшеты,
всевозможные нано и проч.
века нынешнего приметы
мне освоить уже невмочь.
Хорошо это или плохо,
жил без них и без них доживу,
довекую отпущенный век,
современник царя Гороха,
дотопчу если не траву,
то прошлогодний снег.

Солонович Евгений Михайлович — поэт, переводчик. Родился в 1933 году в Крыму, в г. Симферополь. Его переводы из Данте, Петрарки, Ариосто, Джузеппе Джоакино Белли, нобелевского лауреата Эудженио Монтале и других итальянских поэтов отмечены рядом литературных премий, в том числе Государственной премией Италии в области художественного перевода, премиями «Венец», «Мастер», премией журнала «Октябрь». Постоянный автор «ДН». Живет в Москве.

* * *

Берeditь часто значит беречь,
сыпать соль на бессонную рану,
с губ невидимых считывать речь,
обернувшись к слепому экрану.
Берeditь значит не забывать,
доверять говорящим зарубкам,
значит масло в огонь подливать,
вспоминая средь ночи о хрупком
счастье...

* * *

Меняться и не думает картина — сегодня утром, как вчера, всё та же,
действительность надежде отомстила
невесть за что, от взгляда скрыв миражи,
лишив его желанного обзора — от входа в интернет до горизонта,
прибавив опасений, что не скоро расширится настолько сможет зона
приёма, чтобы дать услышать голос, который ни с одним другим не спутать.
Волна устойчивая ни на волос не съедет, не рискнёт преступно спрятать
иллюзию в бесчувственном эфире, удержит на неуловимом месте,
и несколько секунд по крайней мере
всё будет, как должно быть, — честь по чести.

* * *

На бюллетене суфлёр, трудно играть без подсказки,
вязнет в молчании спор, важный для скорой развязки,
комом заглавная роль, что бы там ни говорили.
Ждёт онемевший герой помощи от героини,
тайного шёпота ждёт, в ужасе перед провалом
градом катящийся пот пряча под ржавым забралом.
В паузе думает зал, так ли должно быть, не так ли...
Я бы слова подсказал,
если бы знал — подсказал,
брешь заполняя в спектакле.

* * *

Может, зря не завидую тем,
кто умеет писать без помарок,
кто завидное множество тем
получил ниоткуда в подарок,

кто не лезет за словом в карман
и в словесном любом поединке,
стиснув зубы, ведёт на таран
аргументы свои без запинки,

кто, как будто бы в шутку хвалясь,
под конец разговора, под занавес,
намекнёт, что он с Музой вась-вась...

Может, тут бы и вспомнить про зависть?

* * *

Смычки отложив, сверчки
предпочли пиццикато.

Протираю очки,
обернувшись предвзято.
Путаю день и ночь,
близь перепутал с далью.
Полуслеп-полузряч,
то, чего нет, представлю,
ту, кого нет, найду,
лёгкую на помине,
минное поле пройду,
не подорвавшись на mine.
Той, кого нет, шепну
мысленно: «Здравствуй, ну,
здравствуй, милая,
здравствуй...»

* * *

Не отдашь себя себе на выучку,
переложить на кого вину?
Сам себе не поспешишь на выручку,
в собственном окажешься плену,
не избавишься вовек от собственных
минусов, тебе лишь одному,
одному тебе на свете свойственных,
лишь тебе и больше никому.
Не пошевелишься, не почешешься,
не сожмёшь до боли кулаки,
не в чужих — в своих глазах посмешище,
завтра с красной не начнёшь строки.

Марина Москвина

Кентавр и Маруся

Сюжет из будущей книги

Ботик — сын Фили Таранды с Покровки — родился с первыми петухами на закате девятнадцатого века, в русском народе этот июльский денек звали Прокл-Великие росы.

Действительно, утром на траву обильная выпала роса. Филя вынес Ботика из дома и окунул в густой речной туман, омыл от макушки до пяток росой: считается, что Прокловы росы целебны и защищают от недоброго глаза.

Через пару часов на Песковатиках из благословенного чрева Доры Блюмкиной вынырнул товарищ Ботика, Иона. Легенда гласит, что в руках его был маленький медный кларнет. И вместо традиционного младенческого крика он исполнил на нем что-то предельно простое, но трогательное душу, быть может, куплет из песенки «Наплачь мне полную реку слез», которую так любила напевать портниха Дора за своим шитьем.

Два этих поистине вселенских события произошли в славном городе Витебске — на ветру, на холмах, где, и правда, все летело: речка, мост, дорога, узкие улочки, заросшие подорожником и лебедой, кабаки с жестяными вывесками, разукрашенные пенящимися кружками и курицей на вертеле, высокая белая церковь на Соборной площади, первая пропускная баня, плуговой завод, игольная фабрика, шляпочное кустарное предприятие — Володарского, дом восемь, кружок по изучению критики чистого разума Канта — Зеленая, пять, приют для малолетних преступников на Богословской, общественные прачечные, тюремная библиотека при губернской тюрьме, балетная студия на Верхне-Петровской улице...

— Витебск. Это, знаешь, очень обаятельный город, — говорил мне Ботик. — В отличие от Минска...

— К тому же речной простор — неременное условие для города летящего... — подхватывала Стеша. — Холмы. И река. И тебе обеспечен поэтичнейший фундамент для любых диалогов, объяснений в любви и прочее...

Марина Москвина — прозаик, автор многих книг для детей и взрослых, в том числе романов «Гений безответной любви», «Роман с Луной», «Мусорная корзина для Алмазной сутры», а также книг о путешествиях в Японию, Индию, Гималаи и Арктику. Лауреат и финалист многочисленных литературных премий. Постоянный автор «ДН». Последние публикации в нашем журнале — роман «Крио» (2011, № 12), рассказ «Скрипка Зюси» (2013, № 11).

Действительно, в связи с общей покатостью и взгорбленностью ландшафта дома выглядели, как на картинах Шагала, тот появился на свет на тех же Песковатиках, а после очередного пожара всей семьей они перебрались на Покровку.

Ботик показывал мне в альбоме репродукций своего прославленного соседа, каким-то чудом раздобытом Стешей в ознаменование семидесятилетия Ботика, их скособоченный дом, обнесенный покосившимся забором, и точно такое жилище Ионы; только перед калиткой Фили Таранды бродила голубая коза, а у Блюмкиных об угол забора чесались свиньи.

Надо ж было такому случиться, что прямо на Прокла с его немереными росами в маленьком деревянном доме позади тюрьмы на окраине Витебска вспыхнул пожар. Огонь охватил весь город, что случалось довольно часто и до и после столь знаменательных происшествий.

Отец Ионы — Зюся, представьте, скрипичный мастер, решил вывезти с поля солому на подстилку их чалой коровке. По дороге солома загорелась. К счастью, неподалеку высилась пожарная каланча. Туда и помчался Зюся на пылающей колеснице, запряженной соседским мерином Капитоном, надеясь, что пожарные помогут спасти хоть что-нибудь из его добра. Однако, захваченные врасплох, те не сумели справиться с пламенем, так что вместе с соломой сгорели и телега, и пожарная часть города Витебска.

Мой прадед Филя был горшечник, на его плошки, кувшины с горшками слетались порой не только соседки со всей округи — тетушки Гутя, Шая, Ривка, Амалия, Мира, Агнесса: из-под верхней юбки торчит нижняя, из-под одной косынки другая, из-под пятницы суббота, белозубые улыбки, в волосах запутались гребни и шпильки — жены булочника, извозчика, мясника и грузчика, что опять же детально отображено на полотнах всемирно известного очевидца их полетов, но и прибывали гонцы от более важных персон, таких как письмоводитель Виктор Бонифатьевич Климаневский, городничий штабс-капитан Леонард Иванович Готфрид, бургомистр, коллежский ассессор, уездный казначей, титулярный советник — весь высший свет Филя обеспечивал своей продукцией.

Даже секретарь городского старосты Козьма Иванович Блиодоухо высоко ценил Филину утварь!.. и отправлял за его гончарными изделиями свою почтенную супругу Евну Иоселевну Шапиру. Нет смысла говорить, что уездный стряпчий Болеслав Федорович Штромберг затоваривался только у нашего Фили.

Сколько лет прошло с той чудной поры, когда мне Ботик с гордостью перечислял эти достославные фамилии. Ботик припоминал, что и Хазя Шагал — селедочник со своей крохотной женой Фейгой тоже накупали у них горшки, когда перебрались с Песковатиков на Покровку.

Фейга любила поговорить, и они подолгу судачили с моей тихой и кроткой прабабушкой Ларочкой. Фейга места не находила: ее сын, Марк, вздумал стать художником.

— Да ты спятил! — она ему говорила. — Что скажут люди???

Тот ехал на трамвае вниз к Соборной площади и увидел вывеску: «Школа живописи и рисунка художника Пэна».

Марк уговорил Фейгу поехать с ним к Пэну, вот они заходят — на стенах развешены портреты: дочь градоначальника Пржевальского, дородная супруга, а рядом и сам Викентий Феликсович, по слухам, даже на ночь не снимавший с груди серебряную медаль «За усердие». Портрет главы сиротского суда Евстафия Францеви-

ча Цитринко, штатного врача богоугодных заведений Артура Самсоновича Шоппо, да что Шоппо — бери выше! — уездный предводитель дворянства капитан Игнатий Имануилович Дроздовский, кавалер ордена Святой Анны третьей степени, заказал Пэну свой парадный портрет.

Фейга впервые очутилась в мастерской художника, она озиралась по сторонам боязливо, оглядывала портреты, вдруг ей бросилась в глаза картина, где лежала обнаженная натурщица.

— Такой срам! — рассказывала Фейга Ларочке. — Я вся вспыхнула, спрашиваю: «Это кто?..»

А художник Юрий Моисеевич Пэн — экстравагантная личность в длиннополом сюртуке, карманные часы на цепочке, светлая борода клинышком — потупился и ответил, смущенно улыбнувшись:

— Это я.

На Покровку из-за очередного пожара, или потопа, или падения метеорита перетащили пожитки и заняли ветхий домик, выросший по пояс в землю, Зюся Блюмкин и его семейство. При этом неунывающая Дора как ни в чем не бывало вывесила на входной двери свою неизменную табличку с надписью «Моды Парижа»!

Три семьи обитали поблизости друг от друга, Иона с Ботиком играли в перышки и в городки, лазали по крышам. Ботик с сестрами часто навевывались в лавку Хази, чтобы за хвост вытащить из бочки мокрую селедку.

— Нам, пожалуйста, на три копейки селедочки. У вас такая вкусная! — говорила Асенька.

В осенние праздники дружно вытряхивали из одежды в холодную Двину свои грехи. В час ночи Иона бежал петь в синагогу. А Ботик забирался в сад через забор, воровал и ел яблоки, тогда как Иона учился у кантора грамоте и пению, пиликал на скрипочке, вся синагога по праздникам внимала его звонкому сопрано.

Ася ходила хвостиком за Ионой, глядела на него влюбленными глазами. Свою любовь к нему — как полыхающий факел — она пронесла сквозь целую жизнь, хотя у нее были и мужья, и высокопоставленные любовники.

Но, она говорила в глубокой старости, если бы Иона Блюмкин позвал ее, хотя бы когда-нибудь, она говорила, глядя на проплывающее в окне облако, грустно качая головой, хотя бы во сне, в больничном бреде или спяну — одними губами прошептал: «Ася», — она бы услышала на краю света и очертя голову бросилась за ним куда угодно, хоть в Соединенные Штаты, хоть на берега Амура.

— В детстве я очень любила музыку, — она рассказывала нам за праздничным столом. — Мне было полтора года, мы жили в Витебске, когда мама отправила меня погулять во двор, а по улице проходил военный оркестр. И я ушла за военным оркестром, подпевая и дирижируя. И на протяжении пяти с лишним часов мама не знала, где я. Меня нашли чуть ли не на другом конце города, я стояла и пела около стенки дома, раскачиваясь в такт, стучая попкой о стену. Я потом ей всю жизнь говорила:

«КАК ТЫ МОГЛА???»

В тринадцать лет Ботик влюбился в девочку Марусю. На Рождество в доме у них украшали живую елку: Маруся и ее кузина Клара — бумажными розами, Ботик с Ионой красили картофелины: Иона — серебряной, Ботик — золотой краской, еще они золотили грецкие орехи, на нитках и на веревочках развешивали на ветках.

Клара вздумала отличиться, схватила из коробки стеклянную Вифлеемскую звезду, вскинула над головой и уронила на пол — один лучик откололся с тихим звоном, упав возле крестовины. Девочка так расстроилась, что плакала, плакала, пришлось всем ее обнимать, утешать, даже хоровод водить вокруг нее, так она горевала. Но мать Маруси, Аделаида, принесла клею и все поправила, зажгла свечи, угостила детей пряниками. И потом — уже с улицы — Ботик с Ионой долго смотрели на мерцавшую елку в темных окнах и жевали засахаренные груши, которыми их снабдила на дорожку Марусина бабушка.

Ботик говорил, когда он впервые увидел Марусю, на ней было платье в маленький синий цветочек. Что очень шло к ее голубым глазам. Еще у нее были каштановые кудри, довольно длинный нос и белые зубы, все это разом свело его с ума. А что окончательно присушило к ней Ботика — она всегда встречала его улыбкой!

— Я когда тебя вижу, прямо весь... — Ботик бормотал.

— Ну? Ну?.. — тормозила его Маруся.

— Никак не подберу слова.

— А все-таки?..

— ...Трепещу!

Ботик съехал с катушек от своей сумасшедшей любви, он мог часами бродить под ее окнами, по любому снегу, ждал Марусю из гимназии, вечерами они катались на коньках в Городском саду. Она в белом кроличьем капоре мчалась на снегурках, привязанных к валенкам, а у него коньков не было, откуда у него коньки? Поэтому он просто бежал с ней рядом — вдруг она поскользнется, тогда он подхватит ее, и она не шлепнется на лед, не ушибет локти и колени.

Как-то раз они пришли засветло на каток, небо голубое, высокое, золотой закат, но стали наплывать облака, сгущаться сумерки, в парке зажгли фонари, снежные дорожки окрасились теплым светом. В те времена там бублики продавали, шоколадные коврижки. Каток был окружен гирляндой разноцветных лампочек. Звучала музыка. Падал снег.

...Внезапно закружились летние карусели. Кругом сугробы, а сквозь густой снегопад сияют и крутятся пустые кресла в вышине, поскрипывая несмазанными шарнирами.

Ботик замер, почувствовал себя парящим в воздухе, совсем прозрачным: что только небо одно на Земле — без земли, и все неописуемо невесомо, открыто и сверкает.

Так он стоял, откинув голову, с застывшим взглядом, снег падал ему на лицо, а он никого не замечал вокруг — даже забыл про Марусю.

Кстати, поэтому его и вытурили из гимназии, что он выпадал из действительности. Задумается и полетит неведомо куда — в какие-то фиолетовые дали. Его зовут к доске, трясут, колотят линейкой, треплют за ухо, а он сидит себе — не шелохнется, пока душа не вернется обратно в тело — по звонку. Тогда он вскакивал и бежал на перемену.

Естественно, Марусина родня сомневалась, что Ботик — подходящий жених.

— Твой Ботик, — удивленно говорила ей бабушка, — сегодня задумался и выпил пять чашек кофе и шесть — чаю.

Маруся никого не слушала, она твердо знала: Ботик — ее судьба и любовь. Единственная. На всю жизнь. И хотя родичам было любопытно, что он там пишет, этот «грамотей», в своих цидульках, Маруся никому не позволяла читать его письма.

Он ей писал:

«Сколько яблок! Сколько лопухов и ромашек, сколько мух, пауков и жуков, а ворон на дубу! А камней и травы! А облаков, а воды в колодце — и все такое живое!» — заклеивал слюнями конверт и бежал на почту. Конная почта в Витебске стояла на углу Оршанского и Смоленского шоссе.

Веснами напролет он ждал ее на речном берегу, растянувшись на траве, прижав босые пятки к дубу. Черемуха, яблони, вишни — все цветет! Внизу одуванчики, полевые анютины глазки. Головы куликов торчат из травы. Гуси — они там тучами ходят. Орел низко пролетит, зажав в клюве мышь.

А в реку войдешь — рыбы за ноги хватают. Двина — рыбная река: сомы, толстолобики — с поросенка, не утянешь.

Однажды черная собака стояла в реке по грудь — полностью неподвижно, — угольный хвост лежал на поверхности воды, и такой покой был у нее в глазах, что Ботик дрогнул. Как будто все загромождение земли улетучилось куда-то, и он попал в самое Сердце жизни. Оно было так полно и так пусто. И в этой полноте пустоты не было ни Ботика, ни Маруси, ни черной собаки.

И снова он целый час молчал, как пришибленный, хотя Маруся давно пришла, ее мелодичный голос волновал Ботика, она звала его, звала... Лишь только очнулся, когда Маруся сама — в первый раз — обняла его и поцеловала.

Летом они гуляли в лесу, пахло медуницей, кричали кукушки, удода, соловьи...

— Знаешь, — говорил ей Ботик, — когда я сижу один, я часто разговариваю с Ионей, с тобой. Спорю, в чем-то убеждаю!!!

— А я думаю: расскажу Ботику! И — начинаю рассказывать!!! — заливалась Маруся.

Мы веселились с ней, прыгали, просто катались от смеха по траве, — говорил мне Ботик, уже старый, лысый, на даче в Валентиновке. — Даже ничего нет смешного-то, она идет — посмеивается. А если какой прикол — ну прямо закатывается! Ты у нас — в нее: вечно рот до ушей...

И она все знала всегда:

— Вот лаванда, — говорила, — вон шалфей...

А я ведь жил и понятия не имел — где что.

В одно прекрасное утро они набрали на пруд лесной, заросший ряской, увидели головастика, как они рождаются из икры, и листья кувшинок становятся большими прямо на глазах. Лягушки поют, раздувают пузыри щек, заходятся соловьи.

И тут она сказала:

— Даже когда мы еще не были знакомы, я уже тебя знала и любила.

Она спрятала лицо у меня на груди, а я обнял ее и так крепко прижал к себе, с такой силой — она даже закричала. Кажется: «Дурак!» Но точно не «Идиот!» А потом тихо сказала: «Я хочу на тебя посмотреть». Тогда я выпустил ее из своих объятий, — рассказывал мне Ботик, — и быстренько скинул рубаху со штанами.

Маруся глядит на меня — ни жива, ни мертва, она ведь совсем не то имела в виду. А я застыл перед ней, в чем мать родила, весь объятый пламенем, руки у меня красные, горячие, энергией так и пышут. Что такое жизнь? Ничего не понимаю!

Ботик стоял, вдребезги пьяный от чарки, наполненной страстью, не зная никаких границ и преград, можно сказать, заполнил собой целое мироздание, весь разгорелся, словно финикийский бог солнца — Гелиогабал...

И в эту-то самую минуту — откуда ни возьмись — на него налетели шершни!

Чудовищные шершни полосатые, гудящие, как люфтвафферы, резали распаленное пространство вокруг Ботика со скоростью звука, отскакивали и снова таранили. Он бросился бежать, ломая ветки, продираясь сквозь колючие заросли шиповника, но те упорно преследовали его, пока он не плюхнулся с головой в пруд.

Рой шершней кружил над прудом, казалось, их жуткое жужжание проникало через водную толщу. Ботик боялся нос высунуть, только пускал пузыри. Храбрая Маруся с ревом кинулась в воду, размахивая его штанами над головой, словно шашкой. Она была так страшна в этой битве, что шершни испугались и улетели.

Но Ботик все медлил и медлил всплывать. На дне он сразу же увяз в иле, глаза его начали привыкать к подводному полусумраку. Ласковая вода, синевая, он стал оглядывать заросшие мхом валуны, ствол утонувшего дерева, с которым слились два тритона — и если б не гребни ящеров, и не пятнистое оранжевое брюхо, их было бы совсем не различить на черной набухшей коре...

Крупная улитка с завитой раковиной ползла, высунув широкую плоскую ногу и упиравшись ею в грунт, вода плавно обтекала черешки кувшинок.

Неясные тени появлялись, скользили, исчезали в глубине, мягкий свет менял свои оттенки. В ушах стоял плеск, тихий рокот, какие-то обрывки разговоров, ворчание. В подводных колоколах паучьих гнезд серебрились воздушные пузырьки.

Над прудом горело солнце, его лучи, преломляясь, тянулись в этот призрачный мир сквозь болотную ряску. Маруся уставилась на водную пелену, покрытую рябью, ее отражение плясало и ломалось в зеркале пруда, сливаясь с облаками и стрекозами.

Вдруг ей показалось, что Ботик превратился в рыбу.

И правда, в мутной глубине сверкнул серебряный бок и чернильный глаз в радужной оболочке.

— А ну, превращайся обратно! — заорала Маруся. — А то я превращусь в птицу и улечу, и ты меня больше никогда не увидишь!

Ботик вынырнул, встряхнулся, забрал у нее свои штаны и двинулся к берегу.

На плече у него блестела серебряная чешуйка.

— Знаешь, какая девичья фамилия была у моей Маруси? — спрашивал меня Ботик. — Небесная. Маруся Небесная. Как тебе это нравится? Чистый ангел, дочь морского офицера, она родилась с золотой ложечкой во рту. И я — взъерошенный, косматый, со вздыбленной плотью, вздымающимся до небес членом, могучим и негибачимым, крепким, как сталь. Я пылал такой страстью всепожирающей, что не мог ни думать, ни разговаривать, меня спросят, а я мычу в ответ, вот до чего дошел. Мы с ней бродили по Витебску, израненные своей любовью, сидели, обнявшись, на берегу Двины, смотрели, как идут баржи и плоты, покачиваясь, плывут под мостом. Иногда плоты врезались в опоры. Бревна трещали и становились дыбом, гребцы еле успевали увернуться. А мы целовались, целовались, забыв обо всем на свете.

От нее пахло лимоном и ванилью, в кондитерской на Задуновской у нас продавалось такое лимонное печенье. Стоило ей отойти от меня хоть на шаг, я всюду искал этот запах, нюх у меня обострился, а зрение стало сферическим, похоже, я возвращался в мир животных и дальше — по какому-то сияющему туннелю катился к началу мира, к божественной сердцевине нашего с ней существа.

Мы изнемогали от любви. В теле у меня гудело электричество, ты, наверно, знаешь это чувство, когда электрические токи движутся в твоих венах, подобно крови. Филя говорил, я в темноте светился зеленым светом, как гнилой пень. От меня током било. Я мог бы летать и сквозь стены проходить. А сам ночи напролет, идиот,

простаивал под ее окнами. Она тоже не ложилась, маячила до рассвета у темного окна, хотя оба мы валялись с ног от усталости.

— Ты моя первая и последняя любовь, — я говорил ей, — любовь до гроба.

— Хорошо, — она отвечала голосом, от которого у меня дрожь пробегала по телу и волосы ерошились на голове.

Я качался как маятник между отчаянием и надеждой, непреодолимым соблазном и диким трепетом перед Небесной Марусей. Я не торопил ее, ждал, когда она окончит гимназию. Стоял у двери женской витебской гимназии и ждал — в прямом смысле, как часовой с ружьем.

Филя мне говорил:

— Борька, надо тебе чем-нибудь заняться! Хватит ночами жечь керосин. Я буду учить тебя лепить глиняные миски, — и поставил меня перед гончарным кругом.

А теперь представь — крутится гончарный круг, у отца выходят обыкновенные горшки, а под моей рукой рождаются кувшины несусветной красоты в виде торса женщины, причем вот именно моей Маруси. Ее талия, грудь, бедра, плечи и живот, ее округлые теплые мягкие ягодицы, мои руки обвивали ее стан, сплетались с ее руками, сливались в нестерпимом блаженстве, и если к этому сосуду, к его полураскрывшемуся розовому горлу, приложишь ухо — там слышались бормотанье, шепоты и стоны, словно из раковины морской.

Ой, Филя ругал меня, бил даже, пытался опустить на грешную землю. Только тогда притих, когда у него в один миг раскупили мои кувшины и стали еще просить.

Но мать, Ларочка, покойница, никак не желала смириться с тем, что ее дорогое опекаемое дитя гибнет от любви и страсть ему затмевает разум. На меня штаны не влезали, а натянешь с грехом пополам, так они трещали и расплзались по швам.

Дора Блюмкина по просьбе Ларочки сшила для меня просторную рубаху до колен, так все только еще больше обращали внимание. Идешь, а впереди палка, как будто скачешь на деревянном коне.

Все ей говорили:

— Да ты жени его!

— Так он несовершеннолетний!

— Тогда отведи его к проститутке, Эльке-распутнице, раз ему так приспичило.

— Или к Маггиду, — сказал благочестивый Эзра-хламовщик, он всегда всех поражал своим здравым суждением. — Маггид приведет его в чувство с помощью особых таинств и заклинаний. Не к эскулапу же его вести, в конце концов! Впрочем, — сказал он Ларочке, — я имею некоторое медицинское образование — я был массажистом в женской бане.

— Так это как раз то, что нужно! — обрадовалась Лара.

— Что ж, в таком случае я тебе дам драгоценный совет, — задумчиво проговорил Эзра. — Мой дедушка был старый еврей. Когда он умирал, он сказал: «Я тебе открою секрет ото всех болезней, в том числе от любви, и ты проживешь долго и умрешь здоровым: три капли воды на стакан водки, и тщательно размешать!» Это были его последние слова, — печально закончил Эзра.

— Царствие небесное, — перекрестилась Ларочка. — Пусть покоится с миром. И она безнадежно покосилась на мои оттопыренные штаны.

Летними вечерами Иона играл на кларнете в витебском Городском саду.

Там были деревянная эстрада и в пять рядов скамейки, потом клумбы

с королевскими бегониями, настурциями и ночным табаком, дальше — танцплощадка под сенью лип, дружно расцветавших в начале июня, — с гудящими шмелями в листве.

Ботик одуревал от запаха цветущей липы, он пригибал ветки и совал голову в самую гущу цветков, вдыхая медовый аромат. Нос у него был вечно в пыли, как и у Небесной Маруси.

Оба они являлись заранее, усаживались перед эстрадой и смотрели заворуженно, как Иона вынимает из чехла колена кларнета — верхнее и нижнее, завернутые в мягкие зеленые полотенца, раструб и мундштук с тростью, превращая сбор своей дудочки в некое священнодействие.

Иона любил эту «ракушку», хотя впоследствии, когда слава коснулась его чела, он воздерживался от игры на открытом воздухе. «Даже в самых благословенных местах, — говорил Иона, — редко сходятся три важнейших фактора — тишина, отсутствие излишней влажности и прекрасная акустика. Но когда я бываю в нашем Городском саду, ты, конечно, помнишь, Ботик, ту эстраду? — я немного становлюсь другим, как будто душа моя исцеляется, как будто я вдохнул другого воздуха...»

Конечно, Зюся мечтал, что сын пойдет по стопам деда: мальчик с детства неплохо пикировал на скрипочке. Но саксофонист Биня Криворот, у него Иона порой брал уроки, предупредил Мастера:

— Должен тебя огорчить, дружище. Он будет духопером.

То, что предсказание Криворота сбылось, по сей день помнят старые джаз-клубы Нью-Йорка на 52-й Street, где он самозабвенно играл на кларнете пикколо, кларнетах «А» и «В», бас-кларнете, но главное, конечно, — на саксофоне и трубе.

Перед железнодорожным вокзалом Витебска, на Соборной и Ратушной площадях толпился народ, уставившись в небеса. Там, на большой высоте (определить ее, конечно, страшно трудно, большинство утверждали: не ниже версты) четко вырисовывался сигаровидный летательный аппарат, при желании можно было разглядеть корзину, а в ней — пассажиров.

Что за дирижабль, откуда он, куда путь держит, осталось неизвестным.

В публике загадочный полет вызвал много толков, вспоминали, как дня два назад, по телеграфным сообщениям, «таинственный дирижабль» появился над Минском. Те, кто благополучно проглядел это событие, жадно выпытывали у очевидцев подробности о дирижабле, стараясь понять, — не шутка ли это, не газетная утка? Появился летательный аппарат около девяти часов вечера, двигался к мужской Александровской гимназии и скрылся через полчаса в юго-восточном направлении.

Как раз Ботик забежал к Марусе. Он обнимал ее у открытого окна — май, конец мая, липа, белая голубка, шиповник, мешок с овсом, привязанный к голове лошади... Теплый ветер трепал занавеску.

— Слушай, мы непрерывно целовались, — говорил мне Ботик, — мы даже целовались в церкви, за что Марусю чуть не выгнали из гимназии. Нас выручило только то, что ее мать, Аделаида, работала учительницей. Была б наша воля, мы только бы любили друг друга, забросив весь этот тягостный мир с его скверными новостями. Нам так хотелось жить, просто жить, от избытка любви мы вообще забыли, что такое зло, не то что стремиться отворотить неотвратимое. Тем райским летом с золотым платаном и кипарисом в окне мы были настолько связаны друг с другом! Какой нам бросает вызов жизнь, позволив ощутить восторг невыносимой силы, когда и время уже не время, и пространство — не пространство, а эта нетвердая зыбкая почва плывет и шатается у тебя под ногами!

Так они стояли, все глубже погружаясь в водоворот своей любви, вдруг Ботик замер, как он обычно замирал, когда видел что-то необъяснимое. Маруся обернулась, и они оба воззрились на проплывающий мимо дирижабль.

На кожаном ремешке на стенке висел армейский бинокль отца Маруси, капитана первого ранга, погибшего под японским огнем у острова Цусима. Отличный бинокль, в жестком кофре коричневого с пуговичной петлей и компасом на крышке кофра с медными заклепками и латунным обводом с инициалами Е.О.Н. — Ефим Оскарович Небесный. Его фотографический портрет размещался над биноклем и сверху пристально и строго посматривал на Ботика. Зато на свою Марусю Ефим Оскарович глядел с портрета ласково, чуть ли не с улыбкой. Да и суровый взгляд его на Боря со временем смягчился и потеплел. Это был добрый, умный, интеллигентный человек, отважный и смекалистый, о нем у нас еще речь впереди.

— Хотя стужались сумерки, — говорил Ботик, — в хороший полевой бинокль Цейса восьмикратного увеличения я разглядел дирижабль во всех деталях. Отчетливо видны были нижняя часть сигарообразной формы и квадратные окошки. Дирижабль эволюционировал, то поднимаясь, то снижаясь, пока стремительно не съехал вниз, как по ледяной горке, и не скрылся за Гуторовским мостом.

— Если бы такой дирижабль помаячил хотя бы над малюсеньким германским городком, — спустя полвека удивлялся Ботик, — вся Германия бы ополоумела! Австрийские ищейки бросились бы ловить иноземных шпииков, отследили бы дирижабль и арестовали пассажиров! А мы знай себе гадали на кофейной гуще, что это было — дирижабль-реклама? Зонд метеорологической обсерватории? Кстати в Витебске под покровом ужасной тайны строился дирижабль. Это каждая собака знала. Но он вечно был в стадии сборки, он и сейчас еще не готов, я уверен.

— Таинственный дирижабль пролетел тогда над нами, — говорил Боря. — Но какая красота, какое могущество, — бормотал он, — завоевать воздух — и во всех отношениях... на все времена... так и остаться недостижимым... даже неоткрытым...

Эта река, дерево, камень, узнаю ли я это место, если снова приду сюда? Эту дощатую эстраду, покрашенную масляной краской песчаного цвета, «ракушку», где Блюмкин играл на своем неразлучном кларнете и на подержанной трубе, что отдал ему Биньомин Криворот, да в придачу всучил архаичный корнет, но не насовсем, а на пробу.

Биня импровизировал на всем, что под руку попадет, пел, как птица, и сочинял музыку, как Бах. На звучном тенор-саксофоне с его богатым слегка сумрачным тембром он мог передать полный диапазон чувств — от пика блаженства до пучины страдания. Причем в каждое соло Биня вмещал весь спектр эмоций, не оставляя за бортом ни одной.

В мечтах он видел Йошку рвущим публику в клочья инструменталистом, ибо ни у кого не встречал настолько теплого звучания кларнета, ясной фразировки, чистого ритма. Правда, местами малыш чуть сумбурен, но — какие его годы! Деревянные — флейту, гобой он осваивал с лету. Из медных мальчишке приглянулась валторна, но истинной страстью стала труба. Впрочем, играя на трубе, он слишком раздувал шею, чем доводил Криворота до белого каления — небесная доброта в маэстро уживалась с необузданной вспыльчивостью.

— Нет, вы видали индюка? — орал Криворот. — Раздул шею, значит, перекрыл горло. Дыши, сукин сын, или я задушу тебя собственными руками, как Отелло Дездемону!

К назначенному часу пространство перед эстрадой заполнялось публикой. Жены булочника, извозчика, мясника и грузчика, чинные толстосумы и разные охламоны, а также представители высшего сословия — письмоводитель с тросточкой, городничий штабс-капитан Леонард Иванович Готфрид, бургомистр, коллежский асессор, слегка выпившие уездный казначей, титулярный советник, словом, все, кого мой прадед Филя обеспечивал кухонной утварью, рассаживались перед эстрадой. Даже сам секретарь городского старосты Козьма Иванович Блиодохо, теплыми вечерами выгуливая почтенную супругу Евну Иоселевну Шапиру, пристраивался посерединке на первом ряду.

— Помню, мы потешались над мучником Нахманом, великаном с длинными седыми усами и шевелюрой, будто обсыпанной мукой, — рассказывал мне Ботик. — Его жена Геня вечно канителится, а после мечется в проходе — ищет Нахмана. Тот ей: «Геня, я вот он, ты что, ослепла?» — «Даже если я ослепла, Нахман, — отвечала бойкая Геня, — я тебя найду по запаху чеснока!»

Шум, гам, смех, завязывалась оживленная беседа о всякой всячине, о делах в синагоге, о мировых вопросах, ну и — разумеется — о войне. В Европе грянула война, такие новости в Витебске разносятся со скоростью света.

— Какой-то Гаврила Принцип, боснийский серб (слава богу, не еврей!), убил австрийского герцога Франца-Фердинанда!

— Берите выше! Он был не герцог, а эрцгерцог!

— Так тем более! Вильгельм сразу намекнул австриякам: будете устраивать заваруху — мы вас поддержим.

— Какая-то Сербия! Что за важность!

— Только бы не подожгли Россию и нас вместе с нею!

— Упаси господь!

— Уж твою-то мясную лавочку, Мовша, вряд ли кайзер не приметит!

Все вокруг испускало густой оранжевый свет — и солнечный закат, и листья, и вода, и липы, и серые облака. А когда Иона подносил к губам кларнет, появлялась Асенька. Она садилась на край отдаленной скамейки или стояла, прислонившись к стволу, чувствуя спиной его шершавую поверхность, изредка поглядывая на Иону влюбленными глазами.

Ботик точно не помнил, что такого играл тогда его приятель, какой-то винегрет из еврейских песенок, но всем казалось, не только Асеньке: у них крылья вырастают и они кружат в воздухе вольными птицами.

Там еще был смешной аккомпаниатор — слепой баянист Миха Трещалов, ему поставили стул в шести шагах, Миха отсчитал шесть шагов, да не рассчитал и сел мимо стула. Это очень позабавило публику. А он парень озорной, веселый, как пошел наяривать «Уральскую плясовую».

— Хоть вы и евреи, — кричит, — а все равно не удержитесь — кинетесь в пляс!

Третий — балалаечник Изя. У этого был конек — «Рапсодия» Листа. Когда Изя исполнял ее на балалайке — плакали даже темные личности без определенных занятий.

А уж к разогретой публике — при полном аншлаге — являлся в сиянье славы непревзойденный Биньомин Криворот в благородно поношенном фраке, более или менее белой манишке с бабочкой и выдавшей как упоительные, так и безотрадные виды, черной широкополой шляпе. Сам этот молчаливый выход маэстро уже звучал музыкой в ушах благодарных посетителей Городского сада.

Как Биньомин царил на сцене с саксофоном в бледных чутких руках с голубыми

прожилками, кумир Витебска, слегка покачиваясь в такт пронзительной, печальной, потусторонней увертюре той самой трубы, которую с неслыханной щедростью презентовал Йошке Блюмкину, за что Йошка обязан ему по гроб жизни...

Что ж, мальчик дул в нее безоглядно, самозабвенно, стараясь не напрягать шею и создавая атмосферу глубокой меланхолии. Звук медной трубы, приглушенной сурдинкой, медленно затухал... Вдруг — бах-ба-бах! — резкий взрыв — громогласные фанфары, производимые Изей на балалайке и Михой Трещаловым на аккордеоне.

А из этой какофонии в недрах ракушки рождался и нарастал невыразимо прекрасный звук тенор-саксофона — грустный и величественный, устремленный ввысь, в таинственную бесконечность.

— К тому же Биньомин чарующе пел, — говорил мне Ботик. — Особенно одну песню я никогда не забуду, он распевал ее сипловатым голосом на идише, но лет пятнадцать спустя мне посчастливилось услышать то же самое в Нью-Йорке на Манхэттене — от черного немого музыканта на углу 44-й, тот играл на покоцанной золоченой трубе. Я спросил, как его зовут, но он только улыбнулся белыми зубами. Если б я смог, я бы тебе напел, и ты сразу бы ее узнала:

Целуй меня быстрее, пока мы что-то чувствуем,
Обними меня крепче и не отпускай.
Ведь неизвестно, что будет завтра.
Любовь может улететь, оставив только боль.
Целуй меня быстрее, ведь я так тебя люблю!

Не знаю, возможно, нам только кажется, что есть какая-то логика жизни и поступательный ход событий, закономерность и так далее, а все это, в конечном счете, только чудится происходящим? Возможно, оно просто возникает перед глазами, реальное и нереальное одновременно, а жизнь — плод людского воображения?

Вряд ли нам суждено понять такие вещи. Уставя брады свои, будешь голову ломать, а толку все равно никакого. Не въехать нашему брату в природу бытия, непостижимая это штука, так стоит ли задаваться подобными вопросами?

— Господи, боже мой, — сказал мне однажды Ботик, — если ты спросишь меня, где находится счастье этого мира, — я отвечу, не раздумывая: родительский дом с трубой, с орехом и шелковицей у окна, как мне хочется увидеть его, хотя бы во сне, чтоб, ты только не смейся, просто поцеловать печь, и косяки, и стены, и вдохнуть аромат жареного лука с тимьяном, луковый запах моего детства!

Дора научила Ларочку готовить луковый мармелад. Там была одна закавыка: почистить и довольно мелко порезать чуть не пуд репчатого лука! Ларочка умывалась луковыми слезами, пока многоопытная Дора не одарила ее драгоценным советом: луковицы, как есть, в шелухе слегка поварить на огне, глядишь, обойдется и без горячих слез.

Ларочка ставила на печь сковороду, лила туда масло, кидала тимьян, лавровый лист, сверху сыпала гору красного лука и помешивала, чтобы он немного подрумянился, «учти, если подгорит, — предупреждала Дора Ларочку, — получится полное фиаско!», потом добавляла лимонного сока, меду, сахару, перца, щепотку соли, кусочки лимонной кожуры, все это накрывала крышкой и томила в печи.

О, какое благоухание разносилось по всей округе, какой букет! Каждая щелочка в доме была пропитана этим запахом, каждая трещинка!

Неистребимый луковый дух просачивался к Филе в мастерскую, оседая в молочных кувшинах, горшках и кружках, наполняя их до краев и выплескиваясь на

улицу, заползая во все ложбинки, бреши и проточины, лазейки и просветы ближайших домов, ныряя в скрипичные деки Зюси, гобой, валторну и трубу Ионы, намертво въедаясь в занавески, одежду и Дорино шитье.

Запах карамельного лука дразнил, щекотал ноздри, привлекая всю округу. Иона был тут как тут, домой бежала Асенька, откуда ни возьмись, опускалась на грешную землю Маруся Небесная. Вот они сидели и ждали, пока там все сплавится, загустеет, маленько остынет, у всех уже слюнки текли. В конце концов Лара приподнимала тяжелую крышку, и они запускали ложки в эти нектар и амброзию, лакомство богов.

Весь пронизанный субботним ярким солнцем, от макушек платанов до крапивы у забора семейства Фили, Витебск раскинулся на холмах в летней послеполуденной дреме. По теплой Двине, разломившей пополам город, фланировали пароходы, мерно стуча по ее летеиским водам огромными колесами-лопастями, заходя в извилистые притоки Лучёсу и Витьбу — с высокими, заросшими ивами берегами, радуя расслабленных пассажиров живописными картинами.

Золоченой рамой город окружал Смоленскую базарную площадь, испускавшую на три версты вокруг соблазнительные и сокрушительные, грибные, чесночные, лавровые, рыбные, пряные, ядреные запахи. Лавки с красными занавесками открыты для рыночной публики, перед распахнутыми дверьми на табуретках восседали необъятные мастерицы и проворно вязали чулки из овечьей шерсти. Тут же — сита с ягодами, хлебами, лепешками и коржами, пирамиды горшков и кастрюль, скобяная утварь, корыта яблок. По рыночным рядам бродили козы, грозя наделать бед, вдали пара волов тащила воз, доверху нагруженный картофелем.

В тот год бурно уродилась картошка, из нее на славу готовили еврейскую запеканку «картофл-тейгхтц». Высокую кастрюлю внутри смазывали куриным или гусиным жиром, заполняли протертой бульбой. Пару часов это благолепие млело в печи, сверху и сбоку образовывалась толстая коричневая корочка. Обьедење!

В праздники Ларочка с Филей совершали моцион в магазин мясных изделий на Суворовской улице. Там можно было купить «уфшнит» — ломтики копченого говяжьего языка, индейки или чайной колбасы. Все это нарезалось при покупателе. Филарет в заправском кафтане (перелицованном старом халате Лары) стоял, вытянувшись во фрунт, и завороченно глядел на это священнодействие. Мясо редко попадало к нему на зубок, на столе моих витебских предков все больше крупник да тушеная морковка. Лишь время от времени, когда у Фили неплохо шли дела, Ларочка сочиняла вкусную фаршированную куриную шейку и кисло-сладкие мясные тефтели.

— Что ты стоишь, как глиняный истукан? — пихала его локтем Ларочка.

А что удивительного? Филя всю жизнь был кустарем-одиночкой. Не горемычным бедняком, но бережливым и запасливым, то есть не трясся над копеейкой, зато и не боялся остаться нищим на старости лет. К тому же он любил выпить, но пьяницей не был, конечно, боже упаси! Выйдет из корчмы в приподнятом настроении, слегка навеселе:

— Реб Зюся, сердце мое! Дай вам бог здоровья. Дорочка! Мое почтение!

Роста — три вершка, бородака реденькая, одно слово — замухрышка. Зато какое кристальное создание! Говорили, стоит немного побыть с ним, и так хорошо становится, словно Господь по сердцу босиком пробежал.

Вот и маэстро Блюмкин всякий раз приглашал Филю с Ларой поприбавлять царьцу субботу. Обычно их там ожидали приготовленные со специями нежные рыбки-

плотвички. До «гефилтэ фиш» — фаршированной рыбы из карпа или увесистой щуки, как правило, дело не доходило.

Впрочем, случались времена, когда из рук Зюси выпархивали особенно певучие скрипки, тогда на столе появлялись наваристый борщ, галушки с гусиным жиром, а главное — в субботний полдень реб Зюся притаскивал домой благоухающий чолнт из жирной говяжьей грудинки с гречневой кашей. Свой казанок он еще в пятницу заправлял на целую ночь в раскаленную и наглухо закупоренную печьку. Благодаря такому маневру Доре не приходилось готовить пищу, нарушая святость субботы.

Стаканчиком изюмного вина Зюся освещал праздник и на древнееврейском языке провозглашал «благословение восседающим», которому в детстве обучил его дедушка Меер. Заканчивалось оно пожеланием, чтобы евреи были избавлены от всех бед, а также неизменным напоминанием Господу, что ему давно пора подсобить Зюсиному племени как-то воспрянуть и возвеселиться душой.

— ...И чтобы в конце концов пришел Мессия, — торопливо заканчивал Зюся свою молитву.

— Аминь, — подхватывали Дора, Филя и Лара, блаженно принимаясь за трапезу.

Летом по вечерам в саду гоняли чай — отвар из малины, брусники, смородины. Ларочка и Дора любили посидеть за кружкой цикория.

Чудо, как хорошо было в августе в Витебске! А ведь скажи той спящей собаке, что разлеглась вверх рыжим животом посреди Покровки, что идет страшная война в мире, не поверит, скотина! Так слушай: за Карпатскими горами, на Балканах, на берегу Балтийского моря, на Кавказе тысячи и тысячи солдат убивали друг друга посредством разных приспособлений, тыкали штыками в живот, травили газами. Верно говорят: если Бог захочет, то выстрелит и метла, ведь это Он ворочает мирами...

Но не слышит раскаты орудий полусонный Витебск, живущий, словно ничего не случилось, многолюдный, мастеровой, русско-польско-белорусско-еврейский городок. Всего-то неделю, как отбыл по Западной Двине пароход, на котором уплыли первые мобилизованные. Были среди них и друзья Ботика с Ионой, старшие по возрасту. Слепого гармониста Миху Трещалова пока зачислили в запас, но Изюбалалаечника и Титушку Шамшурова увезли вместе со старшими сыновьями Просмушкина и другими ребятами.

Сендер-Нохим Просмушкин жил в нижней части Витебска, на левой стороне Двины во флигеле напротив деревянной церкви, сильно потемневшей от времени и прозванной «черной церковью», с женой и четырьмя сыновьями. Дед их в свое время соорудил ледник. Сруб закопали в землю на несколько метров, зимой сыновья Просмушкины рубили лед на реке, свозили в этот сруб и перекладывали соломой. Получался такой самопальный холодильник. Если мясные туши, привезенные на ярмарку, не успевали сбыть с рук, их оставляли в леднике у Просмушкиных. За хранение Сендер-Нохим брал небольшую мзду, так и жили-не тужили.

В день, когда уплывал пароход с его старшими сыновьями Хаимом и Гиршем, Сендер-Нохим стоял в толпе на пристани. Новобранцев провожали на фронт с оркестром, девушки махали платочками, взрослые благославляли своих детей на подвиг.

Через два месяца Просмушкиным пришли одновременно два письма. Принес их выдавший виды запыленный почтальон, хромой Мендель Моженштейн, достал два сложенных вчетверо конвертика из замасленной холщовой сумки и дал в руки самому хозяину.

В первом писали, что Хаим Просмушкин, верный сын Святой Руси, пал храброй

смертью на полях сражений за грядущее и светлое будущее Родины. И подпись витиеватая в виде синей печатки: Николай Иудович Иванов, генерал от артиллерии.

Во втором писал тот же генерал, что Гирш Просмушкин... в общем тоже самое. И тела их упокоены в земле Галиции.

В одночасье лишился Сендер-Нохим своих старших, даже могилки их были неведомо где. Шваркнул очки об пол бедный отец, вышел во двор, взял лопату и забросал свой ледник землей, закопал, как могилу.

Жена кричала ему:

— Опомнись, Сендер! Зачем «кормильца» зарываешь? Как жить теперь будешь?

А Сендер все бросал и бросал комья земли в холодную черную дыру, пока не сровнял ледник с полом, а потом кинул лопату сверху на свежую землю и ушел, сгорбленный горем, в свой опустевший дом.

В ярмарочные дни, отлепившись от гончарного круга, Филя погружал свое глиняное богатство на телегу и вез его продавать на базар. На козлах сидел Борька, Филина гордость и краса, весело погоняя чалого в яблоках — поседевшего мерина.

— Когда телега полна, рядом с ней и шагать — отрада! — Филя сбоку идет своим ходом, на лошадь губами чмокает.

Придерживаясь за шершавый тележный бортик, он с опаской поглядывал, как позвякивают и дребезжат по брусчатке горшки и кувшины, которые Ларочка предусмотрительно проложила ветошью.

Филя был хромоног — правую ногу вообще не сгибал, ясно давая понять сошедшему с ума миру: если, не приведи, конечно, Господь, волею обстоятельств и горькой нужды Военное министерство примется выколачивать новую грозную силу для отражения врага, то лично Филей вряд ли возможно залатать кафтан, ибо с такой ногой ему назначено судьбою исключительно крепить тыл своими горшками и свистюльками.

А то было дело, в июне пятнадцатого Филю вызвали куда следует, и командир — Додя Клоп, служивший исправником в присутствии, Филя помнил его мальчишкой с улицы Кантонистов, тот прославился опустошительными набегами на соседские сады и огороды, так вот Додя заявил:

— Придется вам отложить утюг да ножницы, господин Таранда, и перебраться от ваших горшков к деятельной обороне Российской империи.

— Вот нежданчик: в лесу подох медведь! — отозвался Филя. — Неважные дела на фронте, а, господин Клоп? — спросил он участливо. — Раз вам приходится питать нашу армию столь доблестными новобранцами?

— На вас лично у императора надежда маленькая, господин Таранда, — сказал Клоп. — Но если поскрести по сусекам... — он чуть не добавил «всю шлобень», но выразился уставно, — ...ратников второго разряда, глядишь, и наберется с бору по сосенке.

— В таком случае, я готов, пан Додя, — ответил Филя. — Бог велик, и куда он ведет — там и хорошо. Я даже рад и горд, что в такую сложную для нашей родины минуту вы обратились именно ко мне, позвольте пожать вашу руку! — И он стал надвигаться на Додю, чеканя шаг несгибаемой ногой.

— В чем дело? — заволновался Клоп. — Что с вами вдруг приключилось?

— Не принимайте близко к сердцу, господин прапорщик, всего лишь обострение родовой травмы...

— Не замечал за вами... Вы всегда такой шустрый!

— Я же говорю, не придавайте значения!

— Извольте пройти к врачам! — скомандовал огорченный Додя, никак не ожидавший такой комбинации.

У него была тонкая душа, он немного играл на флейте. В училище военного ведомства, где Додя получал начальное образование, в бывшем доме военного коменданта Витебска графа Миниха, мальчиков обучали гармонии. Рядом располагались казармы нестроевой роты и управление уездного воинского начальника Ратибора Студнева. Тот любил сидеть на балконе, пить чай и слушать полковую музыку.

Да, ученики армейской школы не взращивали плодов, поэтому Додя обчищал сады на соседней Покровке. Что за комиссия, думал Клоп, заправлять мобилизацией в городе, где тебя знают как облупленного! Ты ему слово, а он тебе десять! Разве Додя виноват, что за год войны лучшие штыки полегли на Западном фронте? Вот и мотыляйся с такими рохлями, которым назначено лечь костями, вот и все дела. Рассади этих заморышей по окопам — получишь только лишние рты, дезертиров, смутьянов и подстрекателей за поражение!

Не далее как на прошлой неделе арестовали Маггида. В своей недавней проповеди ребе назвал великую мировую войну — всемирным бедствием и напомнил пастве слова пророка Исаяи, который когда еще заметил, что от этой беды есть лишь одно лекарство: поломать ружья, перелить пушки и распустить солдат. Правда, в Писании сказано, что такое случится, когда придет Машиах, но можно ведь начать с конца, — предложил Маггид, — посмотрим, что последует?

Слава Богу, по ведомству Доди разные вольнодумные штучки не проходят.

Последовал арест Маггида, ибо жизнь сейчас лежит на весах, а свет находится в шатком равновесии. Впрочем, в каталажке опальный мудрец расположился так же вольготно, как бы он себя чувствовал у отца своего на винограднике. Это был заядлый миролюбец, ни разу никому не удавалось первым пожелать ему мира при встрече, даже чужеземцу на рынке.

А с чужаками нынче не церемонятся. Еще ранней весной в «Витебских губернских вестях» вышло постановление, воспрещающее употреблять немецкий язык в общественных местах, а также публичное исполнение рассказов и куплетов на немецком языке.

«Виновные в нарушении настоящего постановления, — нагонял страху на обывателей начальник Двинского военного округа Инженер-Генерал князь Туманов, — подвергнутся денежному взысканию в сумме до трех тысяч рублей или тюремному заключению».

Зря Додя все принимает так близко к сердцу, от чего его только тянет к выпивке. А в городе — шуточное ли дело? — горькая продается исключительно по рецепту врача! Без рецепта отовариваются лишь комендант Витебска с начальником гарнизона, и то не водкой, а столовыми виноградными винами — французским, бессарабским, крымским и кавказским.

Но не таков Додя Клоп, чтобы у него пропали — и корова, и веревка.

В штабе всякие махинации обдeldывали между собой, вот ему наладился выписывать рецепты штабной невропатолог — военспец по одержимости и беснованиям, начальник призывной медкомиссии, куда и отправили для освидетельствования нашего Филю.

Ни для кого не было секретом, что Филя — горе-войка. Но призывную комиссию задело за живое, каким это, интересно, образом он так зафиксировал коленный сустав, будто вмонтировал туда железный штырь?

Филю вертели и так, и эдак, разглядывали со всех сторон его худую желтоватую ногу в родинках и веснушках, прямую, как костыль. Но сколько ни старались — нога Фили была столь же несгибаемой, сколь несгибаемым отродясь не был его характер, мягкий и дружелюбный, готовый на соглашательство по любым вопросам.

Пришлось им послать Филю на все четыре стороны, ибо такие одеревенелые стариковские колена сбрасывать со счетов пока не полагалось.

— Спасибо, спасибо, — ласково ворковал Филия, — ладно, Господь милостив, пока я возвращусь к своим горшкам. Но если дело будет швах — зовите, я им задам перцу!

Прадед мой так и припадал на одну дылю, правда, порой забывал, которая из них не гнется. Когда ковылял по правой стороне улицы — у него не сгибалась левая, когда по левой — правая.

Однажды, повстречав исправника на узенькой дорожке, у Фили в голове захлестнуло, какую ногу он выдавал за недужную.

— Хоть лоб взрежь — не помню! — он потом докладывал Ларе.

Тогда, немного помявшись, старик зашагал навстречу, как колосс на глиняных ногах, не сгибая ни ту, ни другую, да еще почтительно приподнял шляпу и воскликнул:

— Доброго здоровья, господин Клоп!

Доля брел под хмельком, в омерзительном настроении, ссутулившись, повесив нос и думать позабыв о военной выправке, — в тот день прапорщик испытывал особенную тоску и тревогу. Работа у него смутная, даже опасная, среди призывников то и дело возникали стихийные бунты, в Режицком уезде запасные разорили трактир, украли снопы, воинскому начальнику вывихнули руку за то, что он пальцем указал на ихние бесчинства, а тамошнему исправнику вообще учинили жестокую расправу.

Чтобы позолотить пилюлю, Доде приходилось принимать на грудь не только в свободное от работы время, но и на службе: в ящичке его стола всегда стояли початый мерзавчик и рюмочка.

Тусклым взглядом окинул он Филину персону и с горькой усмешкой произнес:

— Хочу вас обрадовать, господин Таранда. На Смоленскую цирк приехал, им как раз не хватает коверного. Может быть, найметесь пошабашить?

— Отчего бы и нет? Дал бы только Бог здоровья и счастья! — ответил Филия.

Когда базарным августовским днем на площадь въехали, поднимая солнечные клубы пыли, четыре обшарпанных фургона с надписью «Знаменитый на весь мир шапито цирк «Шеллитто», Ботику показалось, что это мираж, мелькнувший за рыжими головешками глиняных горшков, которые безнадежно выстроились в ожидании покупателей.

Знойная фата-моргана, призрачное видение рощицы зеленых пальм и чистого прохладного озера посреди совершенно дикой пустыни — вот чем стало на излете августа явление передвижного цирка-шапито на Смоленской площади.

За год войны Витебск переменялся. В канун осени 1915-го года на прилавках по-прежнему возлежали крутобокие тыквы, бледные кабачки размером с младенца, груды яблок, слив и кукурузы, в садах цвели флоксы, золотые шары и пурпурная мальва.

Но в толпе беженцев, бредущих из прифронтовой полосы в никуда, вербовщиках, солдатах, погонах и казармах, грохоте барабанов и стуке сапог по брусчатке улиц и переулков, в скопище австрийских пленных, в переполненных ранеными эшелонах,

в списках убитых, пропавших без вести, ежедневно публикуемых в газетах, — война была всюду, везде шибал в нос ее прогорклый въедливый дух.

И посреди этого бедлама — как вам нравится такая новость? — вольная кавалькада на тележных колесах с резиновыми шинами, побитая дорогой, с облупленной краской на боках, запряженная худыми, но сильными лошадьми.

Цирк Джона Шеллитто остановился прямо на краю площади, где было когда-то футбольное поле, а с некоторых пор простирался пустырь, заросший крапивой и лебедой: многие из тех, кто гонял тут мяч, сидят в окопах с берданкой в руках, погибли на поле битвы или умерли от ран в госпитале.

Из первого фургона, на чьем боку красовались эта самонадеянная надпись и рисунок оскаленной лошади, взвившейся на дыбы, соскочил на землю лысоватый господин в твидовом пиджаке, гетрах и высоких коричневых ботинках. Он вытянул длань куда-то в сторону Песковатиков, как бы говоря: здесь будет город заложен!

По знаку повелителя пара прытких мужичков, видимо, его помощники, бросились навёрчивать обороты, утапывая сапогами огромный круг.

Наутро, когда Ботик со всех ног прибежал на поле, там уже стояли маленькие палатки, а кучка оборванцев ловко и сноровисто поднимали канатами две металлические мачты.

Как они усердствовали, прилаживая ремнями и скобами купол к мачтам! Его полотнища были крепко связаны между собой шнуровкой. А брезентовые полости шатра развевались на ветру парусами невиданной бригаантины, прибывшей из дальних стран.

Внезапно заправила в широченных штанах и бандитской шляпе с пером, звали его Игнат, окликнул Ботика:

— Эй ты, недоросль, а ну помогай!

И сунул ему в руки веревку от краев шатра, расстеленного на футбольном поле.

— Работка не пыльная, — командовал Игнат разноперой шайкой-лейкой. — Всего-то и надо потуже натянуть брезент!

От шатра пахло сырой холстиной, дымком, лошадиным навозом. Ботик тянул веревку что есть силы, спотыкался и падал. Честная бражка тоже налегала, а Игнат знай себе выкрикивал: «раз-два взяли! Еще ра-аз взяли!»

Когда брезент натянули и примотали к кольям, а полосатый купол вознесся на две врытые в землю мачты, Игнат усадил Ботика за стол и выставил харч — наваристую похлебку из фасоли с клецками.

Циркачей по пальцам можно было пересчитать, но все они что-то ладили, шнуровали, тащили из прицепа рейки, скамьи, сиденья кресел.

Праздно прогуливалась по полю с тремя палевыми пуделями только очень красивая женщина в нарядном платье, в огромной шляпе. Эта необычная синьора двигалась с невиданной в тех краях грацией, словно делала вид, что идет по земле, а сама ступала по воздуху, чуть-чуть прихрамывая, что ее совсем не портило.

Пудели гонялись друг за другом и довольно-таки далеко усвистывали от своей хозяйки, тогда она их звала мелодичным голосом, грассируя на французский манер:

— А-ато-ос! Па-артос! Да-артаньянн!..

Никто и ахнуть не успел, как под навесом появилась конюшня, и там уже стояли — жевали сено шесть лошадей: огненно-рыжая, грязно-желтая с коричневой гривой, пара гнедых, серый жеребец в яблоках и угольно-черная.

Ботик дал черной морковку, она вытянула морду с выпуклыми влажными

глазами ему навстречу. Из-за крупа лошади вдруг выскочил такой же, как лошадь, черноголовый цыган.

— Что пялишься, парень, лошади не видел? Ну-ка поддержи поводья. Знаешь, как с лошадью обходиться? Чесать, седлать, с какой стороны зайти, чтоб она тебе в лоб копытом не дала?

— А то! — сказал Ботик, главный конюх Филиного мерина.

— Аве-Мария у меня охромела, — пожаловался чавела. — Не пойму, на какое копыто.

Он вывел рослую гнедую кобылу и несколько раз провел ее взад вперед.

У Аве-Марии были длинные ноги и массивное туловище. На ногах и на брюхе у нее при гнедой рубашке виднелись рыжие и коричневые подпалины.

— Кажется, задняя левая, — Ботик пощупал левое путо, оно было заметно горячее правого.

Конюха звали Пашка, он сбегал за молотком, а заодно прихватил копытный нож и крючок. Ботик постучал по стенке копыта, лошадь вздрогнула, приподняла ногу и некоторое время держала ее на весу, а потом осторожно опустила на землю.

Ботик был мастак по хромоногим копытным, поскольку мерин Блюмкиных Капитон имел настолько дырявые башмаки, что из них мусор приходилось выковыривать прямо на дороге. Поэтому он, не раздумывая, сжал копыто между колен, соскреб грязь и обнаружил темное пятно, которое стал скоблить ножом, снимая стружку за стружкой. Рог был твердым, Ботик аж взмок весь, кромсая копытный башмак, воронка медленно углублялась, пока оттуда не брызнул гной.

— Тащи скипидар или деготь, есть что-нибудь от заразы? — велел он Пашке.

И услышал в ответ чей-то хриплый голос густой:

— Гуууд, гуууд...

Над ним нависал господин в твидовом пиджаке и высоких коричневых ботинках. Усы лихо закручены, напомажены, по всему видать — важная персона, не баран начхал, он взирал на Ботика, будто сам Творец Вселенной.

— Гууд, гууд, грейт доктор! — Бэрд Шеллитто, а это был именно он, хлопнул Ботика по загривку. — Аве — отшень плохой карактер, — сказал, куда более нежно, чем Ботика, оглаживая Аве-Марию. — Как твоё имя? Боб? Ты к нам ходить, помогайт, Боб — а мы тебя пускайт на представление!

Ботик разогнулся, спина-то одеревенела, вытер пот с лица — и просиял.

Он даже и вообразить не мог, что Бэрд предложит ему то, чего он больше всего хотел, сам того не осознавая, — ибо в лице гнедой Аве-Марии цирк протянул ему свое божественное копыто.

С юных лет и до конца своих дней Ботик бредил лошадьми. Он вообще прозревал, что в далеком прошлом был Кентавром, но не разнузданным и жестоким, а вольным и благоразумным, как Фол или Хирон, служил Гераклу и умел летать.

— Лошади — они наполовину птицы, — он говорил мне, гуляя по бескрайнему полю за нашим дачным участком, засеянному горохом.

В старости Ботик подрабатывал сторожем, в полночь и на рассвете имел обыкновение обходить гороховые уголья — с овчаркой, ружьем и трехлитровой кастрюлей.

— Истинный Бог! Постичь тайну аллюра невозможно, — стоило зайти речи о лошадях, Ботик изъяснялся высокопарно, будто слагал поэмы. — Даже когда один умник выдумал прибор, остановивший мгновенье, — хронофотограф и отследил

каждый взмах копыта в деталях, обыкновенному глазу недоступных, это осталось за гранью понимания... — рассуждал дед, наполняя кастрюлю твердыми, спелыми стручками для внуков.

В Валентиновке на веранде была прикреплена репродукция Рафаэля из «Огонька» — «Святой Георгий, поражающий дракона». При всем уважении к Победоносцу и отвращении к порочному дракону Ботик искренне потешался над неудавшейся позой белого коня. Тот был изображен с широко растопыренными четырьмя ногами, двумя на земле, двумя в воздухе.

Боря утверждал, что гений Возрождения поправил все мыслимые законы механики.

— Плывущий — пожалуй, а вот летящий конь нипочем бы не стал так раскорячиваться, — со знанием дела говорил Ботик. — Я много раз чувствовал под собой летящего коня. На растянутой рыси ты полпути не на земле. И три четверти — на галопе. Парень я смелый, — говорил Ботик, — и то чуть в штаны не наложил, когда мой Чех в затылочном прыжке вдруг замер надо рвом. «Ну — все», — я успел подумать, но не посмел его пришпорить. Он сам, когда счел нужным, продолжил полет и приземлился — с запасом!

Ботик свято чтит Лавра и Флора, покровителей лошадей. Мы неизменно им пели осанну на излете августа. Даже свой знаменитый «форд» Боря когда-то на пароходе привез из Америки потому, что эту модель там называли «Жестянка Лиззи», но это неправильный перевод, сердился Боря, ее звали «Жестяная Лиззи» — в Америке всех лошадей зовут Лиззи!

Семя любви к лошадям упало на мою благоприятную почву. Я ощущаю себя потомком кентавра. Хотя меня растила Панечка, кадровый ленинист и революционер, причем потомственный. Ее отец Федя на заводе Бромлея лил чугун. Именно Федя положил начало бурному революционному расцвету нашего генеалогического древа, в 1905 году воздвигнув баррикады на Пресне, после чего сражался на этих баррикадах, как лев, и в первых же боях пал смертью храбрых, оставив без пропитания жену, дочек Паню и Аришу и крошечного Егорку.

Когда Феди не стало, мать упростила священника прибавить Панечке в метрике несколько лишних годков (из-за чего всю жизнь никто не знал, сколько лет ей на самом деле), отвезла в Москву и отдала на поденную работу чуть не столетней генеральше Полозковой, забубенной крепостнице. Этому-то осколку, развалине крепостничества, обязаны мы нашим личным несокрушимым рыцарем революции.

Как-то раз Паня закатилась на ипподром. Да еще со мной! Явилась Панечка не на бега, склонностей к азартным играм за ней не водилось, а по делам, наверняка партийным, но угодила аккурат перед забегом. Люди выстроились в кассу, ну и она, охваченная общим порывом, решилась: выглядела в списке конягу и поставила на завалящее существо ослиной расцветки, которое, спотыкаясь, вырулило на старт и равнодушно поглядывало вокруг. Лошадка долго фыркала и чихала, вдруг неожиданно встала на дыбы — да как пустится вскачь!

Паня болела за своего мышастого удалыца с таким запалом, что позабыла обо мне. Из этого случая мне стало ясно с годами, что Паня всю жизнь держала себя в узде, хотя внутри у нее бушевали нешуточные страсти.

Меня оттеснили от барьера и чуть не затоптали, мат стоял-перемат, я даже начала икать от ужаса. Паня меня с трудом отыскала в бушующей толпе. Всего один раз я ее видела такой возбужденной, всклокоченной, с бордовыми ушами.

Что удивительно, в конце концов Панечкин ставленник умудрился прихилить к столбу на голову вперед. Мы с ней собрались огрести выигрыш, и тут выясняется,

что в день Панечкиного триумфа призы выдавались не деньгами: ей предложили списанного рысака, установившего в далеком прошлом рекорд резвости.

— Берем! — заорала я вне себя от восторга.

До сих пор не могу ей простить, что приз она взяла не орловским рысаком, а — точно уже не помню — то ли холодильником, то ли стиральной машиной.

Бэрд Шеллитто, лысоватый старик шестидесяти трех лет был из йоркширцев, со всеми присущими им предрассудками и чудачествами: яичница со шкварками, чай с молоком по утрам, первая папироза после ланча и холодное обливание перед сном не имели для него ни малейшей притягательности. Он любил стоять на голове, читать перед сном Библию и вязать крючком полосатые гетры.

Словарный запас его покоился на двух столпах: «good» и «засранец». Столь скудными средствами он достигал виртуозного красноречия, поэтому ни для кого в цирке не составляло труда понять, что этот выдающийся оратор конкретно имеет в виду. К тому же Бэрд обладал на редкость гипнотическим взглядом, которому одинаково подчинялись люди, лошади, собаки, обезьяны, львы, пантеры, медведи, гуси, вороны, лошади, ну и, конечно, попугаи.

За год войны поголовье зверинца сократилось без всякой меры, только и остались лошади, говорящий ворон, тройка палевых пуделей Атос, Портос и Арамис, черная курица с алым гребнем, белая голубка, клокастый верблюд Родригес и молодая свинья Брунгильда, восходящая цирковая звезда муромской породы с крепкими копытами и рельефными окороками.

Как Бэрд попал в Россию и оказался директором бродячего цирка, он не распространялся. Ходили слухи, цирк достался ему в наследство от тестя, мистера Томпсона, участника Крымской кампании, дальнего родственника генерал-лейтенанта Джеймса Симпсона, месяца четыре верховодившего английской армией в Крыму и смещенного за головотяпство.

Сам Вилли Томпсон служил матросом на британской канонерке, угодил в плен к русским, бежал, пересек донские степи, пытаясь вернуться в Англию. По дороге выучил несколько русских фраз, так что мог столкнуться в деревнях о еде и ночлеге. Бродил по задворкам российской империи, в Галиции снюхался с такими же бродягами-цыганами, за пару фунтов стерлингов продавшими ему ворованных лошадей.

Эти первые лошади графа Дракулы и стали примамы стихийно возникшего цирка, а цыган и вор Васька, которому пройдоха Томпсон дал звучное имя Василио Василии, — звездой его сомнительного шапито.

Постепенно цирк обрстал артистами: пара лилипутов Гарик и Марик до своей блистательной карьеры коверных промышляли в Одессе мелкими кражами, проникая в дома зажиточных обывателей через открытые форточки.

Во Львове Гарик познакомился с обворожительной лилипуткой Крисей. Гарик был парень не промах, возгорелся огонь до небес, объята страстью, Крися сбежала из отчего дома и до skonчания дней пребывала Гарику нежной подругой, партнершей по репризам, а также наездницей и танцовщицей «доньей Чикитой».

Тридцать лет на манеже цирка, если можно так выразиться, первую скрипку играл атлет Иван Иванович Гром. Томпсон вычислил его во время одной кошмарной заварухи в Одесском порту. Из-за чего уж там вспыхнула драка, Вилли не понял, грузчики молотили друг друга почем зря пудовыми кулаками, пока не вмешался здоровенный детина с ярмом для таскания тяжестей и железным крючком на

веревочном обрыве. Ввинтившись в самое пекло, он раскидал разъяренных голиафов, и предотвратил дальнейшее кровопролитие.

Томпсон восхитился отвагой одесского богатыря, видом его напряженных мускулов, попросил разрешения ощупать трицепсы, грудь и шею, похлопал по спине, заглянул в рот — будто покупал арабского скакуна.

В мечтах Томпсон видел Грома в образе «человека-зверя» необычайной силищи, намеревался возить его по городам и весям оклеенного перьями в клетке и рассказывать всем и каждому, что тот ест сырое мясо, выпивает по пять четвертей водки, один поднимает сорокаведерную бочку, левой рукой останавливает паровоз, а за умеренное вознаграждение публично способен сожрать кошку.

Но добродушный Иван Иванович явно не тянул на роль «человека-зверя», а всячески пытался скромно ограничиться «русским львом, обладающим непревзойденной силой», в чем не возникало сомнений: он вязал узоры из железных прутьев, жонглировал многопудовыми гирями, рвал цепи и гнул у себя на шее стальные балки. В конце номера Иван Иванович покрывал голову полотенцем и приглашал кого-нибудь из публики молотом разбивать у себя на голове кирпичи. Номер назывался «Чертובה кузница».

Однажды, когда цирк гастролировал в Ченстохове, на арену выскочил молодой Бэрд Шеллитто, рыжий и темпераментный, как огонь, и с таким жаром стал колошматить молотком по кирпичам на голове у Ивана Ивановича, что мистер Томпсон бросил на амбразуру Гарика с Мариком, и те — шутками и прибаутками — увели распоясавшегося молотобойца за кулисы.

В тот же вечер Томпсон потчевал соотечественника «иерусалимской слезой» и сам готов был проливать слезы, слыша родную английскую речь, как перцем приправленную йоркширским акцентом.

Откуда взялся йоркширец в польской глуши? Поговаривали, что он ударил ножом собутыльника в пабе на окраине Глазго, а тот возьми и испусти дух. Дабы избежать виселицы, Бэрд свинтил из Англии, укрывшись в канатном ящике голландского клипера, искал счастья в негостеприимной Гааге, вкусил горький хлеб изгнанника и, окрыленный неясной надеждой, устремился в Россию, где этот флибустьер как нельзя более кстати пришелся к цирковому двору, научился скакать под брюхом цыганской лошади, орудовать шамберьером не хуже самого Гоцци, а также ловко метать ножи в дочку Томпсона Иветту, наездницу и акробатку. Он ставил ее у доски и, отойдя на десять с половиной шагов, бросал нож. Нож описывал круг около головы Иветты и впивался в доску. Метальщиков было мало в те времена, и номер пользовался большим успехом.

Вскоре Бэрд женился на ней и стал правой рукой хозяина. Мистер Томпсон подарил им на свадьбу серебряные ложки с объединенными краями, что немудрено: в семье Томпсона ими постоянно пользовались, тем более что на ручке одной из ложек, помимо пробы, значился год изготовления — 1860.

Томпсон был редкий скряга. Причем с годами он становился все скардней и сварливей. О его скупердяйстве ходили сказания. Говорят, перед тем как отдать богу душу, он с тяжелым вздохом отдал своей Зоре Моисеевне заначенные сбережения. Вдруг ему полегчало. И что вы думаете? Мистер Томпсон в непозволительных выражениях потребовал, чтобы жена вернула деньги!

Однако с чем он категорически был не готов расстаться, что — будь ему доступны методы алхимиков — он взял бы с собой в последнее турне, откуда никто не возвращался — так это его дорогое детище, его шапито.

Трижды Томпсон, будучи на смертном одре, окруженный плачущей родней, объявлял побледневшими губами, дескать, пробил час и он оставляет цирк на попечение своего преемника — Бэрда, на что опечаленный метальщик ножей скорбно отзывался:

— Good, good...

...И дважды Томпсон забирал свои слова обратно!

При этом зять цедил сквозь зубы:

— З-засранец!

Но — увы, нет средства, коим можно было бы избежать смерти, надо всеми царит она безраздельно. А тому, кто пока на плаву, надо вычерпать воду из лодки своей и легко и весело к иным берегам устремиться...

Так Бэрд Шеллитто стал законным наследником бродячего кратера со всеми лилипутами, наездниками, цыганами и уже старым силачом Иванычем. Того самого шапито, куда угораздило попасть нашего Ботика — двадцать восьмого августа 1915 года — по честно заработанной контрамарке.

На рассвете они с Пашкой «прогоняли» коней, потом, взмыленные, метались между конюшней и ареной на посылках у наездниц, а после мыли разгоряченных лошадей и «вышагивали» их вокруг шатра, давая остыть.

Премьеру знаменовало выступление местного великана Луки Махонкина, которого Шеллитто за версту приметил на базарной площади.

Бэрд шел, мрачно оглядывая окрестности, невеселые думы одолевали его.

На второй год войны у него из цирка забрали в солдаты «человека без костей», за ним — шпагоглотателя, а следом — эквилибриста на бутылках и стульях. Из-за границы больше никто не приезжал, какое там! Мировые звезды спешно покидали Россию, увозя дрессированных тигров, львов и слонов, как магнитом притягивающих публику.

Сборы упали. К своим номерам приходилось добавлять чуть ли не петрушечников или базарных канатоходцев с кипящим самоваром.

— З-засранцы, — думал Шеллитто. — Осталось мне вывести на арену шарманщика с попугаем на плече.

Тут-то Бэрду и улыбнулась неслыханная удача — он узрел великана!

Бэрд остолбенел.

— Good, good... — подумал он и, словно камышовый кот, — тихим пружинящим шагом — двинулся навстречу своей фортуне.

Чем ближе Бэрд подходил, тем сильнее билось его сердце. В уме он уже подсчитывал барыши, которые этот рыцарь наживы, корсар с каперской грамотой, размышлял огрести, заманив витебского верзилу на представление. Да он и сам был ошеломлен чуть ли не трехметровым исполином, разгуливающим с тростью по базару! Особенно когда приблизился к великану вплотную — лбом он уперся в пряжку его ремня. Зато сапоги, едва доходившие Махонкину до колена, достигали пупка директора шапито.

Мозг Шеллитто заработал на пределе, голова пошла кругом, как у пьяного, он уже заранее предвкушал, какой фурор вызовет появление на арене этакого мастодонта. Поэтому Бэрд учтиво представился Гулливеру и без всяких околичностей предложил ему бенефис и «губернаторский» гонорар. А получив согласие, в припадке великодушия поставил Луку на «казенное» довольствие.

Это было рискованно, однако Шеллитто смолodu почитал риск благородным

занятием, да и что такого, успокаивал он себя: Махонкин ел, как и все нормальные люди — четыре раза в день. Правда, в мирное время его завтраком на протяжении пары-тройки дней могла бы прокормиться большая семья.

Утром он съедал двадцать яиц, восемь круглых буханок белого хлеба с маслом и выпивал два литра чая. Обед его состоял из килограмма картофеля, трех кило мяса и трех литров пива. Вечером — таз фруктов, два кило мяса, три буханки хлеба, два литра чая. Ну, и перед сном — штук пятнадцать яиц и один литр молока.

Теперь времена были далеко не так хороши, в Англии похожие обстоятельства называли «между дьяволом и синим морем», всем приходится туго затягивать пояса. И великан Лука Махонкин — не исключение.

Мысленно Бэрд прокручивал разные варианты силовых номеров, пока не остановился на одном — самом, казалось, подходящем для старого уже заслуженного атлета Иваныча и молодого претендента Махонкина. В цирках пользовались большой популярностью турниры по греко-римской борьбе. В них принимали участие знаменитые силачи и борцы мирового уровня, в том числе русские титаны Заикин и Поддубный. Если грамотно поставить дело, финальное состязание даст несколько полных сборов.

Клоун Гарик, помимо чувства юмора и невероятно маленького роста обладавший недюжинным талантом художника, нарисовал гуашью афишу. Там был изображен огромный бородатый мужик в ботфортах и шляпе с пером, на левой ладони у него стояла в розовом платье с пеной рюшечек Крися, ее Гарик нарисовал как всегда с неизменной любовью, другой рукой — специальным греко-римским захватом — мужик сжимал горло какому-то толстому усатому щеголю в полосатом трико, голова которого едва доходила до солнечного сплетения великана.

Все это венчал заголовок:

ЦИРК ШЕЛЛИТТО! ВПЕРВЫЕ НА АРЕНЕ!!!
БЕЛОРУССКИЙ ГУЛЛИВЕР.
МОЛОДОЙ ВЕЛИКАН ЛУКА МАХОНКИН
ПОБЕЖДАЕТ НЕПОБЕДИМОГО
ЗАСЛУЖЕННОГО БОЙЦА
ИВАНА ГРОМА!!!

Ботик сидел на галерке и страшно волновался. У него пересохло во рту и вспотели ладони. Ему казалось, еще минута — и он станет свидетелем какого-то сумасшедшего чуда.

В первых рядах, разумеется, ожидали спектакля достопамятные отцы города, а дальше, как водится, толпилась разная пересортица. Даже Лара — и та не удержалась: на двоих с Дорой Блюмкиной они купили один билет: Ларочка явилась на первое отделение, а Дора на входе ожидала второго, прислушиваясь к ликующим праздничным звукам, доносящимся из шатра. Маруся не могла прийти, она дежурила в госпитале, Ботик забежал к ней перед представлением, она бинтовала грудь худющему рыжему солдату.

Зато с помощью Пашки-цыгана Ботик незаметно провел Асеньку.

Оба они запомнили этот вечер навсегда («Умирать будем — вспомним», — любила говорить Асенька, не знаю, исполнила ли свое обещание). Когда она в глубокой старости покидала этот мир, меня не было с нею рядом.

Поискав глазами Иону, она не увидела его в толпе, это чуть омрачило ее счастье.

Шум, гам, тетки по рядам разносят «горя-ачие пирожки!», «жа-а-а-реные семечки...» Тут же шла бойкая торговля пышками, орехами, маковниками, кислыми шами...

Вдруг свет погас, публика стихла, оркестр заиграл увертюру. Конечно, в ней явственно не хватало позолоченных труб, тромбонов и саксофонов, они постепенно перекочевали в военные оркестры. На днях у Бэрда Шеллитто забрали последнего трубача, благодаря чему вся программа оказалась на грани срыва. Ну как же без трубы? Цирк без трубы — не цирк, а простой набор номеров! Труба ворожит, священнодействует, фокусирует, расставляет акценты, наводит резкость, излучает магию, черт возьми!

Увы, его оркестранты — вместо полета воздушных гимнастов под куполом цирка — теперь в звездном небе ночном наблюдают фейерверк осветительных ракет и шрапнели.

Но инструменты все же звучали духовые: корнет-а-пистон, кларнет и сопелочка, олений рожок плюс гармошка и, разумеется, барабан. На всем этом играли муж с женой — музыкальные эксцентрики Пенелопскеры. Специального места для оркестра не было, лишь над форгангом — выходом из кулис на арену — возвышалась крошечная площадка, там они и разместились.

Под бравурное попури на тему «Летучей мыши» Штрауса к публике вышел Бэрд Шеллитто собственной персоной, наряженный в сиреневый камзол и красные рейтузы, в изящных кожаных сапожках, отделанных тесьмой. Приветственным жестом он поднял над головой искрящийся цилиндр и громко произнес:

— Гуд ивнинг, господа! Цирк Шеллитто начинает представление!

С этими словами директор откинул мерцающий синий полог кулисы, а на манеже, разбрасывая опилки, появилась вороная лошадь с наездником в маске и плаще. В одной руке всадник держал поводья, в другой — сияющую в золотом луче трубу. Сделав пару эффектных кругов по манежу, он вскинул трубу и заиграл.

Волнующая, волшебная, его музыка уносила зрителей и артистов из этого расколотого опустошенного мира, отыскивая прибежище в сердце, будто бродячее шапито превратилось в Ноев ковчег, где оказались те, кого выбрал Ной, чтобы спасти от Потопа. В наличии имелась даже белая птица, которая могла бы возвестить людям об избавлении от непостижимой всеобщей беды, будь на это хотя бы крошечная надежда.

Восторженный шепот пронесся по рядам, так был прекрасен таинственный незнакомец на вороном коне в белой манишке с бабочкой и сверкающем блесками рединготе, никто ни в жизнь не узнал бы в нем Иону Блюмкина, если б не Асенька, которая сразу все поняла и вскрикнула: «Мамочки мои! Да это же Иона!»

— Иона?!

— Точно! Блюмкин!

— Йошка Блюмкин! Как я его сразу не узнал?

Свист, топот, аплодисменты кого бы угодно выбили из седла. Однако Иона, и будучи разоблаченным, не выпал из образа: гнул свою линию загадочного мистера Икс, извлекая из трубы непомерной силы и поразительной красоты звуки — в безукоризненной чистоте, с которой он исполнял труднейшие пассажи, и все это — я повторяю — подымаясь и опускаясь верхом на вороной, словно катерок на волне.

Иона до того преобразился, даже Ботик был обескуражен, хотя он лично привел друга в цирк, узнав от Пенелопскеров о плачевном состоянии оркестра. В поисках подходящих музыкантов неутомимый Шеллитто весь Витебск обегал — слушал старичков, зажигающих по ресторанам и трактирам, свадебных скрипачей, столетнего

органиста Янкеля из костела святой Варвары, сивых лабухов, некогда служивших в полицейском оркестре.

Не то.

И вдруг является Иона с начищенной трубой, за которую Шеллитто схватился, как утопающий за соломинку. Едва услышав короткую неаполитанскую песенку «О! Мама!», которую напевал еще в детстве Зюси маэстро Джованни, директор загудел:

— Good!!! Good!!!

И понеслось!

Номер осложнился тем, что Иона совсем не умел держаться в седле. Ничего, к нему вывели понятливую смирную Эфиопку — даром, что знойной угольной масти с искрой во лбу — само послушание

Когда же она в такт арии «Сердце, ты снова огнем любви объято» двинула испанским шагом, самостоятельно сменив его на пиаф и курбет, Дора, сидя у шатра на лавочке, встрепенулась.

— Voi Va Voy! Кто ж там наигрывает мою любимую арию Розалинды, еще и на трубе? Только сынок умеет вот так задеть струны души... Кстати, где он болтается? Нет, напрасно я уступила первое отделение Ларе. Надо было идти самой. Сначала всегда все самое интересное...

Не переставая танцевать и гарцевать, не выбиваясь из ритма, Эфиопка грациозно удалилась с манежа именно тогда, когда финальная нота взвилась к верхним галеркам и забилась, как заплутавшая голубка, под куполом, хотя Иона давно опустил трубу.

Грянули на своих рожках, сопелочках и гармошках супруги Пенелопскеры. А на арену выбежала Аве Мария с наездницей — дочкой Шеллитто Эммой, которая не только перелетала через ленты и обручи, но в такт музыки, стоя на лошади, прыгала через скакалочку.

Как только лошадь скрылась за кулисами, штальмейстер объявил:

— Белорусский Гулливер — Лука Махонкин! Самый большой человек мира. Первое представление! И заслуженный русский борец Иван Иванович Гром, убивающий быка кулаком! Греко-римская борьба по французским правилам. Битва титанов на арене нашего шапито!

Публика стихла, забыв про семечки и папиросы, когда из темного прохода, склонив голову, появился чудовищного роста акромегал, одетый в алые шаровары, белую вышиванку и турецкую шапочку с кисточкой. За ним, раскачиваясь на мосластых ногах, обтянутых трико, вышел на арену Иван Гром. Его пожилое волосатое тело казалось старой корягой, сучковатые бугры мышц выпирали из полосатой майки там, где надо и не надо. Они встали враскоряку и вперились друг в друга злыми глазами.

Та-та-та, тааа! Отрывистый сухой барабанный треск объявил начало поединка. Иваныч, оттопырив нафабранные усы, бросился вперед, ловким натренированным движением произвел захват Луки и попытался приподнять великана за пояс.

Публика взвыла от этакой наглости заслуженного борца — он едва доходил Луке до грудного соска, а весом Лука был не меньше десяти пудов, считай, вдвое тяжелее Иваныча. Иван Иванович крикнул, покраснел, как рак в кипятке, но не отпустил Луку.

— Вали дылду! — завопили с верхних рядов близнецы Меерзоны, завсегдатаи всяких драк и соревнований, включая тараканьи бега и петушиные бои.

Эфраим и Левушка болели за Ивана, они видели его в Гомеле, когда ездили туда по торговым делам, восхищались его борцовской удалью и поставили рубль на его победу.

Белорусский Гулливер замер, беззвучно открывая рот, видимо, соперник так сильно сдавил ему живот, что воздух вышел наружу, а обратной дороги не было. Он вытянул свои огромные руки и стал размахивать ими, как мельничными крыльями. Тогда Гром подпрыгнул и, не размыкая железных объятий, произвел захват противника ногами. Мельничные крылья закрутились еще быстрее. Казалось, что Иван Гром, возомнив себя Синдбадом, оседлал огромную птицу Рух, которая могла унести в когтях слона.

Шапито огласилось смехом, кто-то даже позволил себе свистнуть. Ботик установился на задубелые ступни Ивана, которые невероятно вывернулись и сжимали какие-то точки на ногах Луки до тех пор, пока исполин не рухнул, взметнув огромное облако трухи.

Иваныч соскочил с поверженного великана и победоносно вскинул руки.

Номер явно удался, все прошло гладко, как на репетиции, успех оглушительный, завтра объявлено продолжение! Уж на этот раз Махонкин разорвет наглого Грома на кусочки, оторвет голову и предъявит почтенной публике.

— Антракт! — объявил довольный Шеллитто.

Слухи о турнире молодого витебского гиганта и заслуженного борца живо разлетелись по Витебску и близлежащей округе. С каждым днем Шеллитто повышал цены на билеты, и все равно зритель валил валом. Лука одной левой гнул железные подковы, закручивал в спираль металлические прутья, а потом вновь выпрямлял их.

Особым успехом пользовался номер, когда он, лежа на спине, поднимал деревянную платформу с оркестром из трех музыкантов — четы Пенелопскеров и трубача Ионы, который больше не разыгрывал из себя таинственного мистера Икс, но, паря на платформе под аккомпанемент сопелочек и гармошек, выводил на трубе арию Альфреда и Розалинды «К нам в окно стучит весна».

Однако при том, что Махонкин обладал чудовищной силой грифа, а именно — кистей и пальцев рук, в битве он был на редкость неуклюж, ходулеват и вял, как макаронина. Поэтому директор строго-настрого запретил Грому тушировать великана — дабы невзначай не обнаружилось, какой у него сырой соперник. Напротив, Бэрд обязал Ивана всячески придерживать мастодонта, чтоб, не приведа Господь, тот не оступился и не рассыпался в прах.

И до того он все здорово обстряпал, этот прохвост, что вскоре Лука стал любимцем публики, а Иван Ивана, волненс-ноленс, принял на себя амплу кровожадного «зверя», и его горячо полюбила галерка.

Когда же наступал черед проигрывать, Ивана капитулировал грамотно, создавая видимость ожесточенной борьбы: накалял атмосферу опасными трюками — кусался и всяко приколачивал «любимца», щедрой рукою раздавал «лещей», «судаков» и «осетров», охаживал бока, таранил его своим крутым лбом, давил горло, зажимал нос и рот, стискивал голову железным ошейником (последний трюк он выполнял осторожно, ибо голова великана была несоразмерно маленькой и, чтобы скрыть изъян, Махонкин, выходя на улицу, нахлобучивал мохнатую казацкую папаху).

Приняв инсценировку за чистую монету, возмущенная публика впадала в раж — еще минута и бросится ломать цирк на мелкие кусочки! Того гляди полетят на манеж стулья, палки, все, что попадет под руку. Тогда, и только тогда, изловчившись, Лука укладывал Ивана на обе лопатки.

Зал взрывался аплодисментами, усталый гренадер нетвердою походкой покидал арену, а Иван «в злобном иступлении» переворачивал стол жюри.

Каша была заварена, публика раскупала с утра все билеты, вечером скопище народу, охваченное лихорадкой, толпилось у дверей цирка, ожидая третьего отделения, когда была назначена борьба. А наутро не один конторщик или подмастерье очнется с головной болью и пустым кошельком.

Ботик не пропускал ни единой репетиции. Наездники, сыновья Шеллитто, гоняли его в хвост и в гриву: «Боб — туда!», «Боб — сюда!» Он, взмыленный, метался между конюшней и манежем, помогал разбирать и складывать реквизит, готовил лошадей. За это ему позволили бесплатно смотреть оба представления, дневное и вечернее, что доставляло Ботику неизъяснимое наслаждение.

Но бывали особенные вечера, когда он приводил с собой Марусю, в кои-то веки свободную от дежурства. Все связи были задействованы — Иона, Пашка-чавела, супруги Пенелопскеры, чтобы на пути у влюбленных не было никаких препон. Они устраивались в проходе на ступеньке, Ботик обнимал Марусю, прижимался к ней бочком и был на седьмом небе от счастья.

Больше всех Марусе нравились наездница Эмми, дрессированная свинья Брунгильда и воздушные гимнасты.

Великана Маруся жалела, она с детства знала, какой Лука нескладный дядя, достань воробушка. И хотя Иван Иванович больше играл на публику, чем действительно копыя ломал, Махонкин трижды обращался к ним в лазарет Крестовоздвиженской общины Красного Креста с ушибами, растяжениями и другими травмами.

Да и Грому приходилось туго. Как раз недавно Иван Иванович выговаривал Махонкину в примерке, что Лука, увлекшись борьбой, слишком нажимал на него коленкой и теперь у него в непристойном месте синяк.

— Ты хоть подумал бы, оголец, что мне пятьдесят пять, а не двадцать три, как тебе! — ворчал Иванович, поджаривая котлеты и разливая по стаканам водку. После полбутылки они оба засыпали богатырским сном. Так что мир царил под оливами. Цирк имел битковые сборы. Все даже на время почти забыли о войне.

Ботик дневал и ночевал в цирке, забросил все на свете. Лишь одна Маруся помимо арены с опилками влекла моего влюбленного деда, он никогда не встречал ангелов, но в представлении Ботика они выглядели именно так, как его Маруся. Он боготворил ее, горел желанием к ней прикоснуться, не находил себе места по ночам, когда она дежурила в лазарете, вызволял из любой беды, побеждал угрожавших ей драконов, демонов и так далее, звал гулять, устраивал пикники, на которые приносил обычно что-то вкусненькое, теплый хлеб из булочной, испускавший умопомрачительный запах, а мечтал заработать кучу денег и купить ей столько пирожных, чтобы она хоть раз в жизни наелась пирожными до отвала!

Иногда он прибегал в лазарет, дотрагивался до нее и сразу убегал обратно, потому что Пашка-чавела так складно его приузорил, что и лошади, и наездники уже не могли без него репетировать.

Кстати, рыжий солдат с простреленным легким, Марусин подопечный, быстро пошел на поправку. Он беззаботно травил анекдоты, байки и небылицы, так что Ботик последнее время частенько ее заставлял хохочущей.

А тот прямо из кожи вон лез, селезень подшибленный. До того он прыткий, разбитной и жизнерадостный, не скажешь, что на днях воскрес из мертвых. Ботик зовет Марусю в цирк, на клоуна, а ей уж никаких клоунов не надо с таким балагуром. Ботик зовет на фокусника, а Макар — так звали рыжего проныру — заявляет:

— Зачем ей фокусник, я вам сейчас такой фокус покажу!

Раскуривает папиросу, потом губами и языком перевертывает ее горящим концом внутрь и — довольно-таки продолжительное время — держит в таком положении, закрыв рот! После чего тем же способом, с ловкостью иллюзиониста или карточного шулера, поворачивает обратно — папироска горит! — а он попыхивает, подлец, как ни в чем не бывало.

Маруся следила как зачарованная за этим мастером по части втирания очков. А Ботик наш глаз не сводил с Маруси, от макушки до пят поглощенный своею любовью.

Она была звездой его жизни. Он бежал к ней из цирка, за ним следовал неслышно табун лошадей, лисы и саламандры, белый сибирский тигр и желтый — из Бенгалии, ястребы и дикие лебеди летели над Ботиком, с ветки на ветку перепархивали чижи, снегири и шеглы, тихо шелестели кроны, вспыхивали и мерцали полосы и пятна, солнечные куницы шныряли в осенней траве.

Так, однажды, не чуя земли, Ботик мчался к своей Марусе, они условились поболтаться по улицам, он решил встретить ее после дежурства, влетает во двор лазарета — видит: Маруся с Макаром стоят на крыльце. А был октябрь, вторая половина октября в Витебске туманна и дождлива, домовитый народ в это время печки топят, вставляет двойные рамы. Особенно промозгло бывает под утро...

Словом, он видит: заливаясь русалочьим смехом, его Маруся накидывает рыжему шарф на шею и ему грудь от ветра загорает. А эта харя конопатая, противный ходячий скелет, ну так и впился в нее глазами, вытаращился, как пучеглазый окунь, вдруг сгреб ее и поцеловал в засос.

О, Господи, избави нас от всякого злого обстояния! Ботик застыл, будто врос копытами в землю:

— Дрожь пробежала по телу, в горле пересохло, я внезапно почувствовал себя кентавром — злобным и мстительным, со смертоносным луком в руках и отравленной стрелой. Земная твердь загорелась у меня под ногами. Маруся оглянулась, услышав топот медных моих копыт.

— Не трожь его! — закричала, заслоняя своего ухажера.

Но я отшвырнул ее. Вспыхнул скандал, затеялась драка. Выскочили санитары, врачи, меня оттеснили от Макара, схватили его под микитки, утащили обратно в лазарет.

И такой поднялся ветер ледяной. Все куда-то провалились. Мы вдвоем стоим с ней, молча, окаменелые, слезы катятся по ее щекам.

А меня как будто просквозило этим ветром, будто бы в мою оболочку вселилась потусторонняя сила, все мои фибры вибрировали в этом настрое, а внутри бушевало пламя, которому не было ни начала, ни конца.

Ночью на город обрушился беспощадный ливень, казалось, разверзлись не хляби небесные, а все небо стало водой и опрокинулось на землю.

Когда утром дождь прекратился и сквозь разорванные облака, будто сквозь бинты раненого, проступили алые лучи восходящего солнца, стало ясно, что в цирке Шеллитто случилась кража. Конюх Пашка, цыганская его душа, пропал вместе с черным конем по кличке Жасмин.

И это не какая-нибудь убогая полудохлая кляча: Жасмин бежит — земля дрожит, вот он какой был, конь-огонь, отменно выученный испанскому шагу и курбету. Добрый нрав, светлый ум! Он же все понимал с полуслова! А его круподы и кабриоли, пиаффы и пируэты... Он вставал на «свечу» — и держал вертикаль до тех пор, пока Эмми не подавала знак опуститься... С какой легкостью он перемахивал через ленты и

барьеры, нырял в обручи, «бочки» и «туннели»! И никто, никогда и никто, как Жасмин, так изяшно и картинно не выбрасывал передние копыта под «Марш гладиаторов»!

Вот пропажа так пропажа. Если перечислить все, чего цирк лишился с украденным Жасмином, хоть ложись и помирай. Барышники сколько раз подкатывали к директору, молили продать вороного Жасмина, Шеллитто был непреклонен. И на тебе — острый нож в спину темной ночью.

Бэрд выскочил из своего фургона, немывтый, нечесанный, без котелка, в халате, шерстяных полосатых гетрах на голую ногу и мягких туфлях, зашлепал по грязи, по лужам, ругая небо, проклиная конюхов, угощая оплеухами попавших под раздачу сыновей Року и Чарли, при этом его обычное «з-засранец» внезапно обогатилось хлесткими татаро-монгольскими оборотами.

В таких вот экспрессивных выражениях он скомандовал сворачивать шатер и собирать инвентарь.

— Где этот хмырь, как его зовут, good Боб, мать-перемать, приведите его сюда! — орал Шеллитто.

Искать Ботика долго не пришлось, тот спал прямо на арене, на рогожке, накрывшись бархатным чепраком Аве-Марии. После свалившейся на него беды — когда Маруся поцеловала Стожарова, верней, Макар поцеловал Марусю, — а, один черт! — его небо опрокинулось с общим небом. Он плакал вместе с дождем, стоял на Двинском мосту, гляделся в черные воды, а перед глазами была она, Маруся, ее смеющееся лицо.

— Я уже выбирал — то ли кинуться с моста в реку и утопиться, — он рассказывал мне на даче в Валентиновке, — то ли броситься под колеса трамвая. А потом как представил Марусю с этим прохвостом, что они мне букетик фиалок кладут на могилку... Нет уж, дудки!! — подумал. — Я вам не доставлю такого удовольствия. И тогда ноги сами принесли меня в цирк, в ту кошмарную ночь я не пошел домой, да простит меня Лара, а свернулся калачиком под барьером и, поклявшись не любить больше никого в своей жизни, забылся тревожным сном...

Разбудил его Гарри, звуки хриплого голоса вливались в сонные уши Ботика: «Вот тебя нам и нужно, мальчик!» Карлик взял его за руку и вывел на свет божий. Во дворе уже собрались цирковые.

Бэрд метал перуны, с сильнейшим иностранным акцентом, с ошибкой в каждом слове изрыгал на них самую зазорную брань, суть которой сводилась к следующему: ах, вы, ротозеи, чтоб вам пусто было, я мытарюсь, мотаюсь туда-сюда, зарабатываю на кусок хлеба этим дармоедам, и вот благодарность! У них на глазах, чтоб им пусто было, воруют из стойла моего лучшего коня! Да грош вам цена, лоботрясам, в базарный день!

Они же рассеянно разводили руками, как бы показывая, что не ожидали такого от бандита Пашки, хотя как не ожидали, цыган — он всегда цыган, коня увести — это классика жанра...

— Я этот паршивый скандрел — найду, ин скай ор ин зе хелл, и рьebra переломаю! — грозил кулаком Шеллитто в неведомую даль, куда ускакал под покровом дождливой ночи Павел на вороном жеребце.

Пашка — хитрован, у директора на это дело наметанный глаз. Во время представления он зорко наблюдал за всем и каждым. Так вот, на гастролях в Гомеле богатый негодянт, владелец костопального завода Мовша Коварский, поклонник прекрасной Эмми, бывало, к концу номера до того разойдется, что кинет ей на арену пятирублевый золотой.

А надо сказать, что деньги и ценные подарки, преподнесенные артистам, пускай даже родным детям, Шеллитто безотлагательно забирал себе, взамен выдавая небольшие премии.

Однажды Пашка, ассистируя Эмми, ловким движением на лету подхватил брошенный Коварским пятирублевик и проглотил!

Бэрд из него душу вытряхивал — чавела, гусь лапчатый, все отрицает, рубаху на груди рвет:

— Где хотите — ищите, не брал, не видал, и купец ваш ничего не бросал!

Мовша:

— Бросил! — клянется. — зуб даю, бросил! Врет, щегол!

— Не вру, — кричит Пашка, — истинный Бог!

Тогда Бэрд Шеллитто, выходец, по его собственным словам, из старинного английского рода, сын восьми графов, послал за касторкой, вылил в стакан пузырек и велел Пашке выпить. После чего таскал его всюду за собой, куда Пашку не пронесло. И что же? Шеллитто кочергой пошарил и нашел. Не на того напал, дурака из него строить.

— Слушай, малыш, — резко и зло сказал Бэрд Шеллитто Ботику, у тебя есть шанс поехать с нами, будешь смотреть за конями, я тебе дам номер, good?

И Ботик, побледнев, как соль, кивнул головой.

Со вздохом напутствовал его Филя, облобызала родное дитя Лара. Асенька плакала, ей казалось, они больше не увидятся с братом. Крепко обнял друга на прощание Иона, которого директор — ох, как звал за собой, манил, обещал губернаторское жалованье.

— Только через мой труп Йошка станет цирковым лабухом! — воскликнул на это Биня Криворот. — Чёрта вашей маме!

И услышал в ответ:

— 3-3-3...

Перед самым отъездом Бэрд снова созвал артистов и, как всегда, зачитал несколько пламенеющих строк из своей потрепанной Библии. На сей раз была оглашена Песня царя Соломона о суете сует.

— «Все суета сует, — читал Бэрд нараспев, — и ловля ветра... и томленье духа...»

21 октября 1915 года обшарпанные фургоны с надписью «Знаменитый на весь мир шапито...» тронулись в путь. Они пересекли Двину и пропали в чахоточной сиреневой дымке. На размокшем от дождя поле чернел огромный круг, водяной обруч, вытоптаный лошадьми, да разорванная ветром афиша, на куске которой еле видна была размытая фигура белорусского великана, нежная фигурка лилипутки Криси в розовом с оборочками платье с кружевами и стеклярусом, сшитом Дорой Блюмкиной, и загадочные слова «...ирк Шеллит...».

Все цирковые уехали, только Лука Махонкин отказался покидать родные места, с его-то ростом кочевать — ни в какой фургон не приютишься, а согнутым в три погибели далеко не уедешь. Да и где найти такие кровати в дороге, какую сколотил ему его добрый дедушка, подарив на совершеннолетие.

Так и стоял на росстани белорусский великан коломенской верстой, опустив руки, глядя вдаль, пока последний фургон, маленький, как блоха, не скрылся за поворотом. Цирк уехал, унося с собою праздник, незамысловатые веселые песенки, смех детей, ржанье лошадей, отлучив от семьи непутевого сына Ларочки и Филарета, да пребудет ему удача в скитаниях, пусть ангел не оставит его на кривых дорогах жизни.

Сергей Золотарёв

Планировка пространства

* * *

Планировка пространства —
вот и всё, что привнёс человек
в дикий сад померанца:
строй тонический — в бронзовый век.

Где любовь — этот нерегулярный
редкий самодовлеющий стих —
оставляет на площади парный
след один на двоих.

Небо

Погружённое в аорту,
вытесняет из глубин
подсознания воздух спёртый
гонит в кровь гемоглобин.

Предлагает помириться,
повиниться, поманить,
нанизать две мёртвых птицы
на одну живую нить.

Только клетка разделиться
не умеет до конца:
шаг деления — единица
измерения рубца.

* * *

Непротивление (кажется, это закон)
злу — объясняет особую выпуклость истин.
Время пришло — добавлять побелевшие кисти
рук, надавивших на листья окон,
в свой лексикон.

* * *

Когда я работал в котельной
и бронхами пыль осаждал,
одной только жизнью бесцельной
отапливал целый квартал.

Природному газу соперник
неверный искусственный свет
глаза набивал, как наперник,
в течение нескольких лет.

Пока не набил под завязку.
И этот (не пух, не пыльцу)
я перегружал на коляску
и вёз к огневому кольцу,

где вновь понимал: чем скорее
растрачу своё вещество,
тем больше уйдёт в батареи
горячего тела его.

* * *

Дождь наследует землю в свидетельство
вековой непричастности к ней,
он вселяется в бурную деятельность,
как в библейское стадо свиней.

И с обрыва бросается в суетность,
чтоб добраться до берега вплавь,
разбиваясь о наше безумие,
водохлёбную бездну и хлябь.

Поутру его злые чехольчики
для ношения острой воды
в ножны голени вложат оскольчатый
перелом, заматавая следы.

* * *

Майской ночи южный склон.
Муравейник. Вавилон.
Тот, кто думает о ближнем,
дальним светом ослеплен.

Шмель сливается в цветок,
засоря водосток.
Липа втягивает листья,
словно кошка — коготок.

Завывают комары,
выпив собственной икры.
В подворотне делят мойры
предрабсветные миры.

Ты заснула между мной
и поверхностью земной,
но боюсь, меж тем и этим
тьмы засветим перегной.

Утром выгонит пастух
исповедаться на дух,
чтобы ты вдыхала воздух
безо всяких цокотух.

* * *

Ты в монастыре играешь в салки
с пескарями в образе русалки.

Несмотря на прошлое мирское,
трудно быть владычицей морскою

на реке с тиснением деревенской
жизни монастырской толгской женской.
Трудно после полдничной ловитвы
про себя затверживать молитвы,
где с иконы, разъедая пластик,
смотрит золотистый головастик,
а в его усидчивой улыбке
полыхают съеденные рыбки.

* * *

Мой кузнечик ангелоподобный,
мой сверчок, за печкой поскрипи —
приведи мне перечень подробный
кораблей, сорвавшихся с цепи.

Мне всего лишь знать, где якорь брошен.
Я б стоянки временной очаг
до жемчужных коренных горошин
раскопал на шельфовых плечах.

Кораблям бы разрешил по трое
собираться, добывать треску,
и бороться с течью геморроя,
продирая днищем по песку.

* * *

Снежинка, подведённая углём
ночного неба — обведённый мелом
отсутствующий взгляд твой в опустелом
пространстве, где лежали мы рублём
на месте преступления — убиты,
расхищены? Есть точка, силуэт
которой нашей верою пропитан...
мотив отсутствует и доказательств нет.

Сергей Прудников

Здравствуй, папа

Записки современного тридцатилетнего

Повесть

1

За стеной плачет ребенок. Год-полтора от роду. Со стороны ванной. Мальчик. Первый раз заревел неделю назад. Ночь, и вдруг этот душераздирающий крик, точнее — вой. Испугался чего-то? Страшно? Я долго не засыпал, прислушивался: что там? в порядке все?

Мальчик стал плакать каждую ночь. Сначала принимался всхлипывать, а потом ревел — неутешно, долго. За стеной всякий раз слышались взволнованные голоса родителей, особенно отца.

Вчера я зашел в ванную перед сном, громко харкнул, больной. И снова услышал знакомое хныканье. Малыш испугался меня: я рычал, как волк. Ты спишь, нервное впечатлительное создание, а тут в ночи этот ужасающий звук. Волк? бабай? Или Мойдодыр какой-нибудь? Кто докажет крохе, что это всего лишь припозднившийся сосед за стеной прочищает горло.

Когда мы жили в деревянном доме на Таштыге, папа меня пугал Мойдодыром. «Вот придет, если не будешь мыться!» — говорил он. И однажды накликать — Мойдодыр пришел.

Я стоял вечером на кухне у раковины, нажимал обреченно на кнопку умывальника. Папа снова с сожалением припомнил Мойдодыра. И вдруг на улице мимо окна пробежал кто-то — темный, в капюшоне, страшное лицо спрятано! И словно к нам в сени заскочил. Но дверь входную не открыл, затаился, ждет...

Сейчас я понимаю, что это был обычный взрослый человек — бежал мимо, нацепил капюшон от холода. А я принял его за Мойдодыра во плоти. Сказали придет — пришел. Весь вечер боялся: рядом он, в темных сенях. И плакал долго, укладываясь спать.

Или когда в благоустроенный дом в Кызыле въехали — третий этаж, двухкомнатная квартира, долго ломал голову — а что внизу, под нами? Соседей я еще не видел,

Сергей Прудников родился в 1982 в г.Кызыле (Тува). Окончил исторический факультет Красноярского педагогического университета. Работает в газете «АиФ—Петербург». Живет в Санкт-Петербурге. В «ДН» публикуется впервые.

о планировке многоквартирного дома представления не имел. И пришел к выводу, что там тигр. Огромная клетка, а в ней тигр. Даже два! Мама как раз из деревни от бабушки два больших красных пледа с тиграми привезла.

А ведь пять лет мужику было. А тут полтора. И вполне осязаемый рык волка.

2

Откуда это вообще берется болезнь? Почему каждую осень, весну, зиму и даже лето наступает эта напасть? Причем крепкий парень вроде бы. Зарядку делаю. В бассейн хожу. Не курю. Не пью почти. Бегаю в парке. Пресс, турник. Свежевыжатый сок. Чего не хватает? Солнечного света? или любви?

Хотя сейчас все ясно. Болезненная поездка к родителям в деревню, а потом в Кызыл. Благо, до Петербурга дотянул. Только переступил порог дома — упал, как подкошенный.

Вчера в поликлинику выбрался — продлить больничный. В поликлинику эту, под окном, всегда с букетом чувств иду. Всегда это предвкушение мимолетного приятного общения. Как с врачами — преимущественно дамами, так и с пациентами — стариками да старушками. Давно заметил — тянет меня к ним, пожилым. Одна простота чего стоит, сегодня она дороже всего.

Сидишь на железной скамейке в очереди к врачу, и хочется повернуться к соседке — пожилой, чаще женщине, и пошутить или сказать чего-нибудь незатейливое, освободившись от дежурного выражения лица. И она улыбнется сразу, потому что готова к этой улыбке. Потому что неиссякаемый запас теплоты переполняет ее, повидавшую жизнь.

Ищу теплоту. Не хватает — холодно. После расставания с Верой совсем замерз.

3

Большое внимание уделяю чистоте. Кому-то кажется даже — слишком большое.

Так и говорят: «Ты помешался на своей чистоте». Или: «В кого ты такой чистюля?» Или: «О, классно, спасибо, у нас самих руки все не доходили». Или ж: «Не трожь здесь ничего!»

«Слишком большое» — это в представлении некоторых не терпеть шапки пыли на рабочем столе. Это тщательно мыть пол в комнатах раз в неделю. Это приехать к бабушке в Белоруссию и вытряхнуть тяжелые от песка половики и выгрести сор из-под кроватей. Чистая квартира для меня — все равно что вычищенные зубы или вымытая голова, все естественно, никаких крайностей.

Поражаюсь, как мало чистоты в окружающих жилищах, как все они похожи друг на друга своей запущенностью. А чего стоит моя газетная редакция с завалами-гнездами вокруг каждого рабочего места: у кого гнездо больше? Или предыдущая редакция, где, не выдержав как-то, с утра до вечера скоблил я пол, стены, окна, шкафы нашего кабинета, выносил накопившиеся за двадцать лет кипы сгнивших газет, подарки читателей, битые кружки, рваные сапоги, ломаные вентиляторы.

И подобным образом, с вариациями — везде. Грязь, слом, пыльные кресла, диваны, подушки, шкафы, жирные клеенки, жирные плиты, антресоли, табуретки, календари прошлого. Тучи лишней вещей. Коллекции старьевщиков. Ходишь из дома в дом, будто по тайному невидимому переходу перебираешься из одного чулана в другой. И видишь, что этот патологический беспорядок не такой невинный, как

кажется. Несобранность, расфокусированность, движение по течению, опущенные руки, равнодушие, болезни — все тряпки одного пыльного узла.

Трепещу перед захватом человека тленом. С радостью выбрасываю из своей квартиры ненужные вещи — громоздятся на полках, балконе, в гардеробной, как фазаны на жердочках, жирные, размножаются, скапливаются. Временами, правда, выходят перегибы — избавился от старого доброго пуховика. Рассудил — куда надену? Для города есть новая одежда, для командировок тоже. А когда месяц назад сталось ехать к родителям, глядь — а одеть в дальнюю дорогу нечего: старый теплый бушлат-пуховичок на свалке. Пришлось облачаться в совсем не полевого вида аляску, да к тому же холодную — проветрился насквозь ледяными сибирскими ветрами, от того, может, и слег.

4

Шугаюсь соседей. Не хочу пересекаться с ними. Тороплюсь в квартиру или из — связка ключей в руке, шаги быстрые.

На пять квартир моего этажа нашего нового дома — две семьи и я. Обе семьи — молодые. Обе тихие и вежливые. Входят, выходят, вызывают лифт, запирают общую дверь тамбура.

Впрочем, случаются и казусы.

Один раз соседи из квартиры №1 оставили пахучий мусорный пакет перед своей дверью. Возвращаясь вечером домой, я застыл у пакета.

Дверь открыла девушка-мотылек.

— Это вы?.. — Слова от возмущения выпихивались со свистом.

— Мы, — уронил побледневший мотылек, — сейчас вынесем. — В ее прихожей среди зеркал стояли свежие цветы.

Через пятнадцать минут она примчалась ко мне — извиняться.

— Вы так смотрели!.. Это мы нечаянно. Вообще мы очень чистоплотные. Не подумайте...

По ней видно было, что она аккуратистка — спору нет.

— Возьмите, пожалуйста, это вам маленький чешский подарок, мы недавно приехали из Праги... — Она вложила в мою ладонь красочный шоколадный орех.

Я поблагодарил и закрыл дверь — вид у меня временами и вправду бывает зловещий.

В квартире №2 живут двое с ребенком — тем самым мальчуганом из-за стенки. Оба — приезжие. Это чувствуется по тихому житью-бытью, отстраненности и погруженности в себя. Он — простой белобрысый паренек, ниже ее ростом, по виду — настырный. Она — высокая небрежная брюнетка. Гостей не водят, только вдвоем. Втроем теперь.

Каждый день в районе полудня она выходит с малышом гулять в парк. В это время я стараюсь не выходить из квартиры, чтобы не пересечься. Она также старательно избегает меня. Самое неловкое — встретиться во время пробежки в парке: и она, и я не знаем, куда сунуть взгляд. В итоге делаем вид, что не заметили друг друга, или стыдливо сворачиваем на разные тропинки.

Скованность и напряжение возникли между нами с первой же встречи. Ехали в лифте, не проронили ни слова — с тех пор так и пошло. «Здравствуйте», — вылетает каждый раз вопреки. Ни имен друг друга не знаем, ни кто, откуда. Вот сегодня опять

ехали с этим пареньком в лифте. Молча ехали, потерявши голос, отсчитывая двадцать один злосчастный этаж, ругая себя за идиотическую замороженность.

В этом виноват только я — ребята не причем. Тех — двое, этих — трое. Я — один. После Веры никого не было. Два года! Эти не застали ее. Те застали, но уже не помнят.

Окруженный парами и любовью, я сторонюсь себя на людях. Странное, наверное, зрелище: приходит один, выходит один, выносит мусор один, идет с пакетом еды один. Высокий, спортивный. Ни разу с девушкой.

Однажды ехал в лифте с горшочком алоэ — соседи №2 старались смотреть в стену. Другой раз с новым стулом.

Да, они видели меня с людьми. С мамой — она прилетала в гости. Или с грузчиком — он привез мешок картошки, вместе ворочали до двери: поддавшись на зазывное объявление о «свежей картошечке с доставкой на дом», я заказал сдуру целый мешок — 33 килограмма, половина оказалась порченной.

Мне хочется сказать что-то о себе соседям №2. Развеять миф о нелюдимости.

Например, поинтересоваться наконец: «Мальчишка... А как зовут?» И сказать обязательно: «И у меня пацан. Нет, живет не здесь». И поставить аккуратную точку.

Одно время хотел было добавить: «Развелся». Но потом понял, что наличие ребенка, а значит, возможно, и жены добавит веса и пространства для фантазии моей позиции.

Пока не сказал, пока глотаю воздух. Скажу. Тогда и ходить, и бегать, и жить будет легче. Не вечно же прислушиваться, выходя. Или делать паузу в пять минут, когда снаружи хлопнула дверь тамбура, а ты опаздываешь. Или ругать лифт, когда он вдруг задерживается с неприличным опозданием. Потому не судите меня слишком строго, соседи. Живи я не один, я давно и с радостью бы познакомился с вами, и явно перекидывался бы беззаботным словом, без каменных и зверских морд уж точно. И шумел бы в тамбуре — такой нрав. И кричал бы у лифта: «Что купить, ты говоришь, два лимона?» И выходил бы на общий балкон — посмотреть на город с высоты двадцать первого этажа, полюбоваться небом, встретить рассвет, ради которого просыпался рано утром, как только переехал, когда были вместе с Верой.

А так — затравленно вхожу-выхожу. Сам на себя уже гляжу с подозрением — человек в футляре. Тяжелый, боязливый, мутный. Почему один? Так не бывает.

Все бывает. С теми, кто с Верой пересекался, — все бывает. С теми, кто пересекался со мной, — тоже бывает все.

5

Несколько маленьких радостей у меня есть в ночи.

Одна — ночные полосы света на потолке. Они появляются и расходятся пучками. Заглянули к тебе в гости, побежали-побежали вместе с неопознанными летающими объектами вовне. И исчезли — ночные солнечные зайцы.

Это из детства гости. То немного, что пришло из детства, продравшись сквозь года и города. Мы в Кызыле на третьем этаже жили. Машина ночью проехала, и у тебя по стенам и потолку полосы света в разные стороны, из-за штор. По-домашнему так, приятно, словно по голове тебя ласково погладили.

В Петербурге когда впервые увидел — не поверил. Не было никогда, и вдруг — на тебе! Откуда? Внизу торговый центр, машин нет. По крыше только если? Катаются, светят фарами: «Приказано передать привет!».

Или компания за окном прошумела — смех, гомон, женские пьяненькие крики.

Накатилось, как волна, и смолкло. Только эхо в ушах осталось. Как в том же Кызыле двадцатилетней давности, когда по дорожке — компании, большие и маленькие, с празднеств, погуляли, хохочут. Или в курортном городке благоухающей ночью под окнами пансионата.

В Петербурге эти компании — редкость. Как те полоски света на потолке. Услышу перед сном — на локте привстану. Идут вниз, шумят, радуются. Если песню затянут — совсем праздник. Сам радуюсь за них всегда.

Или поднимешься ночью в бессонной полудреме, к пластиковому окну подойдешь, ручку повернешь, раскроешь его, широкое, и носом острый воздух вбираешь. Свежо так сразу, сладко. Ни пылинки, ни камня, ни кристаллика мегаполиса. Только аромат простора, земли и почему-то сена. Вдыхаешь, надышаться не можешь. Как будто в далекой деревне детства очутился. Воды попил. Ночью на крыльцо вышел. На звезды рассыпанные посмотрел...

Правда, после недавней поездки в родные края не очень тянет к окну. Нотки тревоги появились в этом ночном петербургском воздухе. Нотки растерянности.

6

Для меня важно было пройти пешком этот путь.

Дорога от поворота на трассе до деревни, где ждал отец.

«Позвони, как подъезжать будешь, — я встречу», — написал он, когда я ехал на автобусе из Красноярска.

Не стал звонить. Мне важно было ногами пройти эти два километра, ощутить их, поцеловать эту землю, по которой шлепал я каждое лето многие годы, приезжая в детстве на каникулы из Кызыла. Спроси меня — что твое счастье? Вот эти два километра и назову, когда поутру, солнце не вышло, сквозь туман торопишься от своротка к бабушке и дедушке, пьяный от забытых деревенских запахов, обгоняешь маму — последний рывок!

Десять лет я не был в Успенке.

Десять лет назад ушла из жизни бабушка, перед нею — дед. Десять лет мы сдавали дом в бесплатную аренду — лишь бы кто-то жил. Продать его было жалко, как всегда в таких случаях теплилась необъяснимая надежда, что дом этот пригодится еще когда-то, что мы приедем сюда еще, соберемся все вместе.

Сначала сдавали молодой семье — своим, деревенским. Потом узбекам — торговцам на рынке в соседнем райцентре. Последние несколько лет — армянам. Два года назад эти квартиранты купили избу на другом конце деревни и выехали, забрав из нашей все, что можно было забрать, от старенькой, но работающей еще бабушкиной газовой плиты, до железной скобы у порога для очистки обуви от грязи.

Отец, приехавший принимать дом, неделю вывозил мусор из сада — под черемухой последние квартиранты устроили выгребную яму. Тогда же решил привести дом в божеский вид, восстановить: «Будет мне дача».

Какая может быть дача в 700 километрах от Кызыла, в аварийном доме — не уточнил. Но добавил, что со временем из Тувы они все равно уедут — жизни русскому человеку в республике нет. Обоснуются в соседнем Красноярске. Вот там-то — до деревни 120 километров — дачка и пригодится, не в городе же в четырех стенах сидеть. О том, что 120 — тоже не ближний свет, что купить деревенский дом можно и под Красноярском, ближе, — слышать не хотел. «Есть у нас Успенка, и есть. Зачем еще что-то?»

Со стороны, на расстоянии, довод отца мне казался логичным. Взятая — значит, надо. Значит, справится. И мы радовались — я и мама — тихой радостью праздных людей, издали наблюдающих за трудным, большим делом взвалившего на себя ответственность человека. Особенно радовалась мать — в этом доме она родилась и выросла (отец — из Белоруссии). Правда, сама в процессе восстановления никакого участия не принимала. Просто констатировала очередной раз, не скрывая восторга и удивления: «Папа опять в деревню собирается. Вроде как баню строить хочет на этот раз!»

Дом обрел своего хозяина, — думал я. Стал нужным. Никто ведь из нас понятия не имел — что с ним делать? Дядя Витя — старший брат матери — твердил одно: «Продавайте. Зачем мучиться, зачем это старье?» В неожиданной инициативе отца все нашли освобождение от свербящей занозы и успокоились.

Отец исправно ездил в деревню два года подряд, весной и осенью, отдавая ремонту отпуск и майские праздники. Один, совершая титанический переход через Восточные Саяны на «Ниве», — машину отец водил всего шестой год, ездил осторожно, медленно. «Ни отдыха, ни лечения», — кричал он, удивляясь самому себе. Перевозил из кызыльской квартиры в деревню ненужные вещи. Строил большие планы: что отремонтировать сейчас, что в следующий раз, что прикупить, где подстроить. Я ожидал увидеть в Успенке подлаженный дом, аккуратный участок, обитель здравого смысла, перспективы.

Я шел пешком, чутко внимая запахам — сначала сырой земли, пашни, потом зерна, навоза, печного дыма. Здороваясь с деревней. Удивляясь свету в окошках — живут еще люди. Звездному морю — в Петербурге звезд мало. Шел, скользя по ледяной дороге, прислушиваясь к себе: сейчас пекарня, потом лесопилка, вон гараж, вот поляна! Задыхаясь от восторга, как ранним утром в детстве. Ожидая, как и когда-то, встречи — теперь с отцом.

Ставни были заперты — горело лишь боковое оконце кухни. Я отметил разбросанный в разные стороны забор палисадника — некогда белоснежный и весенний. Стукнул ногой в мокрую калитку, вдохнул всегда неизменный, волнующий запах двора. Услышал мелодию радиоприемника за горящим окном. Отец был внутри — ждал моего звонка.

Я ткнулся в сени — заперты. Принялся барабанить в стекло, как всегда барабанили раньше приезжавшие по ночам или утрам мама, папа, дядя Витя: «Отворяйте, свои!»

Раздались шаги и торопливое отцовское:

— Серёга, что ли?

— Я!

— А ты чего не звонил, я жду, — обнялись мы.

Радость встречи смазалась: под глазом у отца сиял фингал, широкий и разбрызганный, как клякса. Заныло внутри. Надавали ему местные, что ли, — молчаливому, непонятному чужаку?

— Что это?

— Ай, — он отмахнулся. — Щепки рубил в первый день, печку растапливал. Одна отлетела. Хорошо, хоть не в глаз!

Я огляделся, сел на стул. Отец давно зазывал меня. Нынешней весной уже было собрался, но решили — лучше осенью, сделаем побольше, а пока пусть один, пока пусть расчистит площадки.

В первый день своего отпуска я прилетел в Красноярск. И без задержек, на

первом же автобусе в нужном направлении приехал сюда, в деревню. Приехал надолго: сколько надо — столько надо, хоть на весь месяц! Работать приехал, вкалывать. Помогать отцу делать его и наше важное дело.

7

На улице, в магазине, в парке — стараюсь не смотреть на детей. Тем более — нельзя ведь. Взглянул, впился глазами — а у родителей сразу лица свинцом налились. Я улыбаюсь, а родители негодуют. Нельзя в наше время взрослым дядям маленьких детей разглядывать. Поэтому я каждый раз всем видом показать стараюсь: «И у меня такой же. Мальчуган!..»

Вчера ему два года исполнилось. Два года его не видел.

Она выкладывает его фотографии в соцсетях регулярно. Некоторые мои знакомые пишут: «Опять выложила. Такой хорошенький!»

Я никогда не смотрю. Потому что нельзя. Потому что больно. Да и как можно следить за взрослением своего сына по фотоснимкам? Я его помню тем, месячным. Другого не знаю.

Я так и сказал ей тогда: «Это ненормально, если отец в стороне и только навещает. Он должен участвовать, видеть сына каждый день! Первое слово, первый шаг...»

Без толку. Она нашла свои причины, чтобы закончить со всем этим. Когда меня спрашивают, почему разошлись, мне нечего ответить. Она вспомнила все обиды, отталкивая, отдавшись ребенку. Я не нашел сил понять, смириться, может быть, измениться. Обычные дела... Да и не важно — почему! Важнее — сумели ли сохранить, разорвав...

Мы делились тогда друг с другом — кем может вырасти этот человечек, который еще там, в животе? Спортсменом — надо отдать пораньше в секцию, я буду водить, следить. Или музыкантом — с музыкальной школой нельзя затягивать, один-то инструмент должен освоить. А вдруг станет геологом, как его кызыльские бабушка и дед. Все от нас, от родителей, зависит, что дадим, то и вырастет.

Перед отъездом в Туву я написал ей, что хотел бы приехать к нему. Долго собирался с духом — полгода. Боялся: а вдруг, как и в предыдущий раз, — неделю ждешь, месяц, полгода, а потом...

«Насчет ребенка вопрос решенный!» — отрезала она.

И сразу захлестнуло, пошел ко дну камнем.

«Что ты имеешь в виду?» — выбил на клавиатуре трясущимися пальцами.

«Ты говорил, что ребенок без семьи тебе не нужен. Не беспокой нас больше!»

И много и муторно целый день потом — наскоки и оправдания. Как и полгода назад, год, и два года назад. Сразу из строя выходишь. И долго поднимаешься потом. И не оглядываешься назад, не предпринимаешь ничего. Следующие шесть месяцев...

Относительное спокойствие дарит время. И работа над собой. Воспитание сдержанности, возвращение холодности — любая горячность, как подножка. Когда вытряхиваешь из головы все и привет приходит разве только из сна или от малыша-соседа из-за стены. А в остальное время не помнишь. Ни слова, ни мысли. Ни имени.

А что касается фотографий — у меня есть одна: он на руках у меня, утро. Я заспанный. А у него взгляд такой ясный, осмысленный, как у взрослого, глядит в камеру выжидательно — самому месяц всего.

Если бы не попросил: «Щелкни», — ничего бы не было. Только воспоминание,

как взял на руки при выписке из роддома в пуховом коконе — круглое личико, глазки-щелки ресничками подрагивают. И спокоен, как будто не шум кругом, а покой. «Сомной спокойно», — подумал тогда.

И еще одно — сразу по приезду из роддома в ее квартиру, только распеленали. Я сбоку стоял — весь в темном, высокий. Петербургская бабушка на руках держала. А он повернулся вдруг и на меня посмотрел — снизу вверх, на папу своего, резко. Глянул, как будто проверил — какой он, папа? И сказал: «Здравствуй, папа». И еще кое-что сказал, между нами. Четко сказал, я сразу все услышал. Он сказал, что меня не бросит, не уйдет никогда. И попросил, чтобы и я его никогда не бросал тоже. Я понял все, кивнул. И он обратно повернулся спокойно.

Не было бы того странного взгляда — не было, быть может, и нити этой.

Но у меня только тот взгляд и был, единственный. После он сразу к ней ушел. Сказал мне все, что нужно, и ушел к матери. Я тогда ему как помеха стал — лишнее беспокойство. И ей тоже.

Эпизод: он на постели, красненький, головенка на моей подушке для младенцев голубенькой (как влитой), ее за руку своими пальчиками держит — она руку протянула. Оба спят — утро или ночь. Это их ниточка уже была, их сообщающиеся сосуды. Оба светились будто.

8

— Задача у нас — углярник с тобой построить. Забор новый поставить. Туалет бы тоже неплохо, но можем не успеть. Надо определиться, какой забор: из штакетника или из металлических листов? Я даже каменный думал — очень красиво. А из металлического листа сейчас все ставят — быстро, практично. Ну, утром в райцентре посмотрим, решим. Беда вот — доски плесенью пошли, куб целый. Я их весной в большой комнате в штабель уложил, приехал — все в пленке! В принципе, ошкурить рубанком как следует, и пойдут. Да, фундамент от бани еще желательно разобрать, я на следующий год весной новый залью. Мусор и камни от фундамента на свалку нужно вывезти — свалка на новом месте сейчас, за прудом. В общем, работы — валом!

Я осмотрел дом. Странное дело: ощущение, что здесь не жил никто после бабушки и дедушки последние десять лет. Никакого чужого духа, никаких следов, кроме разве что новой обвисшей люстры да куска линолеума в кухне на полу. Те же незабитые гвозди в оконных рамах, та же облупившаяся краска. Те же самые вешалки, выключатели, розетки, двери, койки, шифоньер. Та же облезлая раковина — под ней ведро с бурой водой. Та же пленка над умывальником — выцветшая от сырости и старости. Печка русская та же, с теми же облупившимися пятнами — кажется, заглянешь на нее, а там газеты прошлого века лежат. А еще зола, копоть, известь, плесень.

— Как они жили здесь, семейные, все эти годы? — Я оглядывал стены, окна, пол.

И как живет здесь отец? Да тут ремонта на год непрерывной работы. И не одному!

Он сидел посреди кухни, взъерошенный, вспотелый, пятидесятипятiletний, с разбрызганным сизым подтеком на лице, пил чай. Рядом, у ног — два ведра с мелким песком-углем.

— Стал чистить пятно под старым углярником, а там — метр уголька, — блеснул глазами он. — Сыпучего, но тоже хлеб! Так машину бы пришлось покупать — три тонны, а куда нам столько? А тут уголек этот — повезло...

Я прошелся по комнатам, в которых когда-то жили бабушка, дедушка, мы —

приезжие внуки. В большом зале лежал тот самый загнивший куб леса — дверь в зал следовало крепко закрывать, чтобы не шел холод и не летела плесень. Тут же стоял диван, который отец привез на «Ниве» из Кызыла: «Разобрал на составные части, умудрился в машину запихать! Зачем выбрасывать? Пригодится в деревне», — хвастал он. Диван был черный от времени, пропитанный кызыльской еще сажей и деревенской уже плесенью и безнадеей. Дедова комната была завалена тряпками, целлофанами, картоном, ветошью, кусками стекловаты.

В детской, где отец оборудовал место для ночлега, располагались раздвижное кресло и койка. В шифоньере стояли «ненужные» книги, который он также привез из Кызыла: «Надо разгружать понемногу шкафы дома, а то девать некуда, все забито, а здесь их, по крайней мере, никто не украдет — книги сейчас не тащат».

Я осмотрел корешки — истрепанные детские книжки, осыпанные пылью школьные учебники, хрестоматии для 5—7 классов. Книги, которые никто уже никогда не откроет.

— Кто их читать здесь будет, ты чего? — смотрел я во все глаза на отца. — Зачем тащить сюда, за семьсот километров то, что больше никогда не понадобится?

— Мне понадобится. Я читать буду!

— Пап, ты никогда читать книги уже не будешь. У тебя полки непрочитанной литературы дома. Ты каждый день смотришь по несколько часов телевизор — ты о чем?

— Ой, не говори ерунды!

Во дворе я нашел туалет, ушедший в землю, — пол внутри накренился. Дедовы постройки — свинарник, дровяник, гараж для мотоцикла, курятник — тоже осели, где-то завалились. Забора к соседям — Терентьевым — не было совсем: только несколько новых железных ног, которые отец вбил как основу для будущего штакетника, — два участка слились в один.

Кутаясь первой успенской ночью в душную подушку, лежалые простыни, колючие одеяла, тулупы сверху — печка протапливала холодную избу слабо, я успокаивал себя, что это только неминуемый контраст после Петербурга. Пол, по которому отец ходит в уличной обуви, я вычищу. Одеяла, подушки вытряхну. Наведу порядок.

* * *

Мы приступили к работе, и меня не покидало ощущение, что мы смеемся друг над другом или друг друга обманываем.

В самом начале двухтысячных, когда дед был уже совсем плох, отец, приехав в деревню, решил поставить тестю и теще новую баньку. Пиломатериалы тогда за каждым поворотом еще не продавали, приходилось покупать в сельсовете нужное число стволов в лесу, заказывать тягач, пилить деревья на выделенном участке и тащить их в деревню на двор. Что-то было в его тогдашнем решении с банькой, как и теперь, самоотверженное, жертвенное даже, но в то же время не поддающееся здравому смыслу.

Он позвал меня, как и сейчас, на подмогу — я учился в Красноярске. Оплатил, почти безденежный, лес, тягач. И в назначенный час мы отправились на подошедшем гусеничном трелевочнике за пруд, добывать древесину для бани. Пилить нам отчего-то разрешили только осину — негодную для строительства. Отчего-то отец согласился: «Осина тоже пойдет, если с умом подходить». Полдня вместе с нервным, нездешним трактористом — он очень спешил, матерился и подгонял нас: «Да нахер вам больше,

поехали уже!» — валили нужные стволы. После собрали их вместе, связали тросом в пук и, вымотанные донельзя, поволокли добычу к дому.

Бревна выскользнули из петли на первом же взгорке — мы заметили не сразу, пришлось поворачивать, собирать заново. И рассыпались впоследствии при каждом подъеме на возвышенность, а то и просто посреди дороги. Тракторист шипел, тер лицо, плевался, визжал, превратившись в размазну: «Бросай все нахер! Дальше не повезу!» Пару раз мы обронили бревна посреди деревни. С горем пополам дотянули до ворот, вывалили вдоль забора, отпустили горемыку-водителя. А через день разъехались по домам сами: я в Красноярск, отец в Кызыл. Бревна остались.

Баньку строить впоследствии все было недосуг. Точнее, не очень понятно — зачем? для кого? Старая, завалившаяся баня еще служила. Дедушки, мучимого болезнями, не стало в то же лето. Бабушку сразил инсульт.

Бревна лежали вдоль забора у всех на виду, сырели, портились, чего-то ждали.

Скоро в доме появились первые квартиранты. Потом вторые. А третьи, не долго думая, пустили бревнышки на дрова. Решили вопрос. И правильно сделали.

В планах отца и сейчас была банька.

— А зачем дом без бани?

Некоторое время я отмалчивался, размышлял. Я — в Петербурге. Сами родители в Туве: только на дорогу из Кызыла до деревни требуются сутки. Да, бросать дом жалко — все-таки семейное гнездо. Тут могилы бабушки, деда. Продать, бросить — не по-человечески как-то. Навести порядок и действительно приезжать в будущем? Но сколько раз ты приедешь из того же Петербурга? Хорошо, если раз за всю жизнь. А ведь нужно следить за всем этим добром, не то растащат. Терентьевы говорят, что устали гонять непрошенных гостей, от ребятишек до бичей. Да и сами видим — ставня одна взломана, залезают. Какая уж тут баня, какой долгострой — отцу бы на курорт съездить, отдохнуть, подлечиться, на море куда-нибудь, а не вкалывать за троих в опустевшем старом доме!

— И гараж нужен, — размышлял он. — Дичку вырубим — зачем она? Там гараж и поставим.

— Пап, какой гараж? Для кого? Кто сюда ездить будет?

— Ты с внуками!

— Да я вот один раз вырвался за четыре года!

— Не пудри мне мозги. Иди доски строгай, — отмахивался он.

Деревня, несмотря на общий упадок, крепилась еще, потихоньку жила. Пока мы возились у всех на виду, мимо туда и обратно ездили, наблюдая за нами, непрерывные уазики, волги, жигули, иномарки всех мастей, джипы, грузовики. При том, что обитаемых домов в деревне-то было немного — на той стороне несколько десятков, да на этой.

Многие из прежних соседей еще соседил. Через прозрачный забор — тетя Ира Терентьева и двое из семерых ее детей — 43-летний Пашка и 35-летняя Ленка, бессемейные. Через дорогу — Рамазанов, бывший учитель, вместе с женой: оба сына давно уехали в Красноярск и возвращаться не собирались. За поляной — старик Воронин, ровесник и друг деда: во время войны подростками они вместе начинали комбайнерами.

Прибавилось в деревне и новых обитателей — армян. «На одной улице семь домов подряд выкупили, — цедили сквозь зубы местные. — И продолжают-продолжают ехать. Прикатил один — понравилось, обосновался. Теперь остальных за собой тянет.

В школу сейчас зайди — половина черненькие! В соседней Малиновке глава сельсовета запретил их прописывать. А наш — пожалуйста, только на лапу дай!»

Впрочем, брошенных изб в Успенке становилось все больше. Да и многие жилые выглядели как пустые: сырой повалившийся забор, изба скособоченная. Пульса у деревни не увидеть, не нащупать было, будто темный погреб — вот что угнетало больше всего. Строительство, наладка дома, новая жизнь никак не вязались со старым, ветхим, отжившим свое, мертвым. Что это еще за движение вспять, примочки на больном теле? Тут или серьезно, основательно, или никак — такими вещами не играют! Задорный стук наших молотков казался неуместным, вызывающим в этой угрюмой тишине.

«Строятся, жить будут, — думали, верно, люди. — С чего бы это?»

— Переезжаете? — спросила меня тетя Ира, когда мы встретились на общем огороде.

— Да нет, так, ремонтируем.

— А для чего ремонтируетесь-то?

— Ну, чтобы порядок был.

— Надолго вы?

— Да через неделю уже уезжаем.

— Ой! А обратно когда?

— Папа в мае собирается приехать.

— В мае аж! — ухнула она.

И мы разошлись, оба в неловкости за странный разговор и невнятные намерения.

Новый быт входил в нашу деревенскую жизнь по крупицам. Один раз мы привезли из райцентровского магазина ведро. Другой — кочергу. Потом — сам шесток на кухонную печь: чугунную плиту с конфорками, — старая растрескалась по углам, чадила. Как-то я ухватился за переносную белую раковину с блестящим умывальником: «Давай возьмем, сил нет видеть старый рукомойник! Всю эту убогость. Новое нужно, свежее!» Раковина стоила дороже, чем можно. Отец успокоил: «Купим еще, все купим...»

Новую плиту устанавливали на печь в четыре руки. Приподняли старую, вековую, поставили на ребро, обнажили жерло горячей печки. Отец заглянул внутрь и замер, разглядывая шаткие штырьки колосников, кирпичные неровные стенки, огонь...

Дальнейшее я видел затяжным кадром. Никто не убедит меня, что плита была неживая. Она встала со своего места и начала падать. Падала лениво и обреченно. Отец с любопытством глядел в печь, обернулся... Крикнуть я не успел, хотя мог попробовать. Момент удара был столь же оглушителен, как и нелеп. Отец, не ожидавший нападения, схватился за голову и завыл, упав на пол. Плита провалилась в печь. Я ушел в комнату, чтобы скрыть свои рыдания — от смеха. Деревня, дом, дрова, печка — все потешалось над нами. Гнало прочь, подтверждая напраслину усилий. Фингал отца в самый первый день, тяжелый тук чугуном по темени — все эти случайные выпады были не случайны. Все должно быть разумно, осмысленно, без брошенных у забора осиновых бревен — иначе природа начинает шпынять, давать затрещины!

На мою долю тоже пришлось. Ежедневно я остругивал гнилой лес, выкорчевывал трухлявые столбы забора, выламывал куски фундамента на месте исчезнувшей бани, подсоблял отцу то в том, то в этом. Сжимая отвыкшими от физического труда,

приспособленными к клавиатуре пальцами топор, лопату, рубанок, я ощущал прибытие силы. Руки увеличились раза в полтора, ожилились, закаменели в запястьях — я с уважением на них смотрел.

Через неделю кончики пальцев онемели. То ли от резкого хвата — после получаса махания лопатой кисть сгибалась костяной клешней, то ли от кувалды — металлические ноги для забора забивали кувалдой, столбцы входили в глинистую почву туго. Не обнаружив пальцев, я решил, что пройдет, выправится. Но не прошло через неделю. Не прошло до самого Кызыла. И до Петербурга! До сих пор не чувствую...

Свободного времени не было ни минуты. Проснулись утром — отец раньше, я позже. Попили чаю. Облачились в свои костюмы — драные сапоги, кофты, куртки, шапки. И на свет. Перерыв только на обед короткий, не раздеваясь. Важно до темноты успеть: в 5 смеркается. Если в райцентр выезд — вообще считанные часы на работу: пока соберемся, пока вернемся, пока возьмемся.

С деревенскими не здоровались. Работаете, идут мимо, не станешь ведь отвлекаться каждый раз и говорить незнакомому: «Здравствуйте!» Кивали иногда — самим неловко, что такие нелюдимцы. Бывало, улыбались ни с того ни с сего вдруг — лучисто и широко всеми зубами, особенно отец. А так — глазами в сторону. Два строителя-отшельника. Это мне ситуацию в моем петербургском доме напомнило, где я таким же молчуном-камнем живу...

Как ни старался я, а уюта в избе не прибавлялось. Пол я мыл после завтрака и после ужина с упорством Сизифа. С утра становилось свежо, пригодно для жизни. К обеду печка набивалась золой под завязку: подсыпать уголь-песок приходилось непрерывно. Один совок раскаленного шлака в ведро, другой, третий — в кухне туман, стол, продукты, посуда засыпаны пеплом, одежду впору вытряхивать, но нет смысла — всегда такая. С потолка от хлопающей двери отваливаются куски штукатурки. В мышеловке под ногами путается очередная раздавленная тушка. Ни клочка здорового уюта!

Каждое утро я кипятил воду и мыл голову. Через день по вечерам мылся в тазике целиком. Стирал — на веревке всегда сушилось чистое. Отец не мылся, не стирал грязные вещи, не снимал на ночь трико, которые поддевал под рабочие штаны. С утра поднимался, вечером ложился. «Не узнаю тебя! — хватался я за голову. — Что произошло с вами за эти четыре года?»

В один день мы поехали на свалку — отвозить мешки с мусором.

— По дороге в лесу поваленные березы есть, — сказал отец, — я весной там бревнышек напилил. Дело противозаконное, поймают — штраф! Но надо заехать — запасти дров на следующую весну.

Березовые рощи были главным богатством этих мест. Прохладные, нежные, лебединые — они росли и посреди деревни, и вокруг. Смотришь из окна дома — поляна, а за ней березки глаз не оторвать! Не деревья, а девушки...

На обратном пути мы свернули на развилке и углубились в рощу.

Чем дальше от дороги, тем чаще встречались пеньки, а скоро вообще открылось вырезанное начисто поле — только засохшие венки-ветви под первым снежком.

— Подонки какие-то пилят, — поморщился отец.

Мы нашли две сваленные уже березы.

— Быстро нужно! Не хватало еще опозориться на всю деревню.

Отец завел бензопилу. Полетели стружки. Я начал утаскивать увесистые чурки в багажник «Нивы».

Ближе к концу пилу заклинило — зажало в древесине цепь. Отец засуетился: в нервных случаях он всегда слегка терялся.

Цепь заело намертво — ни туда, ни сюда! Отец вспотел, стал меньше ростом. Я помогал нехотя, цедил: «Лучше бы и не брались». Мне было стыдно за нашу суетливость, неловко за отца. Он прикрикивал: «Давай!»

Когда нервы обоих были на исходе, вспомнили про домкрат. Поставили, подкрутили, подняли. Вынули легко цепь. Допилили остаток, загрузились...

Возле пруда я попросил отца остановиться:

— Дойду пешком.

— Поехали! — попросил он.

— Нет, пойду с прудом поздороваюсь, — мне хотелось пройти вдоль пруда. А может, сыграла роль злость на отца из-за заклинившей пилы и всей этой убогой стройки.

Он затормозил, высадил меня, не скрывая досады. Покатил дальше, нагруженный — один.

Я посмотрел вслед косолапой «Ниве». Для него важно было сейчас быть не одному. С сыном. Плечом к плечу. Вместе проще, веселее. Вместе справимся, сын!

А ведь он один был тут последние два года. Один просыпался. Один пилил, стругал, копошился — робкий, молчаливый — на виду у всей деревни. Один ужинал, ложился спать, подбрасывал дров, замерзший, в печку. Один пилил эти березки в вырубленной роще, таскал в машину, может, и застрявшую бензопилу вот так же выкручивал. Тяжко. Тоскливо...

И в следующий раз будет один. А тут: «Останови, пешком дойду!» Обидно. А я не приеду больше.

9

По имени не зову его. Просто — ребенок.

Да и где звать, кого? Некого.

«Называй его в разговоре с ней по имени — Ваня», — сказала мне мама.

Нет, не буду. Вернее, не могу. Когда ему был месяц — он был еще «малыш». А Ваней стал позже, без меня.

Да и от злости в переписке с Верой называю его — «ребенок», подчеркивая отстраненность и обезличенность. Пусть знает, каково это — быть без сына.

Хотя злость тут не при чем. Назвать по имени — значит сделать шаг навстречу. Прижать к себе. Расколоть тот панцирь, благодаря которому ты можешь ходить, спать, работать. А для чего обнимать — если в руках пустота?

Я его Витей назвать хотел. Нравится это имя.

Дядя Витя тому виновник — всеобщий наш любимец. Даже если в разговоре упоминаем — улыбаемся сразу. Наверное, потому что он сам всегда улыбается. Витя — лучистый, добрый, родной.

Когда в Успенку летом съезжались, мы — ребяташки — крутились вокруг него, не отходили. А в Туву к нам так и не наведася ни разу. Хотя чего тут ехать — меньше суток! Погружен в семью: дом, дети, теперь внуки. Я каждый раз напоминаю: «Мама очень ждет вас». «Сестренка, — вздыхает он. — Надо, конечно, собраться...» Домосед. А мог бы приезжать, как вот папа в Белоруссию, к своим — раз в год. Дарить тепло и радость. На всех хватит.

— Никакого Вити! — сказала она.

— Что? — не понял я.

— Тем более, я уже знаю имя.

Про Витю я сказал ей накануне родов. Она сначала молчала долго, а потом уклончиво ответила, что ребенок сам назовет свое имя. Она имела в виду внешность.

— Какое знаешь?

— Шурик.

Я сразу сказал, что никакого Шурика быть не может, хотя бы потому что все Саша — мои антиподы. Не ладим. Терпеть не могу Саш! Даже с кызыльским другом детства все время рвано. Да и Саша, или как ты там говоришь, Шурик — слишком стандартно. Ни за что!

И она снова закрыла тему.

— Ну как сына назвали? — спрашивали меня в редакции через день.

— Думаем, — мычал я.

— Вторую неделю? — справедливо удивлялись коллеги.

На третью неделю они начали проводить конкурс имен для моего неназванного сына. На четвертую смотреть косо.

Я бы сам стал смотреть косо — клиника! Как и все наши отношения: красноречивый пример.

— Родители просят назвать Вовочкой, — сказала Вера, по отчеству Владимировна.

— Отец должен называть сына! — твердил я.

— И что, потом ты уйдешь, а мне всю жизнь одной с этим Витей жить? — с какой-то стати говорила она, имея в виду и наши неувязки, и, вероятно, свое семейное прошлое: неудавшийся брак, дочка, предыдущего мужа она выгнала сама.

И приводила другие доводы:

— Витька, Витёк — это как из подворотни. Еще Толян скажи! Не будет этих гоповских имен.

— А Цой?!

— Еще не хватало такой судьбы. Замолчи!..

Решилось просто. Выбрали нейтральное, которое не заденет никого. Ваня. Иван Сергеевич. Ванечка. Стало легче — гора с плеч.

Когда пошли в ЗАГС регистрировать, я еще помнил про Витю. Сейчас зайдём в кабинет, и: три, два, один...

— Вам надо сходить заплатить пошлину — тысяча рублей, в Сбербанк, — сказала мне женщина в кабинете. — Это рядом. А ваша супруга пока заполнит все документы.

Хорошо. Вдруг бы не сдержался.

— Напиши — Витя, — попросил я, уходя.

Она усмехнулась.

— Как? — прошептал я, вернувшись.

— Иван.

Иван так Иван.

К новому имени привыкнуть надо. Никого, и вдруг — Иван. Первый месяц она не называла его по имени — примеривалась.

Как я звал? Не помню. Ничего не помню.

10

В деревню все-таки не зря приехал. Отцу помог — это невозможно много. К дедушке и бабушке на могилку наведалься. К живительным родникам детства прикоснулся: первые шаги в ночь приезда — только они чего стоят.

Хотел еще на пруд на рыбалку сходить. Отцу даже из Петербурга наказал: «Обязательно возьми удочки!» Он взял.

Мы с дедушкой часто рыбачить ходили. С вечера червей в огороде накопаем, снасти проверим. Главное с утра пораньше выйти — часов в шесть.

У нас было с ним пару мест своих — подальше к болоту, у затонов, на поваленных деревьях. На уху улова всегда хватало. Знай закидывай, да успевай вытаскивать. Карась, если повезет, — крупный. Мешочек натягаем, руки кровью от комариных укусов вместе с чешуей и слизью обмараем, утомимся крючком согнувшись сидеть. И — домой! А там ждут.

Мне немного нужно было сейчас. Вот так же накопать червей с вечера, так же спозаранку подняться. Пройтись по пустой примороженной улице мимо знакомых домов. Заглянуть в перелесок березовый. Место найти удобное, наживить, забросить.

Здравствуй, дедушка... Долго меня не было, знаю. А ты как тут? Есть рыбешка, не зря мы? Он — кхе, кхе, внучек — и голову мою к своей груди. В кепке пропотелой, сапогах кирзовых, черной промасленной телогрейке. Я ему про Петербург, про квартиру новую, про работу, про отца и маму. Про ребенка тоже — в общих чертах. Замолчим потом и долго на воду глядеть будем, на луг в инее на той стороне, воздухом дышать...

И потом мешочек домой папе. От меня. И деда.

Не сходил, протянул — морозы ударили! Даже полыньи не оставили — сплошное стекло.

Я прошелся после пилки берез до тех мест, где мы с дедушкой сиживали. До болота пробрался — желтые задубенелые лапы-листья на запорошенных кочках. Удивился малости размеров болота, малости самого пруда, близости до соседнего берега. Или пруд скукожился, или я стал таким большим?

Остальные дорогие сердцу места тоже до последнего посетить медлил. Поляна — вот она, через дорогу. С левого края — Рамазановых дом. Рядом — трансформаторная будка. Справа — белоснежный клуб, как храм, только без куполов. В центре за поляной — роща. Руку всего протяни, шаг за дорогу сделай!

Но не выходишь со своего участка, не здороваешься. А если идешь в магазин, то стороной, по шоссе, не заступая на скатерть поляны.

«Привет!» не годится тут. Нужно, освободившись от суеты, выйти в самый центр поляны и на виду у всей деревни стоять долго, не шевелясь. А лучше присесть — голова закружиться может. Вот ты, трехлетний, бежишь по траве поляны в сторону большого березового леса. Вот вы с дочками соседки тети Иры копаетесь тут же в куче песка, привезенного Рамазановым специально для вас — малышей. Или прячетесь во время грозы от молнии и дождя под деревянными грибами. Или, сидя на скамейке, семьей — бабушка, дедушка, братья, сестры — провожаете солнце...

Поляна — это такой твой центр, ось, вокруг крутится твоя планета Земля!

А я смотрю на нее — две недели работы, и не подхожу, не здороваюсь...

За клубом — изгородь из длинных жердин, за изгородью — картошка, за картошкой — избы. У клуба березняк, в нем растет самая сочная боярка. И прячется клубничная лужайка. И высокий муравейник, в который можно положить намоченную слюной веточку, а потом облизать ее, кисло-сладкую.

В клубе — редкое кино и мультики. В клубе — библиотека, в которую я хожу все лето, а иногда заглядывают мама и дядя Витя, когда приезжают. За клубом — долгая каменная лестница с перилами, по которой хочется бежать и которая ведет в другую деревню, за гору, главное — знать, где отыскать исчезнувшие ступеньки.

Напротив входа в клуб, у деревянной афиши, — калитка в сад. Огромный сад огорожен таким же тонким заборчиком, что и ваш домашний палисадник. В саду

можно провести целый день, и не надоест — исследуя его бесконечные укромные уголки, прячась от мира.

Сад пересекает белая тропинка, по которой ты идешь, а чаще бежишь в магазин. В центре сада памятник воинам Великой Отечественной войны — жителям Успенки. И стела с именами. В списке есть имена твоих родных: прадеда и погибшего бабушкиного брата Васи...

За день до отъезда я отряхнулся и пошел. Три шага от ворот и — поляна. Медленно, с остановками, сквозь. Березы оголились и укрылись белым — все те же молодые долгожительницы. Ходишь кругами, путаешь следы, наворачиваешь крест-накрест.

Клуб — впервые с серыми стенами и синими подтеками на облупившейся штукатурке. Осколок каменной лестницы с перилами. Холмик уснувшего муравейника — и он тут!

Сад. А забора почему-то нет.

Памятник — долго хожу вокруг, читаю имена...

Местные, деревенские, идущие через сад, через поляну, по шоссе, смотрят из-под шапок на никуда не спешащего, никуда не идущего высокого человека, заглядывающего в заборные просветы, бродящего бесцельно меж деревьями, поворачивающего обратно, замирающего, бормочущего что-то себе под нос, говорящего с самим собой, — и он непонятен им и неприятен. Особенно, если он — один из тех двоих отдельных из дома, где стучит молоток.

Не хочу возвращаться туда, где стучит молоток. Некуда возвращаться.

11

Две недели вкалывали с утра до вечера. А сделали мало. Поразительно мало.

Поставили забор на улицу из металлических листов вместо разбросанного сгнившего палисадника. Часть старых штакетин пустили на топку, часть — серых от времени, но крепких — сложили аккуратно штабелем в сарае. «Пригодятся еще», — сказал отец.

Тяжелые чугунные ноги забора залили в земле цементом. На одну раствора не хватило — оставили до следующего раза так, голую.

«Залезут — не залезут?» — пробовали низкий, по грудь, лист. А, чего гадать! Хоть низкий, хоть высокий, если надо — залезут. Жаль только, что дом наш и двор, как на ладони. Хотелось бы укрыть, спрятать от глаз все это никчемное, но дорогое.

Сбили и поставили углярник — коробку из дерева, четыре на четыре. Досками обшили. Крышу толью старой, рваной, но вечной обтянули. Шифер дедушкин, ломаный по краям, из сада приволокли — наверх уложили, внахлест.

Больше отец трудился, основную лямку тянул. Я на подхвате, без охоты — особенно после пальцев. «Ну, чего стоишь, шустрой!» — прикрикивал он в самых последних случаях, хотя можно было и покрепче. Молча работали, без разговоров, без шуток. Я не видел толку от наших усилий. Невеселая стройка, как ни духарись.

Углярник тоже получился не до конца — на одну сторону досок не хватило, вместо двери — проем. А так — ничего себе постройка. Основательная. Издалека видать.

— Ну-ка пройдишь, — мерил внутри углярника высоту отец. — Ну, нормально — два метра! Главное, чтобы не пригибаться. Чтобы удобно.

Я уже не оспаривал, не выступал. Пусть два. Пусть не пригибаться.

В последнюю ночь оставалось последнее — утеплить водопровод.

— Большое дело, — допивал отец чай, собираясь с силами.

Утеплить — значит отключить воду на зиму, перекрыть течение по трубам.

Отец отворил подпол в кухне, скрылся внутри. Вытолкал шланг наружу.

И мы поехали:

— Давай!

Я вытаскивал из дальней дедушкой комнаты целлофан, тряпки, одеяла, плиты стекловаты, старую оленью шкуру — отец привез из Тувы. Запихивал, комкая, в яму подполья, и он, откашливаясь, долго шуршал ими внизу, укладывая слоями в нужной последовательности, отзываясь утробно снова:

— Давай!

Я было подумал: узнать надо — что да как там правильно укладывать, куда? А вдруг и мне придется? Нужно же по весне убирать, а на зиму снова собирать, если оставляешь дом.

И в этот момент казалось — да, придется. Не важно — из Тувы ли ехать, из Петербурга. Таким зависимым в этот момент от ямы был отец, и я вместе с ним. Копошись в сырости и темноте, укладывай слоями шкуру и стекловату. И эта яма, как воронка, как ушедшее мертвое, поглощала в себя, затягивала, как трясина, и не давала поднять голову...

Наутро перед выездом я взял лопату, обошел сад, огород, пашню и набрал с собой успенской земли. Выковыривал ее, жирную и твердую, складывал в общий куль — отовсюду крупная горсть.

Все три места — самые дорогие. Сад — под окошком, бережно истоптан, черемуха, дичка, вид на поляну. Огород — корешок нас. И пашня, где садили картошку-кормилицу, пололи, окучивали, потом копали все вместе два дня, руки в черном.

Земля подмороженная уже, холодная, обжигающая. А подождешь, прислушаешься — горячая...

Первую свою землю я набрал в Кызыле, сразу за нашей окраиной, в степи. Следующую в Белоруссии — в глубоком, как пропасть, овраге под окнами бабушкиного дома. Лежат два пакетика на полке в Петербурге — перепутанные, не ясно — что где? Только приглядеться если, различить можно. Та, что светлее, с кореньями, песком и камешками — тувинская. С засохшей травой, трухой, древесными кусочками — белорусская.

Теперь и деревенская вот, успенская. Комковатая, тяжелая, черная. Дорогая.

12

Ехали шестнадцать часов.

Ну и взвалил ты на себя ношу, батя.

Все детство я мечтал поехать с отцом куда-то на своей машине. Плечом к плечу. Не было в детстве своей машины.

Пришло время. Знаю — и он этого ждал. Отец и сын, двое в связке. Но не вышло ничего — как и стройка. Два человека по-отдельности. Один на дорогу глядит, другой в сторону. Не поделиться, не посмеяться, не порадоваться.

Ехали молча. Или под музыку. Отец записал на флешку сборник бардовской музыки.

— Засыпаю от монотонной дороги, — посетовал он.

Еще бы — семьсот километров.

Барды были сплошь современные, половина — явно петербургские. В их словах сквозило невыносимое нытье городских мечтателей и неудачников, потерявшихся или вечно ищущих себя до преклонных лет, в жизни не бывавших в этом самом, допустим, Восточном Саяне, что при пустынной трассе проплывает мимо. Глядящие на мир из окна петербургской квартиры или коммуналки. Воспринимающие окно это как истину в последней инстанции. Не приветливые и не добрые, несмотря на сладкоголосье и елейность текстов. В их песнях не было ни преодоления, ни вызова, ни романтики, ни злости — а имели место неудачный или удачный брак, старые двери, старые углы, старые воротники, плохая погода, универмаг напротив, дерзкое — «А все-таки!..» Все то, от чего я шарахаюсь там, в Петербурге. То, что накрыло меня и отца полинялой оленьей шкуркой в сыром подвале здесь, в сибирской деревне.

Отец ехал и подпевал знакомым словам.

Живя уже в Петербурге, я с ностальгией в сердце однажды включил песню Городничского «Снег, снег», и отшатнулся.

В детстве, когда я пробирался с отцом по тувинским горам с геологической партией, она была созвучна мне — «Снег над палаткой кружится...»

А тут выяснилось вдруг, что снег может кружиться и «за окошком», и «над Петроградской твоей стороной». Сразу стало тоскливо. Настоящий живой снег может кружиться только над палаткой, тайгой, но никак не над сумрачным холодным городом...

В этих самых Саянских горах я работал когда-то одну осень. Сразу после окончания университета, когда было неясно — куда идти, где находить себя?

Устроился в Красноярскую геологическую партию рабочим. Деньги обещали скромные, но на большие и не рассчитывал — хотелось просто пристроить себя куда-то, с чего-то начать. Тем более, всю жизнь я проезжал в Туве с отцом-геологом в статусе пацана, отпрыска, а здесь — попытка проявить себя самостоятельно. Ну и горы, конечно.

Наш лагерь располагался на окраине деревеньки Жайма. Окраина вдавалась клином в тайгу и была покинута людьми — жизнь теплилась только на железнодорожной станции.

Я, четверка ребят-рабочих, молодой геолог Лёха, водитель Андреич жили в ничьей избе на самом оконечнике некогда людного массива. Комната с нарами, кухня с печкой. Рядом, на выходе, — банька с полком. Начальник наш — Олег Михайлович — обитал выше, в сторону станции — квартировал у местного мужика Николая: необходим был приличный дом, где можно держать документацию, деньги, спутниковый телефон. Да и субординацию следовало соблюдать. И отдельное место для работы требовалось. Также у Николая имелся телевизор, пусть и одноканальный, — для отслеживания обстановки в мире.

Работа была в радость. Андреич отвозил нас с утра на точку выброски, где мы тремя парами (я с Лёхой) отправлялись по маршрутам брать пробы. Бурелом, камни-курумники, реки — все одно прешь насквозь, берешь через каждые пятьдесят метров лопату грунта. Туман облаками кучится внизу. Ниточка поезда проползает в распадке. Брусника, моховые шапки, лужицы в следах от сапогов, гирлянды кедровых шишек. Обедали там же, в маршрутах, — сухой паек, чай на костре. Возвращались к вечеру, с рюкзаками, груженными землей, в шлихе которой лаборанты будут определять содержание золота, а инженеры высчитывать — стоит ли разрабатывать месторождение «Жайма» или следует бросить силы на другое, более богатое?

В обязанности Андреича входила готовка ужина, возвращавшего в нас, утонувших в покое, веселье. По своему желанию Андреич топил баньку — и потому банька была через день. Покой и веселье — вот два состояния, которыми мы жили два этих осенних месяца.

Несмотря на покинутость нашего угла деревни, люди здесь все-таки жили. Ночами среди шапок кедрачей и крыш пустых строений вились два-три печных дымка и мерцали одиночные огоньки в тусклых окошках. Я удивлялся — кто там? Днем на этом отшибе мы никогда никого не встречали, дома казались мертвыми.

Николай — сам такой же последний обитатель — разяснил, что ниже к ручью остался один мужичок и на пригорке — женщина. Выходит — трое их. И на станции — с сотню. А когда-то было три тысячи!

Почему не выходили, не знакомились те, невидимые, я не знаю. Может, стеснялись нас — приехавших из большого Красноярска, веселых и громких. Или самих себя — одиноких обитателей неприметных избенок среди пустоши. Не хозяйева они уже этой стороны, земли, леса — так, доживальщики...

Сам Николай был рад свалившейся на него жизни. Но и смущен, что она задевала его лишь краем. А своей жизни у Николая не было.

Темный, черный даже, костистый, как сухое дерево, в этой деревне он родился, и в ней же, судя по всему, собирался дожить оставшиеся лета.

«Полста пять мне уж», — говорил он и рассказывал, что в советские годы работал водителем на грузовике — ходил в дальние рейсы из райцентра в Хакасию и Туву через перевалы. Дороги тогда были другие. Кафе, столовок на трассе не имелось. Машин проходящих — единицы, зимой — тем более. Каждый маршрут — испытание!

«Вот», — вытаскивал он из-под клеенки на кухоньке пожелтевшую газетную вырезку.

Над текстом краткой зарисовки значилось — «Покоряющий горы». В качестве иллюстрации прилагался рисованный тушью портрет героического дальнбоя Николая — взгляд тот же с прищуром, прядь волос развевается на ветру, за спиной силуэты пиков.

Усмехался: «Были времена».

И доставал вторую святыню — черно-белую фотокарточку, где он с компанией товарищей запечатлен рядом с Высоцким. Тридцать лет назад в соседнем Выезжем Логе снимали фильм «Хозяин тайги», и жаймовские мужики, собравшись с духом, поехали как-то на мотоциклах посмотреть на знаменитого артиста, познакомиться — настоящие хозяйева тайги!

Газетная вырезка и фотография — вот и все, что было у Николая.

Жена ушла от него давно. Пожаловали однажды в Жайму проповедники-евангелисты и перетянули женушку к себе в общину. Мужа нового ей нашли, снялись с места и покочевали дальше по сибирским весям — и она с ними, как с родными, и с дочкой — единственным ребенком. С тех пор не видел — ни жены, ни дочери. Где, что? Ни весточки за все эти годы...

Как-то мы справляли день рождения водителя Андреича — собрались за столом нашей избенки, пришел Николай с гармошкой. Выпили вина. Николай, путая кнопки (давно не играл), растянул меха, загорланил родное про шоферов, про «старенький ЗИС». Мы — праздник, гармонь — приплясывали в такт с криками на дряхлом полу.

За новым стаканом, расчувствовавшись, Николай рассказал про некую свою подругу из Красноярска — мужнюю женщину, которая, однако, его всегда любила и любит сейчас.

— Я ей только скажу: жду, — она бросит все, приедет, — говорил он, привычно перешевеливая бровями и глядя в сторону. — Хотела ко мне переехать, упрашивала. Но я был против. Чего ей тут делать?

Рассказывал Николай трезво, убежденно.

— Давно не виделись? — уточнили мы.

— Годов семь, я еще в лесхозе работал. Но она помнит меня. Знаю точно — помнит. Говорю — только позвоню — приедет! У меня и телефон ее есть.

Мы встрепенулись — может это тростинка? Может, вытянет она его из болота неблагополучия, одиночества, вдохнет новую жизнь? Есть ведь у него телефон, если не врет.

Подогрелись еще. Сбегали к Олегу Михайловичу — он к тому времени уже ушел в хату Николая. Растолковали — так, мол, и так, надо помочь человеку, попробовать хотя бы, спутниковый телефон нужен!

Начальник воспринял идею без энтузиазма — отмахнулся. Тем более, звонки через спутник были чрезвычайно дорогие — все на его карман ложилось. Но сам хмельной, не выдержал в конце концов настойчивых уговоров: ладно, была не была, да и кто его знает, этого Николая! Вынул из закров трубку, пошел обратно, глядеть, чем закончится роковой разговор.

Николай сидел за столом, как на троне, — герой вечера. Ему преподнесли телефон.

Он долго вертел его в руках, отнекивался, ходил курить, ходил за записной книжкой.

Наконец при помощи Олега Михайловича набрал заветные цифры — на часах был первый час ночи. Застыл у трубки.

— Гудки, — сообщил.

Потом отдернул телефон от уха, прикрыл ладонью динамик, чуть не уронил:

— Мужик взял!

Мы сбросили набор.

Взял ли трубку мужик-муж, и тот ли номер набрал он — неизвестно. Звонить он больше не стал. И говорить на эту тему тоже. Сгреб инструмент под мышку и — потемневший больше обычного — ушел к себе.

Работы Николай не имел — в нынешнем году как раз закапала пенсия. Три летних месяца и теперь вот — осень — платил ему за аренду комнаты Олег Михайлович.

В последний раз трудовую лямку он тянул лет пять назад — работал охранником в лесхозе. У него и униформа осталась с кепкой. Он как-то надел ее — строгое хаки — и пришел к нам в избу в гости. Мы даже испугались, не поняли сразу — что за важная птица? А когда признали — по-настоящему стало не по себе: от несуразности и пустоты вида заглянувшего гостя.

А так — не работал. Шевелил пальцами больших рук и отмахивался — «Не спрашивайте об этом». Мы и не спрашивали: туго было с работой в Жайме. Разве только снова в лесхоз охранником.

Питался он скудно — пшенка, картошка, больше — чай.

Пару раз при мне Николай подходил к Лёхе:

— Пару луковичек и баночку консервы какой — сайры, там, — говорил он, хмурясь и глядя в сторону.

Лёха приносил ему луковицы, сайру. И ругался неизменно — здоровый лоб, а ни хрена не делает, консервов ему!

Я не знал, как относиться к ситуации. С одной стороны — чего кланчить, не инвалид же. С другой — жалко человека, куда тут, в этой глухомани...

Приближались холода, а Николай никуда не спешил. Нужно было дров наготовить на зиму. Можно было ягод, грибов насобирать, шишек наколотить, рябчиков тех же пойти пострелять. Но в первую очередь дров — погибнет ведь! Николай не двигался.

Хмурился, смотрел телевизор с утра до вечера. Иногда уходил на станцию. Иногда к соседу, жившему в одной из жилых изб на нашей окраине.

Как-то я бродил в дождливый день среди покинутых домов, заглядывал в пустые дворы, находя на завалинке или в сенах среди сена и травы то серп, то старый глиняный горшок.

Из одной такой избы выскочил Николай.

— Ты меня ищешь что ли?

— Нет, — удивился я.

— А я думал, вы меня потеряли! А я тут, у товарища!

Никогда не теряли мы Николая. Хотелось бы даже потерять, раз так...

Временами он терял себя сам. Запивал — один или с кем-то из невидимых приятелей — и не просыхал по две недели. Вчера еще подчеркнуто благопристойный, теперь он забывал — кто он, для чего? Метался по хате, потный, растопыренный, похожий на черного мокрого птенца. Мочился под себя в постель без всякого зазрения. Бродил босиком по снегу в майке и тулупе по нашей пустой окраине. Пропадал куда-то на день-два. Наружу его вытянуть было невозможно. Выбирался сам. И после пробудки еще неделю или две, истерзанный, стыдливый, входил в прежнюю, такую же бессмысленную колею, которой он так отчаянно бежал.

На время очередного, самого сильного его беспамятства, пришелся наш отъезд из Жаймы. Лежал глубокий снег, крепчали морозы, рабочий сезон подошел к концу.

Мы собирали хозяйство и с боязнью поглядывали в сторону Николая — он валялся в промоченной насквозь койке и не имел сил ни очнуться, ни подняться.

Тревожило — как он будет один тут? Неиспользованные свои дрова мы перетаскивали к нему под навес. Олег Михайлович оставил в кухне ящик, который набил крупами и тушенкой. Хватит на первое время. А потом? Как будет выживать, что есть, чем печку топить? Впереди четыре самых тяжелых месяца...

Попрощаться толком не удалось. Растолкали кое-как. Сообразив, что к чему, Николай встал на постели, заплакал, полез целоваться.

Деньги за аренду — вдвое или втрое больше оговоренного (увидели в руках начальника сумму) Олег Михайлович засунул под клеенку на столе, туда, где лежали фотокарточка и газетная вырезка. Мы с Лёхой, покидая этот дом, ругались на Николая — «Зачем много платить? Зачем жалеть такого?!»

Больше я его не видел.

Но много думал о нем — как он перетерпел ту зиму? а как жил дальше? а как живет сейчас?

Помню, еще во время работы мы рассуждали с Лёхой — а неплохо бы приехать сюда на новогодние каникулы, например. На несколько дней! Покататься на лыжах, побродить по горам, попариться в баньке, насладиться покоем. К тому же Николаю заглянуть: «Ну как ты тут, старый бармалей?»

— Приедем еще погостить! — говорили мы воодушевленно Николаю.

— Приезжайте, почему не приехать, — отвечал он, перешевеливая бровями, размышляя, должно быть, что знакомый городской — это всегда помощь, особенно зимой.

Не приехали. Но Жайма не отпускала.

Уже в Петербурге я не раз прикидывал — как все-таки попасть? На несколько часов только. Узнать, как Николай: он меня беспокоил больше всего. Посмотреть наш дом, баньку. В конце концов, та осенняя экспедиция, полная здорового труда, стала важнейшей стартовой дорожкой в моей дальнейшей самостоятельной жизни. В Красноярск я вернулся полный сил, нашедший новых близких людей, имеющий за спиной воспоминание, которое согреет в любой безвременной ситуации, и уверенный в себе — я могу, я способен входить во взрослую жизнь.

И вот мы несемся с отцом на машине по Восточному Саяну.

— Тут Жайма твоя скоро, — сказал он.

Я не знал трассы, не ведал приближения Жаймы.

— Да ну?

— Километров шестьдесят.

— Давай заедем!

— Можно, — пожал плечами он.

Более всего в истории Николая меня волновал вопрос выбора. Был ли у него выбор, или нет?

Одно дело, когда рядом есть близкий кто-то. И даже пусть не рядом, но — есть. И даже нет никого, но есть какая-то надежда, которая греет. По себе знаю — одному без надежды не вытянуть. Всегда должно впереди что-то брезжить.

Другое дело — когда тебе «полста пять», и ты не понимаешь — для чего проживать завтрашний день. Для чего просыпаться утром, умывать лицо, готовить обед. Для кого, если будущего — нет. И не будет уже никогда, точка!

А что есть? Деревня, которая мертва. Соседи — спятившая с ума старуха и Пашка-погодок, которого, по словам его, вот-вот заберут к себе в Курагино родственники: видеть его уже нет сил.

Работы никакой. Да и не держится он на этих работах после ухода жены — срывается. Последний раз устроился в лесхоз, запил. На первый раз простили. А на второй выгнали, не заплатив. Только форма осталась — не вернул без денег. Работать охоты нет — силы не те. И для кого? Жить и работать нужно для кого-то!

В шкафу у Николая две полки книг. Под столом — гармонь, накрытая скатертью. К книгам он не притрагивался со времен жены. К гармошке — с тех пор, как гулял в тот год с геологами на дне рождения (порадовал их, чего уж там). Не притрагивался — самому себе что ли играть?

Для чего готовить дрова? Для кого собирать ягоду, если она в горло не лезет зимним вечером, когда от тоски воешь, а единственный твой друг — телевизор с одним каналом, в котором плещется чужая непостижимая жизнь — опостылел хуже тишины! Для чего переживать эту зиму? Чтобы встретить следующую? Одному всегда, ни для кого, ни для чего? Как быть? Куда деться? Кто поможет, люди?!

Николай воет тихо, как ребенок, прячет голову в подушку, трясется, валится огромный ничком на койку...

Мы свернули с отцом с трассы на повороте с указателем — «Жайма, 8 км».

Я волновался. Десять лет прошло. Хотелось увидеть дом, баню. Горы увидеть, которые каждый день обходили. Просто подняться на косогор наш, окинуть все взором, обнять...

Встречи с Николаем я опасался. Это издали, из Петербурга — «Здравствуйте! Как вы тут?» А сейчас что — найти его хату, постучать? Не вспомнит — мало ли каких пацанов тут за эти годы перебивало.

Вдоль снежной колеи вилась горная речка. Я вглядывался за окно, пытаюсь найти знакомое.

Открылся разрытый распадок — техника, рабочие вагончики.

— Золото моют, — кивнул отец.

— Значит, нашли мы золото?

— Конечно. Промышленным способом моют. Промприбор стоит, видишь.

Мы покрутились в поисках нужного въезда в деревню. Я помнил — дороги было две: одна — на станцию, другая — к нам, на окраину.

Пересекли железнодорожные пути, нашли нужную колею и выехали к широкому косогору.

— Вот! — заорал я. — Нашли!

Отец сбавил ходу.

— Здесь остановимся?

— Едь вперед, там дорога вверх есть!

Я глядел неотрывно на косогор. В центре его золотели деревом свежие строения — избы, гаражи, блестели металлом цистерны, желтели трактора, бульдозеры — компактный лагерь золотодобытчиков. Справа и слева темнели натканные кривые домики. Я выискал наш — вот он, на самом краю. И баня рядом!

Отец остановил машину под пригорком. Наверху лаяли собаки.

— Скоро буду, — я побежал.

Еще издали я увидел, что дом наш завален — не выдержал десяти годов.

Загребая снег, я вышел к нему, как к родному. И банька тоже — без окон и дверей, ну надо же!

Остановился, оглядывая порушенное. А еще минуту назад вы были у меня перед глазами целехонькие...

В избе провалился потолок — внутрь не зайти, только до порога. Я втиснулся бочком: ломаный кирпич, камень, сор, снег. В окна без ставней сунулся — ни нар, ни стола — щелястые бревна с паклей, да и только...

Окинул пейзаж, замер. Припомнил былое. Тут, на это месте... Вздыхнул полной грудью. Жаймушка.

Глянул на дорожку — путь к Николаю. Идти, не идти? Потоптался несмело, и пошел огородами в его сторону. Остановился поодаль: дом Николая стоял темный, с распахнутыми настежь ставнями — одной стороной он слегка завалился на бок, как растянутая вкривь гармонь. Неужоженный дом. Или нежилой?

Еще минута — и все останется в прошлом. Николай, жилище его, две комнаты, телевизор. Все исчезнет!

А может там он, у себя? Крепитесь. Новые соседи — легче.

Я не стал подниматься выше. Не стал проверять — там он или нет. Махнул рукой, отвернулся от темного дома и, злясь на самого себя, пошел вниз. К отцу.

13

Квартиру купили родители. Я даже толком не воспринимаю ее как свою — общая, наша.

Накопили на первоначальный взнос, а потом оформили ипотечный кредит. Новый дом, высотка. Не в центре, но и не на окраине.

Меня особо радует, что не в старом фонде. Хочется свежести и воздуха, а не

вечной видимой печати прошлого. Тем более, я пожил в центре. Невский проспект, чистенькая комната, приличные соседи.

Я не думал, что в обозримом будущем смогу жить в своем. Слишком долго снимал, свyksя. Сначала в Красноярске — общага, секционки, квартиры. Потом в Петербурге — коммуналки. Обживался на новом месте и неизменно находил плюсы такой передвижной жизни: другие люди, постоянно кем-то окружен, в себя не уйдешь, не замкнешься, тонус опять же, стимул бежать вперед, стремиться к чему-то большему.

Родители только не уставали вздыхать, приезжая в гости и ютясь в очередном боксе, иногда на полу — на Невском кровати у меня не было. Тем более, мужчина, семьей обзаводиться пора.

Сейчас уже по другому поводу вздыхают. Особенно папа.

Мама видела ребенка, приезжала к Вере два раза. Оба раза посидела, поговорила, попереживала, что все так получилось, и уехала. Чужой человек.

А я места себе не находил, пока ждал. Вернулась — «Ну что?!» А сказать нечего. Оба раза на лице — досада и непонимание.

«Какой? Бойкий, шустрый, много смеется. На тебя похож... А еще внимательный и серьезный. На меня глядел долго, изучал. Что за непонятная тетя?..»

Мы с Верой вместе были, когда я в квартиру переехал. Она мне на новоселье туалетный набор подарила. Там кусочек мыла желтый был, с фантастическим запахом. Почти как в окно ночью в Петербурге выглянуть и вдохнуть полной грудью. Или в Кызыле на балкон перед сном выйти в разгар лета — дурманивший запах степных трав.

Пока тот кусочек мыла цел был — медовый месяц продолжался. Медовый месяц отношений. И новизны ощущений в долгожданной квартире. Я специально тем мылом пользовался редко — только лицо слегка, для запаха.

Потом все исчезло. Кроме того желтого кусочка. Я крохотный обмылок оставил и сохранил. Чтобы помнить, как бывает. Как должно быть.

14

После возвращения из Кызыла я поймал себя на мысли, что не чувствую себя в своем петербургском доме как дома. Он принадлежит мне, но я не принадлежу ему. Он подобен домашнему животному — щенку, который любит меня, своего хозяина, а я, погруженный в заботы, не замечаю его в упор. Он ходит по пятам, заглядывает в глаза, а для меня он — пустое место.

Дело, конечно, не в заботах. Дело в постоянной боевой готовности. Я не могу погрузиться в квартиру, как в удобный диван, не могу успокоиться, не могу расслабиться. Я смотрю в раскрытую дверь, в окно и чего-то жду. Если огляжусь по сторонам, значит, приму ее, без сомнения, уютную. Приму как факт, как свершившееся. Смирюсь со сложившимся положением. А значит — сдамся. Растворюсь в квартире. Стены без семьи — лишь место обитания, место ночлега, но не очаг! И потому я бегу этих стен. И в то же время хочу, очень хочу, как в детстве, ощутить наконец тепло родного лона.

Все строго функционально в моем доме, эстетизм сведен к минимуму. Белая широкая стена комнаты, на которой ничего нет. Она создает иллюзию пространства. Она олицетворяет тишину и покой. По правде говоря, у меня просто не доходят руки, чтобы уложить стену в тонкий пробковый лист, и украсить его географическими

картами, репродукциями художников, фотографиями. А может, намеренно не доходят.

Над огромным рабочим столом — разветвленная полка. На самом верху — сухой цветок от Веры. Она пришла ко мне однажды с этим цветком, подаренным ей на работе к празднику, — роза, уложенная в декоративное ложе из шерстяных нитей. И поставила в вазу: «Пусть постоит, не хочется через весь город к себе везти». С тех пор и остался, высох до желтых стружек, не выбрасываю.

На подоконнике музыкальный центр. Он из коммуналки с Невского. Хозяйка сказала: «Забирай, если нужно». Забрал. Хотя включаю редко. Нужен повод — почти праздничный. Как Новый год с Верой, когда первый и единственный раз танцевали вместе: «От тебя до меня — лишь окно с погасшим светом...» Или приезд мамы, когда, чтобы сгладить тишину, я включаю на музыкальном центре радио. А так — тишина в моем доме царствует. Подруга белой чистой стены. Без дела музыкальный центр стоит. Ждет праздничного повода. И я с ним.

Диван удивительно компактен и в то же время просторен. Он затянут в элегантный шелковый чехол — ни намек на пыльный плюш. Покупали вместе с отцом и его сестрой тетей Наташей: они приехали из Белоруссии смотреть квартиру — отец в очередной раз летал в гости к матери, к родным. Мы выбрали в магазине понравившийся диван, заплатили отцовские деньги и вместе затащили его на наш 21-й этаж — грузовой лифт еще не работал.

В тот же день приехала Вера — знакомиться, мне не терпелось показать им свою красавицу! Первый случай, когда я накрыл стол в комнате — вожаденная семейная идиллия, почти тот самый очаг.

Вера просидела весь вечер прямая и молчаливая. Отец и тетя Наташа были разговорчивы и снисходительны. За спиной у моей подруги маячил неудавшийся брак, и наши 5 лет разницы не в ее пользу. «Вот, Серёга, тебе подарок от бабушки», — папа вытащил из сумки штору: на моем окне висела простыня. Для шторы требовалось сделать петли, и они вместе с тетей Наташей вручили нитку и иголку Вере — пусть сделает помощница. Взрослая Вера давно не считала себя чьей-либо помощницей и чьей-либо невесткой, но петельки, сдержавшись, сделала. До сих пор висит на них у меня бабушкина штора.

На новом диване мы спали два года — во время ее приездов. Теперь два года я сплю один. После нее ни одной девушки не было в моей квартире, не говоря уже о диване. А отец тогда сразу сказал: «Не занимайся ерундой, ничего у вас не получится». Я и без него понимал — сплошные искры. От того и сомневался до последнего. А когда ребенок родился — слово было уже за ней. Поздно схватился.

Широкий книжный стеллаж во всю стену в прихожей — тома разложены аккуратно и тематически рассортированы. Несколько книг привез сейчас от родителей — лежали на последнем издыхании. «Сказки народов СССР» — хочется ознакомиться внимательно применительно к многочисленным беспокойным соседям. Книги тувинских авторов, на которые прежде взгляд не падал, — «Слово арата» Солчака Тока, «Настигающий птицу» Кенин-Лопсана; может, чуточку понятнее теперь станет характер этого народа, с которым в одном городе, на одной земле жил я так долго, и с которым рядом жить продолжают мои родители — хочется дружбы, хочется говорить на одном языке, не хочется оставаться чужими.

В гардеробной — зеркальный шкаф до самого потолка. Зеркало — неотъемлемый атрибут квартиры, с ним разнообразней, останавливаешься, глядишь в себя. Процедура не всегда приятная: когда один — всклокоченный, сосредоточенный или рассре-

доточенный, обязательно — вопрошающий. Редко — веселый. Сам с собой же не будешь веселиться.

На одной из полок — старые дневники, которые я также привез сейчас из Кызыла — школьной и университетской поры, которые боюсь открывать — столько в них ломаных линий. И почта — пухлая стопка писем от кызыльских друзей тех же студенческих лет — Сашки, Скобелева, в которые я заглянул сразу после возвращения и ужаснулся. Ужаснулся той пропасти, которая нас разделяет: те ребята оказались мне незнакомы. Точнее, прочно забыты! Всю ночь, приехав, читал. А с утра отложил, как снаряды на полку, подальше, до поры до времени, больной окончательно. Я оказался не готов к этой горячности, к этой открытости, к этому взаимному вниманию.

На верхней полке — мой рюкзак, моя палатка, мой спальник. Остальные комплектующие — на балконе. Двухместная лодка. Два спасательных жилета. Коробка со снастями и рыболовецкими принадлежностями. Наступит тепло — наступит их час. Рыбак из меня никакой, но сколько раз они вытягивали меня наружу...

15

В Кызыл мы прибыли с отцом после полуночи.

Все прежние приезды в родной город я воспринимал как безусловный сакральный акт, по степени волнения сравнимый разве что с детскими приездами на летние каникулы в Успенку.

Каждый раз это был мучительно долгий и тяжелый переход через горные тувинские перевалы на старом чадающем «Икарусе». Скрашивал его только победный финал — въезд на решающую вершину, откуда открывался утопающий в дымке город. Четыре года назад я с неизменным трепетом сжимал в руках замызганные подлокотники автобуса и сдерживал закипающие слезы.

Сейчас — я отметил это сразу — волнения не было. Не было восторга. Не было ничего. Звездочки города в котловине под ногами. Мост через Енисей. Знакомые пустые улицы. Последний перекресток. Пятиэтажка с ожидающим огоньком на третьем этаже...

Причиной тому, возможно, была усталость. Но после «Икаруса» ты выжат, как губка.

Я открыл багажник, закинул на спину рюкзак, взял коробку с вещами, в другую руку пакет, подождал отца, набрал домофон, сказал: «Мы» — поднялся на третий этаж, не обращая внимания на стены, как будто видел их только вчера. Положил вещи на пол квартиры, обнялся с мамой, пошел за новой партией...

Единственное, чего хотелось мне всю дорогу и до того — каждый день пребывания в деревне, — добраться до душа, до чистой постели, до уютного дома, очага. Ночью все воспринималось расплывчато. Картина открылась только утром.

Отец и мать давно жили одни. Я приезжал редко. Оба — геологи, люди дорог, они не слишком заботились о быте, особенно мать — дом всегда был полон рюкзаков, спальников, завален камнями-образцами и всем подряд. В последние годы дорог становилось все меньше, но были еще. С другого конца страны я радовался за родителей — не сидят на месте, шевелятся, двигаются, иначе туго бы пришлось одним в пустой квартире в этом злополучном Кызыле. Иногда у матери прорывалось отчаянное: «Ехать нам отсюда пора! Кому мы тут нужны! Для чего сидим, корпим? Для кого?!» — но я не придавал этим словам значения.

Приехав в родительский дом сейчас, я увидел, что несмотря на все мои

петербургские иллюзии мать опустила руки. Растерян был и отец, стремящийся бездумно заполнить пустоту каким-то большим делом — той же неподъемной и бессмысленной стройкой в Успенке.

В свободные дни мать бродила бесцельно по дому и находила себя лишь на кровати у телевизора, который смотрела лежа с утра до глубокой ночи, поднимаясь только по надобности или для скорой, почти бессмысленной готовки еды.

В квартире царили беспорядок и уныние, из которых я только что вырвался в Успенке. Дом был сплошь заметен сором и пылью, завален тряпками, грязной посудой, старыми банками, гнилыми овощами, неиспользуемой бытовой техникой. Свободного места не имелось нигде: каждый шкаф, каждая полость были забиты так, будто в них старались втиснуть последнее. На кухне хозяйничали исчезнувшие вроде бы во всей стране тараканы. Вокруг набитого, как вывернутое чрево, мусорного ведра мать к нашему приезду нарисовала ядовитым мелком жирный круг, стены были также исчерчены беспорядочными белыми полосами. Неубиваемые тараканы, однако, шмыгали, нисколько нас не стесняясь, — среди кастрюль и продуктов на столе, под ногами, даже в спальне и в папином кабинете.

По полу следовало ходить только обутым — липко, грязно. Унитаз был расколот и непрерывно тек, стульчак отсутствовал. В ванной шелестела по углам паутина. Два дня я сидел в оцепенении, глядя подавленно на окружающее, не в силах ни за что взяться, — хотя бы разложить по местам вещи, не говоря уже о том, чтобы навести чистоту. Родители происходящего не замечали.

Я начал с зала, в котором спал. Заглянув под диван, нашел там спрятанные три пары материнских сапог и две сумки, в которых лежали засохший хлеб, заколки, деньги, камни, семена, газеты, рваные панамы, пыльные штаны. И дальше по нарастающей — утрабованные по шкафам залежи виниловых пластинок, пленочных диафильмов, видеокассет, почерневшие от времени рулоны ткани, которые мать покупала еще в моем школьном детстве, вязанки истлевшей пряжи, старые фетровые шляпы, старые босоножки, старые сервизы, письма, семейные фотографии, рассованные как попало — между книг, в папках вперемешку с черновиками рабочих проектов прошлого века. В одной такой папке лежал фотоальбом, в который я год назад уложил снимок своего ребенка (мы с ним вдвоем) и другие, из командировок, — долго и бережно отбирал, распечатывал, вручал матери в Петербурге, как драгоценный подарок: увидев сейчас альбом, мать не вспомнила его.

Под кухонным гарнитуром и в каждом из ящичков я собрал урожай из пустых пластиковых молочных бутылок — отец использовал их для хранения круп в полевых условиях. У него имелись нужные пять-шесть бутылочек, но и он сам, и мать продолжали набивать ими кухню, не отдавая себе отчет, что делают, зачем, просто скапливая, сохраняя, — я набрал два двадцатилитровых мусорных мешка этих бутылок, высыпанные, они заняли весь пол в кухне плотным слоем!

Розетка для тарелок была полна посудой — некуда было втиснуть блюдец: ощущение, что здесь жило не два человека, а двадцать два. В прихожей под трюмо лежали нетронутые три одинаковых набора для чистки обуви — кремы, щетки, их покупали, не замечая предыдущих. Дом был полон бумажками — сотни клочков, на которых мать спешно записывала телефоны, адреса, имена, фамилии, номера карт — записывала и тут же бросала в поток квартиры, не находя никогда. Материнских сумок с камнями, семенами, землей, палками, носками, комкаными деньгами, кроссовками — я нашел еще несколько, закинутых подальше, в глубокую щель, чтобы

не найти больше, не разобрать. Не остановиться, наконец, не оглянуться вокруг и посмотреть на себя...

На балконе лежал мумифицированный еж — труп его мать нашла летом в степи и принесла домой. В темнушке висели истлевшие куртки и дубленки, которые никто уже никогда не наденет. В коридоре громоздились шкафы, шкафчики и столики, которые родители приобретали, чтобы вмещать все наступающий хлам. Через коридор простиралась бельевая нить, на которой сушились вещи, а когда не сушились — висели сухие: пробираться по тусклому от вещей коридору приходилось, как в дремучем лесу, пригибаясь, жмурясь, раздвигая ветви руками.

«Обязательно обучу родителей ортопедической гимнастике», — ставил я себе задачу, собираясь в Петербурге в дальнюю дорогу. Теперь понимал, что ни о какой гимнастике не может быть и речи. Дело и в забитой, заставленной большой квартире, где все было впитык, где не было ни единого свободного места, куда можно лечь на пол на спину, не задевая руками и ногами теснящуюся мебель. И в безнадежной апатии матери и отца: если нет сил оторвать себя от кровати, от телевизора, о какой зарядке может идти речь!

— Мне нужен маленький рабочий столик, мне не на чем работать, — сообщила отцу мать.

— Есть же большой свободный стол в зале, — возразил отец.

— Он постоянно завален!

В другой раз мать, будучи на рынке, позвонила отцу и сказала, что хочет купить соковыжималку.

— Зачем, у нас же есть? — спросил он.

У нас была соковыжималка, но она, согласно инструкции, почему-то не отжимала апельсины и второй год стояла нераспакованная, в целлофане.

— Эта отжимает апельсины.

— Ни за что! — зашептал я отцу.

— Не надо, — неуверенно сказал он.

Я был напуган.

Позже, вернувшись в Петербург, я узнал, что увиденное мною в родном доме — болезнь. Скопидомство. Состояние, когда человек, желая заполнить внутреннюю лакуну, забивает свой дом всем подряд, не отдавая себе отчет — нужно ли это ему, какую пользу может принести. Заваливает все и вся вокруг в беспорядке барахлом, к которому потом не притрагивается, переставляя только изредка с места на место, тем самым создавая иллюзию некоей полноты, некоего смысла своего бытия. Тараканы, грязь, сор, пыль, расколотый унитаз, два вечно включенных телевизора как отвлечение от внутреннего и окружающего отчаяния — лишь сопутствующие.

Болезнью страдали оба. Кабинет отца никак не походил на кабинет и ничем не отличался от остальных комнат.

— Нужен этот коврик? — указывал я ему на серый кусок шерсти, набитый песком.

— Да, хочу в Успенку в следующий раз отвезти.

Грязную тряпку — за семьсот километров?

На кухне из груды столовых приборов и пластиковых крышек я выудил несколько насадок от старого миксера. Им лет двадцать назад мы взбивали желе для торта «Птичье молоко».

— Нужны? — спрашивал я отца.

— Конечно.

— Зачем?!

— Отвезу в деревню. Буду делать торты.

И миксер, и коврик в этот же день я выбросил.

В сохранении существующего порядка вещей каждый находил какое-то успокаивающее оправдание, не имеющее никакого отношения к реальности.

— Это нужно? — вытаскивал я из темнушки фанерку, которая, сколько себя помню, всегда лежала без дела в самом дальнем углу.

— Не трожь, это геологический планшет, сейчас таких не достанешь нигде! — кричала мать.

— Зачем он? Для чего его хранить?!

Она подумала и улыбнулась сама себе:

— Поеду в Успенку, буду в школе преподавать геологию. А этот планшет как раритет, отдам в школьный музей.

Каждый день я выносил на улицу мешки с тряпками, видеокассетами, пластинками, драными туфлями, носками, тарелками, кружками, крышками, древними сковородками с запекшимся жиром, склянками, железками, пакетами с целебными травами, давно превратившимися в труху, коробками, газетами, бумагами. Каждый день в несколько заходов я заполнял один, а иногда и полтора мусорных контейнера, избавляясь от самого ветхого, убогого, но вещей было столь много, что казалось, процесс не движется с места.

С матерью после моего приезда мы давно не разговаривали, а если и перебрасывались словом, то на повышенных тонах, не способные докричаться друг до друга.

— Вот гад, урод! — шипела она, воспринимая происходящее как вторжение в ее личное пространство, как трагедию. — Уймись, прекрати!

— Это что? А это?! Вы что, обалдели здесь совсем, что ли! — кричал я, заглядывая под очередной отодвинутый холодильник или опорожня этот самый холодильник от пакетов вспухших продуктов.

Просыпаясь, с раннего утра, я снова и снова принимался за свое дело, стремясь вычистить всю эту заразу, которой, как лишаем, была покрыта квартира. А ведь был еще заваленный до потолка вещами и мебелью гараж. Были две кладовки отца на работе, также полные. Была дача с ее сарайчиком с хламом. А теперь еще и дом в Успенке, куда он принялся перевозить ненужное...

Шафы и полки в доме были забиты книгами. Книги эти никто не открывал. Родители тратили время на телевизор — там всегда шло что-то важное и интересное, особенно после подключения кабельных каналов.

Книги стояли забытые, в пленке паутины, нечищенные. Из них сыпались старые документы, дорожные билеты, дорогие письма. Я складировал вместе эти приветы из прошлого, делился с отцом: «Смотри, что нашел!» Он равнодушно кивал и отворачивался.

Книг выкинул много, совсем ненужных, совсем нечитанных — несколько больших тяжелых пакетов. Бродяги-бомжи каждый раз потрошили пакеты и раскладывали книги вокруг мусорных баков — авось кто-то возьмет! Я выходил снова, собирал книги с земли, и заталкивал поглубже обратно. Больше всего я боялся, что эти книги, или эти старые пластинки, или эту чугунную сковороду обнаружат рядом с контейнером отец или мать — будто семейные фотографии, разбросанные под ногами на виду у всех. И поэтому выходил на улицу по несколько раз в день, заметал следы.

Выходы к контейнерам были столь же болезненны, как и копошение в бездонной яме квартиры. По улицам в Кызыле следовало ходить втянув плечи и спрятав глаза — смотреть открыто и прямо, расправить плечи не было никакой

возможности, настолько чужим и неуместным ты — русский человек — ощущал себя на тувинской земле. Даже если это всего лишь поход за угол к контейнерам.

Может быть внутренняя расстроенность родителей, это торжество паралича были отражением безрадостной и расстроенной окружающей жизни? Может быть. И тем печальней было видеть, что родители не справляются с внешним натиском. И тем сильнее хотелось навести хотя бы какое-то подобие стройности и порядка на том клочке, где они могли чувствовать себя спокойно и в безопасности. Важно не дать сожрать себя, важно сохраниться.

В последние дни отпуска мы разломали с отцом текущий унитаз, купили и установили новый. Уволокли на улицу аварийный бесполезный холодильник. Приобрели стеллаж для кастрюль и сковородок на кухню: до этого они громоздились в беспорядке там, где вздумается, не давая прохода. После потравки, хочется верить, отступили тараканы...

Полностью вымыть пол в квартире, избавившись от разъедающего смертоносного налета, мне удалось только в самый последний день, когда во всех комнатах был наведен относительный порядок. И вот я впервые после приезда смог пройти босиком по полу, не боясь испачкать ног, впервые облегченно вздохнул.

Вечером отец отвез меня в аэропорт. Первый раз в жизни я не желал скорого возвращения в родительский дом.

16

Меня всегда разрывало в Кызыле между друзьями и родителями.

Сажу дома, а надо к ребятам — хоть сейчас беги. Общаемся с друзьями, веселимся, гудим — волнуют родители, будто бросил я их, и сидят они там в квартире вдвоем, как дети, чуждые любого веселья, смотрят ТВ или собираются на дачу. Без никого, одни. Будь рядом хоть кто-то — не так терзался бы...

Из всех своих друзей в этот раз я встретился только со Скобелевым. Не трое, и не десять нас было, как когда-то. А двое, впервые.

Скобелев снимал квартиру, жил один. Жена и сын — в соседнем Абакане.

Два года назад стореда от онкологии тетя Марина — его мама. Год назад не стало дяди Валеры — отца.

«Собраться бы сейчас вместе, как в детстве, лучшими друзьями — я, ты, Сашка, и просто посидеть», — написал он мне в день ее похорон — он плакал.

Батя умер у него на руках — выпил лишнего, захрипел. Вскрылась язва.

— Он все время сидел в квартире, куда деть себя не знал, чем заняться, — говорил мне друг. — Летом золотарем работал, но в последний год его не взяли. Осенью, по весне — ладно, рыбалка. А зимой бухал. Мне бы ему какое дело найти! А все — некогда, некогда, — мучился он.

Никого из старых корешков у дяди Валеры не оставалось, родни тоже.

Скобелев привык в последние годы тянуть на себе всех своих: родителей, сестру, жену, сына. Крутился, вертелся, что-то продавал, перепродавал, ремонтировал. От того и не переезжал в Абакан: здесь все связи, его знал весь город. А вот отца проморгал. Да и не было у него ответа — куда человека в такой ситуации пристроить? Тем более, и сам выпить любил, вместе с тем же батей — исчезнуть из поля зрения на неделю-другую.

От квартиры после смерти отца и матери хотел избавиться — давили пустые

стены. Да и сестре требовалось покупать жилье: она мыкалась по съемному в том же Абакане, уехав из Кызыла, не найдя дома работы по специальности — химик-лаборант.

В это же время к Скобелеву подоспели кредиторы. Он взял у знакомого товар на реализацию, затянул по своему обыкновению с выплатой. Знакомый, не желая дожидаться, перепродал долг местным бандитам — такие дела в ходу в Туве. И спустя месяц с безмятежным, только-только вышедшим из очередного запоя Скобелевым связались другие люди: за прошедший срок сумма долга подпрыгнула ровно втрое.

— Самое паршивое, что не осталось никого, позвать некого, — сокрушался он. — Сашка — бич бичом, соплей перешибешь. Стёпку? Они вызвали меня на стрелу, я позвал Стёпку. А он, сам знаешь, тоже бухает — худой, как скелет. Приехали. Их четверо было, лет по 20—25. Пехота! Стёпку сразу нахлобучили. Меня не трогали — разговаривали только. Пушку, сука, вытащили. Я стою, думаю — я же тебя, черт поганый, с пушкой твоей с первого удара вырублю. Русский если бьет — уже не встанешь. Ну, второго за ним, третьего — справлюсь. А дальше чё? Скажут старшим. И завалят тебя у подъезда следующей ночью. Бегать же от них не будешь вечно или в другой город переезжать. Рядом с ногой мне выстрелили, твари, — пугнули. Я стоял как стоял: «И чё?» В общем, проглотил, ничего не ответил. Понимаешь, вот это самое обидное, что ничего не ответил...

Скобелев слыл в городе за бойца. И таким и был: серьезный человек. Но тянуть с долгом не стал, пусть и с процентами — такие правила. Это подстегнуло процесс продажи квартиры. С кредиторами расплатился. Сестре купил студию в новостройке в Абакане. Себе снял однокомнатную в Кызыле, и еще гараж, где хранил контрафактный алкоголь, которым нелегально торговал.

Я заикался, будучи еще в Петербурге:

— Нафига алкоголь? У тебя же у самого из-за него батя...

Он обрывал:

— Думал об этом тоже! Но подумал — и выбросил из головы. Особого выбора нет, не вижу вариантов.

Из Петербурга я писал ему жизнеутверждающие сообщения на телефон. Вроде — «Собрался на рыбалку на озеро», или «Снова начал бегать в парке и тягать гирию», или «Сегодня — театр, завтра — концерт!».

Этими словами из своего большого города мне хотелось подбодрить друга, одарить пылом новизны. Показать, что жизнь состоит из разных цветов, что вот — все они на ладони, нужно только захотеть. Например — чего стоит купить билеты на самолет и сгонять впервые с сыном в Петербург (деньги у него водились). Я знал, что Скобелев идет по одной колее, не сворачивая в сторону, я стремился показать ему, что есть и другие дорожки.

Отсюда, из Кызыла, я увидел, что слова мои были пошлы и неуместны. Как патетическое воззвание, отправленное на фронт в разгар военных действий. Не до разных цветов было в Кызыле. По крайней мере, Скобелеву.

Мы сидели с ним вечер за вечером за бутылкой контрафактного коньяка под тусклой лампой его кухни и впервые никуда не бежали, не подталкивали друг друга, не провоцировали, впервые веселились через силу. И впервые в жизни он не наведился ко мне в гости, не поздоровался с родителями. И я впервые его не позвал. И не позвали они.

Что-то с хрустом переломилось в Туве в последнее время. Люди балансировали на краю, пытаясь сохранить равновесие, одной ногой стоя на тверди, другой мотая в бездне.

Кто-то, не удерживаясь, проваливался.

Мне почему-то казалось, что, какие бы ни были волны, такие, как Сашка, всегда будут стоять. Вот он — высокий, элегантный с кудрявой шевелюрой идет небрежной походкой по Кызылу, и тувинские девушки и пацаны смотрят на него, нездешнего, с удивлением и восхищением. В разные годы он проявлял себя в разных амплуа. Поэта-гитариста. Подающего надежды юриста. Преподавателя в университете.

Когда я приезжал в студенческие годы из Красноярска, первым делом я заходил к нему — автобус прибывал в Кызыл в пять утра и остановку делал аккуратно возле Сашкиного дома. Какие-то 15 лет назад подобные ночные визиты были обычным делом. На полке в комнате Сашки лежали стопочкой мои письма.

Почему Сашка опустил? Я пенял на Скобелева — его влияние: пили всегда вместе, но крепкий Скобелев умел выкарабкиваться наружу, а Сашка — нет, и не сумел. Скобелев винил самого Сашку — несамостоятельного и малодушного, как показала жизнь. А также его маму — добрая и отзывчивая, она чересчур пеклась о Сашечке: чуть что — он к ней, а она выручать. Сам Сашка ни с того ни с сего во всех своих бедах обвинил отца, якобы тот, уйдя из семьи много лет назад, лишил его — сына — опоры, и эта трагедия с тех пор изъедала его изнутри, он, отец, во всем виноват!

— Да и делать, честно говоря, больше в Кызыле нечего, Серёга, — говорил мне Скобелев. — Забава тут одна — водка.

Так или иначе, друг наш остался без работы, потом снова без работы. Его то и дело видели среди бела дня в самых разных концах Кызыла — оборванного, шатающегося, сшибающего копейки на бутылочку, если повезет — спирта, если нет — боярышника. Гражданская жена родила ему сына, и временами счастливого папашу заставляли на улице пьяного в обнимку с закутанным в одеяло малышом.

«Сашка ночью на такси с маленьким сыном заезжал, — с тревогой сообщала мне мать по телефону. — Денег срочно занимал...»

Тогда же он начал воровать, вряд ли отдавая себе отчет, что творит. Воровал у родных, у друзей, у того же Скобелева.

«Бухаем втроем вместе с моим батей, вдруг Саша исчезает, а вместе с ним пропадают деньги и телефон».

В это же время он начал бегать. Срывался, невменяемый, с места, и бегал по городу, ночью, в поисках чего-то. Или спасаясь от чего-то...

В последние полгода с его номера мне в Петербург (и не только мне) стали приходить эсэмэски: «Срочно перезвоните — с Сашей беда», — или «Саша умер».

А потом однажды позвонил Скобелев и сказал, что Сашу посадили.

— За что? — я не был удивлен.

— За непредумышленное убийство.

И хмыкая, добавил:

— Только с нашим Сашей такое могло произойти.

Пьяный Сашка в ту ночь познакомился на улице с веселой девушкой, которая сама же предложила ему выпить. Не долго думая, он привез девчонку к себе — у Сашки была однушка, с женой они давно жили раздельно, сын обитал на два дома.

За поцелуями выяснилось, что пылкая красотка — мужик! В парике и накрашенный. И в Туве такое бывает.

— У него возле дивана всегда молоток лежал, — рассказывал мне Скобелев. — Он им вечно ножку дивана подбивал — она все время отваливалась. И, как на зло, этот молоток там под рукой оказался. В общем, все кровью залил... Сам и скорую вызвал, и полиции сдался. Сразу протрезвел.

Сашке дали восемь лет.

Собирается опротестовывать, но как юрист признается — шансов мало.

Говорит, что быстро адаптировался в тюрьме, обвыкся.

— Еще бы, — высказывался по этому поводу Скобелев. — Делать ничего не надо. Лежи да ешь! Да передачи от мамы принимай.

В последний раз я виделся с ним лет пять назад: приезжал из Петербурга.

Мы пришли тогда к Сашке со Скобелевым. В квартире воняло спиртом. Сашка, голый, в одних семейных трусах сидел на табуретке с разбитой головой. Жена — сама с расквашенным носом — обмазывала ему зеленкой голову и делала перевязку.

— А-а, — подвывал он, не обращая на нас внимания.

Скобелев только посмеивался.

— Полюбуйся на эту парочку, — хихикал он, раскупоривая бутылку. — Расскажи, Саша, нам о своих подвигах!

Голову Сашке раскроила накануне в пьяном угаре жена. Он в ответ разбил ей нос.

Ушел я почти сразу — я не узнавал старого друга, разговор не клеился. А ему, страдающему от ушибов и похмелья, он, кажется, и не больно был нужен.

В следующий свой приезд в Кызыл я намеренно не встретился с ним, не позвонил, не имел желания: Сашка где-то пил. До лучших времен — думал я тогда. И сейчас так думаю. Семь с половиной ему осталось.

17

Я когда смотрел на этих собак в Кызыле, мне почему-то казалось, что они — чужие. Даже ненастоящие.

Подходит к тебе собака, а ты отворачиваешься. Ты ведь уедешь, и все эти собаки — исчезнут. Они местные, а ты уже нет. Они к тебе не имеют никакого отношения. Как-нибудь устроится. Не стоит переживать.

Мы собрались с родителями на дачу забрать лопаты и вилы, закрыть на зиму тряпками кусты вишни — и мама положила в сумку куриных костей и кусков хлеба, в том числе плесневелого — где она его взяла?

— Это зачем? — не понял я.

— Собакам.

— Каким еще собакам?

Собаки были маленькие и худые, как щенки. Они прятались в бревнах и дрожали от холода. Они рыскали по округе в поисках съестного, а заметив людей — ждали подачки.

Увидев нас, они подняли испуганные уши и завиляли несмело хвостами.

Мама вынула засохший хлеб и отдала им несколько кусков. Кости и еще несколько сухарей она перекинула через соседний забор, где — подойдя ближе — я различил писк: там ошенилась бездомная сука.

Последние несколько кусков положила обратно в сумку.

— Отдай все, — попросил я.

— Там дальше еще есть, — кивнула она в сторону соседней улицы, но потом забыла отдать, привезла обратно.

Мне теперь стыдно и больно, что я закрывал глаза и отворачивался.

Поможет ли ей тот кусочек, задавал я себе вопрос? Только раздражит аппетит. Их слишком много. Они обречены, я ничем не могу помочь. Теперь я понимаю, что эти собаки имели отношение только ко мне.

Скобелев рассказал, что за сутки он как-то сбил сразу двух бездомных собак.

— Еду со стороны Каа-Хема, ночь, темно, вдруг какая-то тень мелькнула — бах! Я аж руль вывернул, чуть на обочину не вылетел, думаю — что за демон? А это собака. Здоровая! Бампер мне, сука, помяла. Ладно, еду дальше по городу, сворачиваю у «Детского мира» на светофоре, глаза, знаешь, уже не видят, спать охота. И опять — бам! Та маленькая была, только кверху лапами полетела. Ни хрена, думаю, никогда собак не сбивал, а тут сразу две!

Отец тоже рассказал. Прошлой зимой он сбил на «Ниве» собаку на подъезде к своему институту.

— Она перебегала, я не успел затормозить — под колеса бросилась...

Собака еще дышала. Он завернул ее, окровавленную, в тряпку, положил в багажник и привез на работу.

— Думал — выживет. Мы перевязали ее, положили в подвале в отдельный закуток. Хотели выходить. Но умерла в тот же вечер...

У нас долго была своя собака. Лайка. Пятнадцать лет прожила — умерла в позапрошлом. Приехал к родителям, а никто не встречает. Пусто. А родители, наверное, привыкли.

А до этого были кошки. Всегда.

После того, как я уехал из дома, после того, как умерла наша собака, родители больше никого не заводили. Может быть, и не заведут уже никогда. В Кызыле, по крайней мере.

Я было сказал им как-то:

— Заведите кого-нибудь.

Но осторожно сказал.

Завести кого-то — это значит иметь маневр. Это выходить перед сном на балкон и наслаждаться душистым степным воздухом. Это прогуливаться без опаски вечерами по городским улицам. Это общаться с близкими. Это, быть может, жить большой семьей...

У родителей нет этого маневра. Они живут в городе, где люди не гуляют вечерами по улицам. У них нет родных рядом. Они все время на взводе, пусть и лежат на диване перед телевизором. Они знают, что покоя нет. Они не могут позволить себе завести кошку или собаку.

18

Когда не остановился, не замедлил бег и не сделал что-то важное и обязательное, пусть это даже тот кусок хлеба для бездомной собаки, всегда потом переживаешь: для чего спешил, куда? что нашел или потерял в итоге?

Это в Петербурге было. Вечер уже. Я зашел в здание Сенного рынка и в людных дверях столкнулся с дедушкой в выцветшей зеленой спецовке.

— Слушай, купи! — перехватил он меня и протянул деревянные лопатки для переворачивания продуктов на сковороде.

Я замешкался — зачем мне какие-то лопатки?

— Сам делал, — добавил он, указывая на незатейливые деревяшки. — Одна — двадцать, три — пятьдесят.

Я достал мелочь.

— Давайте одну.

— Ну возьми три, — попросил он. — Хорошие, пригодятся!

Я протянул ему два медяка:

— Одну.

И поспешил дальше. Действительно, зачем мне три?

Позже я вспоминал этого дедушку, его «ну возьми...» И испытывал чувство страшной неловкости. Хотел было даже поехать, поискать его на Сенном. Убыло бы от меня, если бы заплатил пятьдесят?

А потом встретил его нечаянно. Спустил два года, у метро, рядом со своим Удельным парком.

Он был в той же зеленой спецовке. Снова с лопатками.

— Здравствуйте, — улыбнулся я ему, как доброму знакомому. — А я вас знаю!

— Откуда?

— А я у вас эти самые лопатки покупал на Сенном рынке.

— Да, может быть, — хмыкнул он.

— Сколько? — кивнул я на знакомые лопатки: той, купленной, я до сих пор переворачивал продукты на сковороде.

Он назвал прежнюю цену — она не изменилась.

— Давайте три, — я протянул ему сотню.

Дедушка начал рыться в карманах в поисках сдачи.

— Не надо.

— Нет, лишнего не беру, — и он вручил мне три лопатки и пятидесятирублевку.

И добавил, конечно:

— Сам делал.

Правда, это исключение: потерял — встретил...

Снова Петербург. Недавно. Накануне поездки в Туву.

Выходя из редакции, пересекая двор на Петроградской стороне, увидел мальчишку лет семи. Рядом на земле лежала женщина.

«Вставай, мама!» — плакал мальчик, силясь поднять ее на ноги. Женщина не реагировала. Куртка расстегнута, сумка брошена.

Я пробежал было мимо. Но остановился, вернулся.

— Что случилось? — подошел к мальчишке.

Он дрожал — худой, бледный, не мог сказать ни слова.

— Далеко живете?

— Вот здесь, — он указал на соседнюю парадную.

— Я подниму. А ты возьми вещи.

Он трясущимися руками собрал куртку, сумку, телефон.

Мы повели ее к подъезду — мальчишка бережно поддерживал мать сбоку.

— Кто это? — неожиданно убрала с лица мокрую челку женщина.

— Дядя, — пролепетал сын.

В подъезде выяснилось, что она вполне в себе. И может крепко держаться на ногах.

— Мы сами тут, — прохрипела она и высвободилась от моих объятий.

Идя к метро я долго не мог успокоиться: жуткая картина, я отвык от таких сцен, их не часто встретишь сегодня. И думал, что если говорить о настоящей помощи — то я должен был дать пацаненку номер своего телефона: «Я работаю тут, за углом. Если что случится — звони!»

Нет, не задержался.

19

Поездка в Успенку и Кызыл стала катастрофой. Крушением мира.

Туда ехал за умиротворением, за силами. Оттуда возвращался контуженный.

Старый, родной, ненаглядный мир исчез, обрушился. А нового нет.

Важно не копошиться в старом, не рыться в золе, не складывать шалаш из гнилых досок — ничего не исправишь, ничего не построишь. Но нового нет...

Почему я не видел этих трупных пятен четыре года назад? Их не было? Нужен был срок, чтобы отлепиться, суметь посмотреть со стороны? Или необходимы были собственные коренные изменения, которые перетряхивают тебя изнутри, как та же несложившаяся семья?

Последней точкой стала наша поездка с отцом на Таштыг. Я знаю — он организовал ее специально для меня: внеплановый визит. Не сказал об этом, дабы добавить поездке веса, необходимости. Обозначил повод — экологический мониторинг. Позвал коллег из института — таких же бывших геологов, как и он, последних из оставшихся. Которые сильны еще тем, что держатся вместе, что способны — молодые душой — собраться вот так и выехать в поле на несколько дней, способны двигаться.

Нужна ли была та страшная в своей откровенной бессмысленности поездка на Таштыг, думаю я теперь? Да. Если крушение, то полное. Не надо цепляться за последнюю соломинку. Поехал и увидел — ничего больше нет, ничего.

На Таштыге я вырос. С двух до шести лет. С переездами в Кызыл, Успенку и обратно. Четыре года родители — молодые инженеры-геологи — участвовали в экспедиции по разведке запасов олова и свинца на реке Таштыг. В горах стояли буровые. В речной долине располагался наш рабочий лагерь: три десятка домов, включая столовую, пекарню, баню, клуб с кино, где по вечерам крутили ленточные фильмы.

У нашей семьи был собственный домишко. Сразу за окном его ревел живописный и бурный, прыгающий по огромным валунам Таштыг. От свинца и олова вода в реке была красной.

Когда я задаю себе вопрос — где моя родина? — я теряюсь.

В родном степном тувинском городе? Или в сибирской деревне в Красноярском крае? Или на базе геологов на горном Таштыге?

А ведь есть еще Белоруссия, куда к бабушке ездили мы несколько раз через всю страну, и вспоминали с упоением эти визиты многие годы. А потом студенческий Красноярск. А теперь Петербург...

Родина там, откуда вышел. Из города своего. Из деревни. Из экспедиционного лагеря на Таштыге. Та земля, которая всегда рядом со мной. Где бы я ни был.

— Можем на Таштыг съездить, — предложил осторожно отец.

— Давай, — безразлично сказал я.

Я был равнодушен и холоден уже. Родная деревня забрала из меня тепло. Родной город забрал тепло. Остался Таштыг — последний клочок. Но я ничего уже не ждал.

— Посмотришь, какой поселок там забабахали! — блеснул глазами он.

Несколько лет назад разведанное геологами месторождение Таштыг выкупила в аренду российско-китайская фирма — запасы руд были богатые. Построила приличную дорогу через горы. Возвела на месте большой жилой поселок, провела коммуникации, пригнала технику, наняла рабочих — в том числе из Китая, но большую часть

местных, из Тувы. Институт, где работал отец, контролировал на выработке экологическую обстановку.

В конце 80-х дорога на Таштыг занимала до двенадцати часов. 50 километров от Кызыла по асфальту, 100 по грязевой колее, еще 100 — по рекам и пересеченной местности. В детстве это казалось нормальным. Тем более не давали унывать люди рядом — водители, геологи, буровики. И атмосфера большой семьи. И общего дела. И маячок, мигающий вдали — поселок, река, свой домишко, столовая, клуб. Отец, который ждет, если едешь с матерью. Или мать, если едешь с отцом. И обратный путь, и снова кто-то из ожидающих родителей. И степной, сухой и душистый город. И уже друзья — Скобелев, Сашка, пришедшие оттуда, из геологического начала...

После строительства русско-китайской фирмой дороги путь на Таштыг сократился до шести часов. Мы решили: утром выезд, там ночевка. Если захотим — останемся еще на одну ночь.

Я тихо радовался, конечно. Возможность сменить душную обстановку кызыльской квартиры, встряхнуть себя. Оказаться рядом с людьми, с которыми когда-то, четверть века назад, ездил этими же маршрутами. Увидеть долину красной реки, на которой вырос. Знакомую тайгу, каменные скалы. Быть может, подняться с отцом на одну из тех гор, на которых стояли буровые!..

Таштыг я не узнал. Даже не нашел красную речку, пусть и скрытую льдом.

Широкие полигоны, выработки, извилистые дороги. Потеснившаяся природа.

Обычный конвейер.

— Русло реки изменили, — объяснил мне отец.

В долине располагался городок из типовых рабочих общежитий — на 200 человек каждое. Ни следа прежнего быта, куда когда-то работники приезжали с детьми, где жили одной большой семьей, где по вечерам ходили в клуб смотреть пленочные киноленты, а по выходным в баню.

Наш поселок был когда-то где-то среди...

— Где он был? — спросил я.

— Туда, дальше, в сторону карьера.

— А буровые?

— На той вершине. И на следующей.

— Да, помню.

— А помнишь, мы спускались с тобой пешком с буровой вечером и по льду шли?

И я тебя на санках катил. Это здесь было, на этом месте.

Помню, папа.

— От поселка что-то осталось? наш дом? какие-то постройки? Увидеть бы.

— Нет, конечно. Все снесли.

Нас заселили в блок №5, в котором царила столь опостылевшая мне уже замызанность и неприютность. Нам выделили машину — объехать территорию, взять пробы с карьера, с фабрики, с канализационного стока.

Перед сном мы взялись было вспоминать былое — четверо в одинокой комнате. Но не шли воспоминания, не ложились они на настоящее. Взялись играть старые геологические песни — отец захватил с собой гитару, — но и песни не шли...

Убыли на следующий день. Такие же измызганные, как комната блока №5, будто поскользнулись на кромке бескрайнего канализационного стока рядом с карьером и упали в грязную лужу.

Горы, тайга, тропы остались нехоженными. Да и какие могут быть горы!

Мне было обидно. Не за себя, а за них троих — чужих, неловких, непрощенных. На которых на этом новом Таштыге в глаза и вслед смотрели с усмешкой и

непониманием. И я тоже смотрел с непониманием — неуместный энтузиазм, пустые телодвижения. Не к месту мы тут!..

— Рад, что на Таштыге побывал? — спросил меня отец перед самым отъездом в Петербург — раньше не решался.

— Хорошо, что съездили, — кивнул я.

В этот же день мы заехали к нему в институт.

Он сел за компьютер, не раздевшись — шарф, теплая куртка. В углу комнаты у окна лежали нетронутые мешки с собранными на Таштыге пробами.

Я вышел в коридор — осмотреть стенгазету, выставку фотографий, образцы горных пород на стеклянных стендах, просто вдохнуть запах институтских стен.

Вернувшись в кабинет, я застал отца в той же позе. Капюшон вывернут наружу, куртка колом, мокрые волосы включены на затылке. Усталый, сгорбленный. Жалкий. Мне кажется, я впервые видел отца таким.

20

Той весной меня держала на плаву работа. А когда наступило лето — природа. Работа и природа — ничего другого не было. И никого. Не впускал! Там жили двое. Вера. И ребенок, которого не знал.

На выходные в теплое время я выбирался на озеро Кавголовское, в прямой близости от Петербурга. Собирал продукты на выезд — обязательно картошку для запекания в костре. Наведывался с железной лопаткой в парк, где бегаю, — копал червей: на озере они не водились. С утра заваривал в термосе чай с чабрецом. Взваливал на спину огромный рюкзак лодки, ехал на вокзал, занимал место в электричке, облакачивался о стекло, глядя кругом на пары, семьи, компании, погружался в дрему, дожидаясь своей станции...

Прибывая на озеро утром или днем, я, наслаждаясь воздухом, простором, не спеша раскатывал резиновое полотно лодки на траве. Надувал его. Устанавливал между бортами деревянный стол-стул. Крепил весла. Делал якорь — находил крупный камень и укладывал его в сетку на борту. Заходил босыми ногами в воду, вытягивая лодку за собой, переваливался внутрь и налегал на весла.

Греб до тех пор, пока не причаливал к одному из соседних берегов или не врезался в тростниковые заросли — рыбное место. Вставал на якорь — медленно опускал на дно нить с камнем. Доставал удочку, долго и неумело возился со снастями, закидывал лесу. И погружался в ожидание, умиротворяющее, но и изматывающее — я желал добычи, но или совсем возвращался пустой, или с пятком окуней или красноперок: рыбы в Кавголовском водилось мало. В каждом плаванье, неловкий, я обязательно терял блесну, крючок, поплавок. Но не обращал внимания. Удочки, рыба были приложением. Главным был сам выезд, смена привычной обстановки, забытье!

Если прибывал на озеро вечером, то старался, не мешкая, выйти на воду, достигнуть противоположного берега, найти место для ночлега, насобирать дров — до темноты. Один раз сошел с электрички, когда солнце как раз закатывалось за кромку леса. Отчалил в сумерках, под любопытные взгляды редких отдыхающих, и поплыл по диагонали, не останавливаясь, час гребли — одинокий ночной путник, точка на воде. Место для причала искал уже наощупь, с фонарем на носу, пробиваясь сквозь прибрежные заросли.

На месте разбивал палатку, разводил костер, кипятил воду для чая и лапши — окунал лицо в дым, стараясь пропахнуть насквозь. Прислушиваясь к звукам леса, приносиваясь к запахам озера, вспоминал Таштыг, Успенку, Жайму. Вспоминал деда, отца. И говорил с сыном — каждый раз. Объясняя все свои действия — вот валежник собираем, вот закладываем в золу картошку, вот бросаем в кипящий котелок горсть

черного чая вперемешку с чабрецом — на природе лучше пить чай с травами. Много рассказывал про отца — настоящего таежника-геолога...

В один день я снова приехал на озеро к ночи. Погрузился, погреб. На середине ссушил весла, разделся догола. Отвязал сетку якоря, убрал в сторону, примотал себя крепко за ногу к носовой веревке. И — взглянув в черноту за бортом — ухнул с головой в бездну. Вынырнул и пошел по привычной диагонали, натягивая трос. Плыл брассом, ощущая тягу на ноге, оглядываясь через каждые двадцать гребков — судно двигалось следом рывками. Освежиться хотелось после горячего дня. И двигаться нужно — поздно, темнеет. Другого способа не имел, чтобы разом путь преодолеть, окунуться, лодку не оставить. Другого способа не имел, чтобы с отчаянием справиться.

21

Ночью приснился сон.

Я приехал к Вере. А у нее праздник.

Вошел в квартиру, стою на пороге — никто не встречает. Но и не гонит.

Мимо проносится петербургская бабушка с тортом на подносе.

— Свечи, свечи не забудьте! — кричит она.

Празднество в зале. Из комнаты бьет свет, режет глаза. Внутри волнуются и шумят гости. В центре зала Вера — тонкая, счастливая, с распущенными волосами, в красном нарядном платье.

— С днем рождения! — кричат кому-то дружно гости.

Вижу только Веру. Меня не видит никто: я — пустое место.

Хлопает бутылка шампанского, звенят бокалы.

— А теперь подарки! — объявляет бабушка.

— Подарки! — подхватывают гости.

Беру со стола фужер. Жду. А еще радуюсь: все сейчас будет. Сейчас мы встретимся с ней глазами. Я готов принять ее, впустить, обнять, укутаться в волосы!

— Каравай, каравай! — заводит она в центре круга. — Кого хочешь выбирай!

Вокруг одобрительно хлопают в ладоши.

— Мама! — кричит Вера. — Маму выбираешь?

Я оставляю бокал, вклиниваюсь в круг, пробиваюсь в центр.

Гости водят хоровод дальше.

— Бабушку!

Гости сливаются в единый пестрый поток, мешают, толкаются.

— Дедушку!

— Соню!

— Валю!

— Папу, — говорю я.

Меня никто не слышит.

Расталкиваю людей, врываюсь внутрь.

Вера в круге одна.

— Каравай, — нервно смеется она, и непонятно — то ли радуется она, то ли плачет.

На полу торт с двумя оплывающими свечами. На торте жирным красным кремом выведено — «Ваня».

— Ваня, — я забыл, когда произносил его имя вслух.

— Где Ваня? — спрашиваю я ее, гостей, но меня не видят или не хотят видеть.

Я выбираюсь наружу, иду по комнатам. Их много. Темные, длинные.

— Ваня! — кричу я.

И останавливаюсь, как вкопанный.

Он смотрит на меня из угла. Незнакомый мальчик.
Сидит на полу — малыш в костюмчике. Галстук. Белые манжеты. Волосы аккуратно зачесаны набок.
Сын? Я его представлял другим. Точнее — совсем не представлял. Я знаю только того — месячного, которого держал на руках. А тут — большой. Два года...
— Ты Ваня? — сажусь рядом, чувствую, что начинаю дрожать.
Он смотрит внимательно. Глаза Верины — большие и распахнутые...
— Ваня?
— Ва-ня, — выговаривает он тихо по слогам.
— А тебе... сколько лет? — спрашиваю глупое.
Он растопыривает пальцы и пожимает плечами.
— Два года, — улыбаюсь. — Два! Сегодня исполнилось.
— Два. Сегодня, — повторяет он.
— А я — папа, — говорю шепотом.
Он вздрагивает.
— Слышал? Тебе про меня рассказывали?
Он утыкается глазами в пол.
— Твой... Помнишь: «Здравствуй, папа!»?
Он говорит, глядя в сторону:
— Здравствуй...
Распахивается дверь. Врываются шум, крики.
— Вот он! — кричит Вера и подхватывает ребенка на руки.
Шум стихает... Оглядываюсь — вокруг улица, сумерки.
Навстречу катит машина — за рулем женщина.
Посреди дороги лужа, совсем небольшая, но глубокая, черная. Машина едет прямо на лужу, опрокидывается и, накреньясь, медленно уходит под воду.
В салоне паника — женщина пытается открыть окно, судорожно вертит ручку стеклоподъемника. Рядом с ней в темноте копошится еще кто-то.
Как же так? — удивляюсь. Ведь можно выбраться, легко выбраться, нужно лишь отворить окошко, невозможно погибнуть так просто и глупо.
Я машу руками — «Крутите, крутите!»
Женщина смотрит на меня, кричит что-то, долбит кулаками в стекло. И сдается.
Машина погружается глубже, женщина остается сидеть на месте, в той же позе, дергая ручку из последних сил.
Только в последний момент я, оцепеневший, преодолеваю притяжение, делаю рывок и иду к ним на помощь. Трачу, безумец, драгоценные секунды на то, чтобы застегнуть куртку, спрятать во внутренний карман телефон. Почему вообще стоял?!
Поздно! Лужа поглощает лицо женщины, стекло, крышу и того, кто рядом. Из-под воды идут пузыри...
Я бросаюсь за машиной в омут... И просыпаюсь.
Включаю свет. На часах — четыре утра.
За стеной, со стороны ванной, рыдает неутешно мальчишка.
Долгое время сижу на диване, перебирая подробности странного и страшного сна. Чувствую запах Веры. Чувствую недавнюю близость ее рядом.

Если бы я не поехал в Кызыл — так бы и пребывал в иллюзиях. Так и думал бы, что родители — вечно молодые, идут вперед. Так и верил бы, наивный, что есть дорогие сердцу места, куда я всегда могу прийти, которые ни за что не тронет время.

Для чего мне это знание, свалившее с ног? Лежащая неподвижно мать. Отец с растерянными глазами. Деревенский дом, ушедший под землю, истлевший до размеров ледяного подвала. Отчий дом, превратившийся в воронку с могильным духом. Молчащий Скобелев, сидящий под желтой лампой. Невидимый Сашка, к которому я больше никогда не зайду рано утром. Собаки, которые шли за тобой до самого твоего подъезда, которые скулили под бревнами. Горячие письма, которые чего-то ждут, которые можно только сжечь — иначе они будут нещадно лупить тебя по барабанным перепонкам...

Вчера позвонил отец.

— Ну как ты там?

— Болею.

— До сих пор?

— Уже лучше... Скобелева не видели?

— Мы его вообще не видим.

— Пап, там, в Жайме, куда мы с тобой заезжали, в деревенском доме живет мужик — Николай. Если поедешь в Успенку еще — может заедешь, спросишь, посмотришь — жив он?

— Чего?

— Заедь.

— С наступающим тебя.

— Спасибо...

Мы не созванивались со Скобелевым после приезда — тяжело, не хочется. Мы не разговариваем с матерью — мы устали друг от друга. Я не пишу Вере — я боюсь.

Что произошло? Отчего все разорвалось. Отчего все поодиночке? Отчего все исчезло? Что-то осталось?! Я не понимаю!..

23

У меня сегодня день рождения.

На цифры не обращаю внимания, обращаю внимания на праздник. А он есть. Всегда. Даже сегодня.

Приближение его чувствую с ночи — как двенадцать пробьет. И хочешь — не хочешь, в каком бы ни был настроении, что бы ни волновало, вдруг все заботы — как крошки со стола в сторону, и начинаю вибрировать.

Ошеломительное чувство. Рождается где-то внутри, само, независимо от меня. И ночь, потом утро, и день — цветешь, и ходишь улыбчивый и ослепительно свободный.

Мне хочется внимания в этот день, поздравлений, комплиментов. И я настаиваю каждый раз на своем праве на праздник. Говорю громко: «Да, у меня день рождения!» Не прячу его и не прячусь от него. Хожу и уповаюсь свалившейся радостью. Пьянею от аромата заваренного утром чая, от вкуса приготовленного завтрака, от воздуха, брызнувшего в лицо при выходе на улицу.

Каждый день должен быть таков, как этот. Каждый! Может быть, этот день всего лишь напоминание о том, каково должно быть естественное течение?

Откуда эта легкость и открытость, это чувство полноценности, эта эйфория? Возможно, дело в ожидании чуда? Да. Хотя исполнение его в этот день совсем не обязательно. Сам день уже как чудо. Или дело в карт-бланше? Тот случай, когда ты не зависишь от обстоятельств, имеешь право на хорошее настроение, на благосклонность близких, на собственную походку.

Сегодня лежу дома — лечусь. Мне звонили друзья, и я рассказывал им про свое восхитительно чувство праздника.

— Это, наверное, из детства, — говорили они. — У вас, наверное, в семье было принято садиться за большим столом. Ты долго ждал этого...

Нет, все было как у всех — без особых торжеств. Иногда не весело. Иногда с горечью и обидой — не все друзья пришли, не то подарили, не ощутил достаточного внимания...

Чувство это возникло уже в зрелом возрасте, само по себе. Вырвалось, как родник из-под снега и зазвенело...

Это было, когда я жил несколько месяцев в Туве, сразу после окончания университета. У отца был день рождения — юбилей.

Мы купили с мамой ему подарок — теннисные ракетки. Тем летом в подвале его института поставили теннисный стол — стол имелся, а новых ракеток не было.

Вечером они оба вернулись из института с празднества. Выпившие. И злые друг на друга, особенно мама.

Отец сразу забился на раздвижное кресло в своем кабинете, обвязав голову полотенцем — он редко пил, а выпив — сразу болел.

Мама ходила по квартире раздраженная и ругала его за то, что держался в стороне от нее, что наговорил лишнего, что проявлял повышенное внимание по отношению к...

Послушав мать, я встал на ее сторону и тоже несколько раз язвительно поинтересовался:

— Пап, а чего это ты так?

Отец валялся в кресле, мучился головой и молчал. Он всегда молчал. Праздник не удался.

Мы наворачивали круги вокруг него, накручивали обвинений. Мне было обидно за мать — я знал отца. Хотя оба всегда хороши.

Теннисные ракетки лежали в шкафу неподаренные. Никакого подарка, раз так. Раздался телефонный звонок.

— Алле, — подбежала мама. — Ой, здравствуйте! Да, вот только с работы пришли. Папа, иди сюда быстро!

Звонила бабушка из Белоруссии.

— Алле, — он отошел в трубку.

Именно в тот вечер я отчего-то дошел до той простой мысли, что человек имеет право на свой праздник. На полноценный, а не общипанный. И еще подумал, что не всегда мы готовы подарить человеку этот праздник. А он ждет его. А у нас к человеку претензии.

В тот вечер я впервые увидел в нем не отца, не взрослого, который мне что-то должен. А того, кому что-то должен я. И который жаждет этого праздника, как ребенок. Лежит и ждет. И вспомнил, что мы никогда не принимали отца за настоящего именинника. С него всегда был спрос.

Я знал, что я бы обиделся, поступи со мной так — обделив вниманием, наградив упреками, раскричался бы, чего-нибудь разбил. Обиделась бы мама — замкнулась бы, заплакала. Отец перемолчит.

— Папа, — позвал я строго в темноте.

Он поднял голову.

— У нас подарок тебе.

— Подарок, что ли? — он поднялся с кресла.

— Зажмурься, свет включу.

Две новые оранжевые теннисные ракетки в пластиковой упаковке и набор ярких шариков к ним.

— Вот, от нас с мамой, — сама мама не вышла поздравлять.

Отец держал подарок в руках, разглядывал со всех сторон, читал надпись на этикетке.

— Спасибо, — заулыбался он, обнял и поцеловал меня.

24

Мы спускаемся с отцом в лагерь с вершины, где стоит буровая. Мне года три-четыре. Идем пешком.

Дорога вьется ленточкой — иначе машине не заехать и не спуститься, особенно зимой.

В руках у отца детские санки. Идти долго, темнеет, и он предлагает катиться на санках.

— Скоротаем время!

Садимся вместе, отец отталкивается ногой, и мы летим с места по наклонной — дорога ледяная, скользкая. Ветер свистит в ушах. Дух захватывает. А еще боязно — слишком быстро!

Снизу, навстречу нам, слышен гул тяжелой газующей техники. Я беспокоюсь — как бы не въехать прямо под колеса грузовиков — из-за поворота нас не заметишь!

Отец не обращает внимания на близкий гул, отталкивается ногой, и все больше-больше набирает скорость.

— Папа! — кричу я.

Ветер свистит в ушах, он не слышит.

Машины зловеще рычат совсем рядом.

— Папа, пошли пешком!

Он тормозит, только когда из сумерек вырастают железные морды. Отступаем на обочину в снег. Он кивает шоферам. Нам машут в ответ.

Внизу выходим в долину Таштыга. Река во льду, но где-то видны прогалины — весна наступает.

Отец сажает меня, уставшего, на санки и везет по замороженной реке в сторону геологического поселка. Я вижу перед собой только его ноги в ватных штанах и унты.

В одном месте он проваливается в воду, не глубоко — по щиколотку. Тут же проваливается снова, оборачивается: «Ты в порядке?». Но не замедляет ход.

Я беспокоюсь за отца: я-то в санках, а он — ногами в реку! Он молча идет дальше, уходя местами в воду вновь, таща меня за собой: по-другому не проехать, по берегам — валуны, сугробы.

В доме нас ждет мама, затопленная печь. Отец долго сушит унты, шерстяные носки, мою шубенку, валенки...

Думая теперь про отца, я понимаю, что не все пропало, не все истлело, нет. Что-то сохранилось, не разорвалось. Что-то важное осталось цело.

Вспоминаю его:

— Хочешь на Таштыг съездить?

И его придуманный повод для меня, для взрослого сына.

Только в Петербурге благодарю его за поездку. За заботу, за внимание. Хорошо, что поехали. Спасибо, папа.

25

Сегодня утром собрался в магазин. Перед выходом, шнуруя обувь, за дверью услышал соседей №2 — они переговаривались и гремели коляской.

Я замер, большой, в шапке и шарфе, посреди прихожей — в зеркале тот же вопрошающий взгляд.

Но знал уже, что сделаю. Независимо от следующего шага.

Щелкнул ключами в скважине, отворил осторожно дверь. Они не ожидали, они сами замерли.

Вытиснулся из квартиры.

— Здравствуйте! — обратился первый, приветливо.

Девушка улыбнулась:

— Здравствуйте.

И парень за ней.

Малыш что-то пискнул в коляске.

— Я тут, ничего? — неловко, осторожно, пробираясь через них: до этого всегда молчал.

— Да, все хорошо.

Прошагал к двери тамбура, отворил.

— Не закрывать?

— Нет, не закрывайте.

Я нажал кнопку лифта.

Атмосфера была разряженной. Разбежаться даже не в охотку — ну, где вы, ребята?

Вышел сосед — мы встретились взглядами.

— Меня Серёжа зовут, кстати, — я протянул руку.

— Артём, — он пожал, опешивший и сбросивший груз сразу. — Да, а то не знакомы даже...

Мы потоптались.

— Мальчишка? — спросил я долгожданное.

— Мужик! — расплылся он.

— Ага, — кивнул я, понимающе.

И пробубнил:

— У меня, вот, тоже... мальчик.

Но Артём не услышал: появилась жена, он обернулся к ней, перехватил коляску.

— Не мешает, не сильно кричит? — спросил Артём.

И его, и ее, верно, волновало — не тревожат ли они соседей: у каждого свое важное.

— Не особенно, — успокоил я.

— А то он у нас крикун такой.

Открылся лифт — один из двух, тесный — не вместить коляску.

— Ну, — я пожал плечами.

— Да, а мы тот... — они тоже пожали плечами, остались дожидаться просторного грузового.

Ехал вниз и звенел внутри. И смотрел в зеркало лифта, улыбаясь себе, смеясь. Ни о чем не вопрошая.

В этот же день, вечером, встретил их снова, на улице, шли с коляской — прогулка перед сном. Я в парк отправился: болезнь отступала, сила возвращалась, двигаться хотелось, только не сидеть. Кивнули друг другу легко.

Никогда прежде не встречал их за день два раза.

Владимир Козлов

Остановись, живи

* * *

Существуют ли
боговдохновенные верлибры?
или кривая, задыхающаяся речь —
каинова печать?
знак вырождения?
службы уже не гармонии,
а её безобразному антиподу?
точно не знаю, но я
далёк от мысли о том,
что вырождение нас не коснулось,
как и от ощущения, что эти речи —
наибольшее из того, на что я способен,
нет, скорее —
это то самое хоть что-то:
собрание того, что рассыпалось, —
просто ищешь очередной осколок
разбившегося человека
и нанизываешь, чтобы снова не потерялся, —
так может ли быть этот труд
чернорабочего, нищего духом
вдохновлён небесами? —
только на то и надежда.

Козлов Владимир Иванович — поэт, критик, литературовед. Родился в 1980 году в г.Дятьково Брянской области. Окончил филологический факультет Ростовского государственного университета, доктор филологических наук. Автор сборников стихов «Городу и лесу» (Ростов-на-Дону, 2005), «Самостояние» (М., 2012), «Опыты на себе» (М., 2015) и литературоведческой книги «Русская элегия неканонического периода» (М., 2013). Главный редактор журналов «Эксперт Юг» и «Prosodia». В «ДН» печатается впервые. Живет в г. Ростов-на-Дону.

Смешанный лес

Старик и не был вовсе стариком,
когда на площадях, пригодных под картофель,
он посадил деревья, первые деревья —
и положил себе на каждый юбилей
и на особенный приятный повод
сажать дубок, ольху, орешник,
чего ещё потребует душа,
а та действительно просила,
просила: медленней, ещё, ещё,
в темпе флегматичной древесины,
остановись, живи, как будто
десятилетие, а может быть, и век
пройдёт до следующего шага,
покуда ж удовлетворимся
и миллиметрами прироста даже,
да что! — самым стояньем враскоряку,
недвижные изгибы — тоже труд...
кто мог его понять тогда,
когда, как порох, выгорали души,
и мы не знали, как закончим день,
закончим ли...

и он теперь старик,
и я уже седой, что, в общем, странно,
поскольку я давно не должен бы быть жив,
и смешанный искусный лес
шумит на все лады —
и я как будто голый.

Внутри любви

Тесно в её любви,
не знаешь, как повернуться,
чтобы не поломать там всё,
хрупкое, нервное —
что она может видеть
в узкую эту щель
своего великого чувства?
которую часть меня?
лучшую или так себе? —
впрочем, обе
говорят обо мне примерно одно:
ничего —
потому что если в капле океана
плещется весь океан,
то в любом обрубке человека
человеческого — ноль,
и мне остаётся завидовать
собственной детали,
поскольку она любима,
а я нелюбим.

Просторно в её любви —
заливные луга, на которых
силу нагуливать жеребцу,
огромный дом, в котором
предметы обихода
на пять размеров больше
топчущейся в дверях,
стесняющейся души, —
а ещё там течёт река,
и даже когда, после жаркой любви,
после месяцев жаркой любви
на минуту уходишь в самый глухой
уголок соснового леса,
и мысль устремляется вдруг поверх
высоких северных крон,
тогда и в самых значительных точках
я не пересекаю границы,
за которой кончаешься ты,
и мне страшно,
что я проскочу свое «я»,
как нужную остановку.

Поцелуй

Всё было, но — не про тебя:
книги, кино и байки,
все эти приключения,
из которых выходишь
таким же, каким вошёл,
но ещё более вооружённым,
хотя вооружение уже отвоевало
львиную долю приватной жизни —

а поцелуй вот оказался про тебя:
мгновенно прочитав свою судьбу,
ты вдруг совпал с собой, и дальше
всё будет по-другому, дальше
все книги, фильмы, клипы, анекдоты,
все новости, открытия учёных, их пробелы,
всё будет про тебя, всё будет продолжением
начатого однажды акта жизни.

Сергей Рязанцев

Кочевники проспекта Возрождения

Повесть

1

Они слушали группу «Muse» под флагом «Манчестер Юнайтед». Они пили безымянную водку с черной этикеткой. Красный дьявол с трезубцем занимал весь потолок, углы потолка были залиты черным цветом. Юра старался и наложил на себя епитимью на все время рисования, то есть не бухал. Зато потом...

Потом их становилось три, четыре, пять и тому подобное. Пришел Джонни, худой, болезненный, он очень хотел придать лицу суровое выражение. Он полагал себя отпрыском римских всадников. Но постоянно, до скрежета ребер, кашлял. И образ крошился с этим кашлем. Джонни привел аморфную пингвинеллу с большой грудью и попросил разрешения увести ее в ту комнату, где зимой жила Афанасиева бабка. Тихо и скромно жила, надо заметить. Весной ее отвезли назад — к виноградным кущам.

Пока Джонни надсадно ворковал по соседству, остальные смотрели кино. Пошли за кассетой в прокат, привели прокатчика. Так и сидели. Прокатчик знал много историй про музыкантов. Он общался с Кинчевым еще тогда, когда про него мало кто слышал. А прокатчик слышал. Слышал и видел, как юный Константин бил по столу кулаком и говорил, что станет рок-звездой. И все хихикали, как будто разом прикоснулись к чему-то значительному.

Балкон хранил запасы макарон и маринованных помидоров, и, разумеется, лука, куда без него. Можно было днями не выходить из комнаты, как говорил классик. Афанасий знал много рецептов макарон, но всем понравился один, с соусом из паприки. Мука обжаривалась с паприкой. Вот и весь рецепт. Под такую пасту водка имени Веселого Роджера не шла. Шли исключительно два благородных напитка. Это вино «карбидное» и вино «резиновое». Первое было белым, второе — красным. И оба вида продавались в ларьке у подъезда. Почему они так назывались? Вероятно, потому что производились из сортов винограда с устойчивым запахом карбида и резины.

Рязанцев Сергей Андреевич родился в 1982 г. в небольшом молдавском городе Калараше. Автор поэтических книг «Многоточия» (2002) и «Стихи. Я» (2006). В 2005 г. окончил отделение журналистики гуманитарного факультета Славянского университета в Кишинёве. HR-специалист, работал в информагентстве, возглавлял телекомпанию «NIT». Подборка рассказов вошла в длинный список «Русской премии» (2015). Живет в Кишинёве. В «ДН» публикуется впервые.

Потом эти гурманы и ценители всего неподдельного опять слушали «Muse» или смотрели концерт «REM», Федя принес флейту и играл что-то похожее на саундтрек к фильмам про шао-линей, и каждый пробовал выдуть хоть какую-нибудь ноту. Коля вернулся из Болгарии, он говорил, что избивал в общежитии университета студентов и трахал студенток, хотя, судя по виду Коли, могло быть и наоборот. И он тоже пытался что-то исполнить на флейте, но звук выходил, как из раковины, забитой кофейной гущей. Джонни проводил пингвинеллу домой и вернулся, чтобы сварить в ведре испачканные простыни.

— Ты должен быть мне благодарен не только за предоставленное место для своих судорожных утех, но и за то, что я приучаю тебя к порядку, — говорил ему Афанасий. — А где тебя еще приучат к порядку? Ты же в армию не пойдешь. И не только потому, что тщедушен и рефлексивен, а потому что ты из римских всадников, а они в армию не ходят. Для них там коней нет.

— Прости меня, — отвечал Джонни, помешивая поварешкой белье.

А потом принес гитару Фомичёв. Кто такой Фомичёв? Как он там очутился? Кого это теперь волнует? Маленький провинциальный человек, поначалу напуганный размахом и распушенностью. И так быстро влился в среду и растворился в ней.

— Хотите, я за гитарой съезжу?

— Что значит «хотим», юный натуралист? — отвечал Афанасий. — Мы с тобой вместе поедем.

И ехали. Троллейбус объявлял ночное захоlustье электрическим голосом:

— Проспект Возрождения.

— Проспект Независимости.

— Улица великого классика нашей поэзии.

— Друзья, мы едем по музею, — покачивался Афанасий напротив грязного расцарапанного окна. — В эту минуту вы должны быть преисполнены достоинства и величия. Джонни, расправь плечи, представь, что император Траян или его верный центурион опылил тебя своим светом.

— Антуан, — обращался он к Фомичёву. — Ты чувствуешь, что ты едешь в данную минуту вдоль Возрождения? Ты слышишь голос Петрарки?

— Я слышу, Афанасий, как в тебе говорит благородный карбид.

У них были серьезные лица. Эти лица смотрели на свои отражения. И когда Афанасий моргал неподвижным искусственным глазом, они начинали смеяться. Даже Джонни, уж на что он был суров и до чего серьезно относился к национальному возрождению, а сдержаться не мог. Смеялся и кашлял.

Ехали за гитарой, а приехали в «Жёлтую подводную лодку». Это был прекрасный декаданс. Молодая группа, что-то вроде «Тихого омута», пела песни про чертей, которые в ней водились.

— Я им тарелки новые одолжил, как своим, а они их исколошматили в жопу. Я смотрю, как малахольный по ним колотит, а у меня сердце кровью обливается. Как будто это он меня по почкам бьет, — жаловался Фомичёву барабанщик Вася. Они вместе играли в группе «Карфаген».

В «Лодке» раскачивался разный удалой молодняк. Выступать можно было кому угодно, только инструменты приноси, называй свой стиль хоть рокабили-панк и беги, пой про этот чахлый мир, где нет места твоим светлым страданиям.

— Такие дела, ребята, у этой официантки в кедах самая лучшая попа, маленькая и приветливая, а ее раскосые глазки — это же морок и порок, порок и морок, — философствовал Афанасий под вопли из «Омута».

— Ну, не знаю, своеобразная она, — осмелев, отвечал Фомичёв.

— Антуан, ты пейзажист с закатанными рукавами, ты приехал из своей брутальной провинции и не ведаешь прекрасного. Я знаю, тебе такую надо, чтобы гвозди задницей из стены таскала, чтобы боком прижала и грудью накрыла. Но ничего, скоро это пройдет.

Но ничего не проходило. Какая-то тоска грызла Фомичёва изнутри. Он все ждал чего-то невероятного, радостного, ошеломительного, ждал все свои девятнадцать лет. Ну, не напрасно же он родился в этом краю кукурузы и солнца. Кукурузная карма — золотого цвета, правда ведь?

— Меня хотели гопники налысо постричь, а мне насрать, я уезжаю в Вадул-луй-Водэ-бич, — пела песенку группа «Пуканось».

— А я их знаю, это мои друзья, — хвастала Танечка, беря без спросу чужое пиво.

Танечка была девочка общительная, она все время одалживала книги, вворачивала иной раз что-то типа «а Павич вторичен к Борхесу», заводила знакомства в богеме и в средствах массовой информации.

— Танечка, тебе нужен здоровый, сильный кретин, ты будешь разогревать ему мамин суп с клецками, — говорил ей Афанасий. — И не трогай, пожалуйста, чужое пиво, у нас с тобой все равно ничего не получится.

Танечка улыбалась, хлопала глазами и оставалась ночевать у Афанасия.

А ехали за гитарой. А привезли гетеру. Ночью Таня подползала к Коле и спрашивала, правду ли он говорил про болгарских студентов, и гладила его бицепс.

И опять они сидели на кухне, и холодные макароны казались вкуснее горячих, и как много было вокруг весны.

Фомичёв проходил к телефону и среди ночи звонил. Сначала себе домой. В комнату, похожую на кокон. Он знал, что никто ему не ответит, но надеялся.

— Ну хорошо, пусть не радостное, но пусть грандиозное, мистическое, достойное моих мечтаний, — говорил он себе.

— А представь, что тебе ответит мужчина и хриплым, строгим голосом скажет, что нет тут такого и не было никогда, — задумчиво произносил Афанасий.

Тогда Фомичёв звонил девушке с черными блестящими волосами, которая, щуря черные глаза, курила во дворе института. Все вокруг смеялись, а она была серьезна и смотрела куда-то мимо всей этой неформальной шпаны. Такие, как она, молчаливые, с прищуром, с обреченностью в глазах — это был бич Фомичёва, вечные его наказание и беда. Он полагал, что тайна, которую хранит их молчание, больше него и Вселенной. Дурак, одним словом.

— Алле.

Ну что это за голос такой? Ну как будто специально, почему в нем столько завораживающей печали? В обычном «алле» столько завораживающей красоты, прекрасной ворожбы. Серена, Ариадна, Андромаха, вспоминал судорожно Фомичёв, а вслух говорил совсем другое:

— Привет, это идиот, который на тебя все время тарашится во дворе, а подойти не смеет, я даже курить начал из-за этого.

И дебильный смешок, и переходы в тональностях на каждом слоге, и воздуха в легких нет совсем. Ну, ничего, сейчас разговоримся и будет проще.

— Какой идиот?

— Со второго курса, у нас культурология общая.

— Слушай, поздно вообще-то, если надо чего-то, подойдешь, поговорим.

— Я бы с радостью, только неудобно как-то навязываться.

— Ну, ты настройся, соберись и подойди.

Пауза.

— Может, это некстати, но я спала...

— Э-э-э. Ты извини тогда. Только последний вопрос.

— Говори.

— Почему у тебя глаза такие грустные?

Фомичёв был исключительный идиот, он это прекрасно знал, он был в этом деле эрудит. Почему такие грустные глаза? Нормальный человек скажет такое?

— Начнем с того, — наставлял Афанасий, — что если нормальному человеку кто-то нравится, он подходит и говорит: привет, как дела, приходи в гости, будем пить вино и слушать «Smashing Pumpkins». Этим предложением ты сразу расставишь приоритеты. И только потом ты можешь говорить про ее глаза, волосы и задницу.

— Не парься, пойдем завтра в «Слон», там телки-панки без поэзии дают, — помогал другу Федя.

— Страшные и немытые, — успокаивал Афанасий.

— Тогда я за гитарой поехал. Троллейбус еще ходит.

И снова они отправлялись вместе.

— Я с вами, я с вами, — кричала Танечка, надевая кофту на бегу.

— Иди справа от меня, — говорил Афанасий Фомичёву, — я левым глазом не вижу. А ты, — говорил он Танечке, — иди слева, мне тебя видеть не надо.

Троллейбусы, разумеется, уже не ходили. Они шли пешком по тому, что называется бульваром, по ночному проспекту, мимо сонных бетонных блоков, мимо пустырей, ныряя во дворы и выныривая где-то у теплоцентрали, они шли под ветром, втягивая головы в воротники курток.

— Хер с ней, с гитарой, — сдавался Федя первым, — пошли ко мне, ко мне ближе.

— Так бы сразу и предложил, — хвалил Афанасий.

Но к Феде вдруг приехала мать, и к тому же умирала собака, маленький белый пудель. Он едва ходил, в комнате стоял жуткий дух, не обещавший ничего хорошего ни собаке, ни нам.

Когда они возвращались, в подъезде их встречал блеск суровых зеленых глаз. Это был Джонни, он привел еще одного из гордого рода клавдиев ниспоренских.

— Афанасий, это Оникс, его выгнали родители, можно он у тебя поживет? Я травы принес, покурим.

Но Афанасий проходил мимо, как будто не слышал этого жалобного стона. Как проходят мимо мокрых дворовых собак.

— Он шизанулся, — бурчал Афанасий.

— Так, Джонни, вместе с Ониксом можете поспать на табуретке до утра, — говорил он, не оборачиваясь. — Но сначала принесите водки. Я ваше говно курить не буду.

И снова, как на облупленных пластмассовых лошадках, они пускались по этому кругу. Седьмому, восьмому, девятому. И незаметно наступала очередная ночь. И этот флаг «Манчестер Юнайтед», и Афанасий, превратившийся в жука.

— Кафка и Рой Кин — единственные, кто может примирить меня с реальностью и вами, мои случайные попутчики, — говорил Афанасий.

— Афанасий, купи принтеры, — говорил ему Джонни.

— Зачем? У меня нет компьютера.

— А ты возьми семь штук, это большой оборот, — резонно замечал Джонни.

Они все мечтали получить миллион, не опускаясь до откровенного бандитизма.

Каким-нибудь таким образом, чтобы не сидеть в тюрьме. В конце концов Афанасий на этом прогорел. И только Фомичёв не хотел миллиона, он экономил присланные родителями деньги, питался кабачковой икрой и хотел девушку с томным отчаянием в глазах.

Вот что он тогда успел записать (дневник был найден на антресолях покупателями его клоповника и ими же обменян в издательстве «Днестровский буревестник» на годовой абонемент одноименного журнала).

«Это была середина апреля. После стужи и слякоти, непрекращающейся простуды и вечно мокрых ботинок весна стала долгожданной наградой одичавшему организму. Солнце было ненавязчиво теплым. Взгляд, привыкший ко всему бледному и чахлому, отчаянно тонул в зелени каштанов. В свитере уже было жарко, в рубашке — еще прохладно. Компромисса не нашлось. Приходилось париться в свитере.

Первой ожила дорожная пыль. Чем дальше я уходил от дома, тем жарче было в свитере и больше пыли оказывалось на моих рыжих туфлях. Блеск на них беспомощно увядал. С ним исчезала вера в себя. Я обратил внимание, что на свитере появились новые растяжки, а брюки из черных стали какими-то серыми. И руки все время казались грязными, даже если их мыть через каждые десять минут. Что я мог поделать? Это было время пыли.

Тогда я никуда не торопился. Потому что знал: все сделали, сказали, придумали до меня куда более талантливые, мудрые и остроумные люди. Я не напрягал себя честолюбивыми планами. Ходил, ездил, перемещался по одному и тому же маршруту сквозь неизменные пейзажи. И был этим доволен.

Это было время учебы, время длинных, как стебельки, сигарет, время ярко и безвкусно одетых девушек. Обтянутые нейлоном ляжки, молочные декольте, жирные алые губы, от которых пахло сливочным маслом — такими я запомнил свои первые лекции. Чем безкусней одевались барышни, тем больше нравились. Слова только расходовали силы. И я их берег.

Для одной единственной. Знойной. В ту жаркую и пыльную пору ей больше всего подходило именно это определение. В смутном воздухе я узнавал только ее силуэт. Помню, она всегда пахла каким-то хвойным шампунем. Этот запах перебивал все вокруг, даже запах бутербродов с докторской колбасой. Хотя, признаюсь, в ту пору к еде я относился гораздо спокойней. Да что там еда — я был непривередлив во всем. Мне казалось, что я живу в счастливое время.

Это было ее время. Это ее засыпал я листьями своих переживаний. Правда, поначалу в мучительно сдержанном тоне. Это ее хотелось просто схватить и съесть. А я цитировал японских поэтов. Потом самого себя. Когда не хватало литературы, рассказывал анекдоты.

Пока было терпение, я пытался показать, что мой выбор огромен и я в нем свободен до бесконечности. Что, пока есть зрение, в пестрой толпе белорудых весенних горлиц можно разглядеть еще много вариантов. «Ну и наплевать», — отвечали на этот маневр удаляющиеся в туман ягодицы в изумрудных стрейчевых брюках.

И терпение заканчивалось. Я понимал, что из десятков подкопов с разных сторон один обязательно должен вывести к заветной двери. Приходилось быть горделивым и заискивающим, брызгать шутками и вдруг становиться таинственно молчаливым, представлять умным и начитанным, а если надо и парнем попроще. В общем, я вел себя как форменный придурок.

Шли дни. Я остывал. И тут неожиданно оживала она. Как в сказке про журавля

и аиста, или цаплю, или кто там еще у них в болотах водится. Оживала ненадолго. Но этого хватало, чтобы с новым энтузиазмом броситься скидывать с души исподнее.

— Идемте, милая, нынче вечером гулять по парку? Я вам покажу, в какие сказочные дали могут завести весенние тропы... Слышите, как весело и неловко поет невидимая птица? Она похожа на меня. Вам не кажется, миледи? Здесь так хорошо и тихо. Зачем терять понапрасну время?

Так мы гуляли до самого рассвета. А потом вновь расходились на месяц.

Так бы, наверное, продолжалось вечно. Пока все самым естественным образом не прекратилось совсем. Белая «Ауди», похожая на лайнер, стала привозить и отвозить зеленоглазую зазнобу. Когда рычал мотор белой бестии, казалось, это рвутся клапаны моего изнуренного сердца, а когда коротко стриженный владелец авто зазывно сигналил, мне казалось, это звенят бубенцы лихой тройки. Я мучительно и сладостно страдал. И готов был, не раздумывая, променять стихосложение и грамоты по настольному теннису на что-то подобное, пусть не «Ауди», но обязательно белое. Однако обстоятельства были не те.

Да, пожалуй, это было время любви.

Как хорошо, что оно так быстро и безвозвратно ушло».

Но лукавил Фомичёв. Ничего не проходило. Вернее, одно проходило, и наступало другое.

Фомичёв устроил чтения. На чтения в институтскую библиотеку пришли пять человек. Зрелище тоскливое, что уж тут говорить. У одной волосы были светлым хвостом собраны назад, когда она ходила, как будто белая крылатая лошадка отмахивалась от бабочек. Глаза — лазоревые, как в песне, из самого синего льда. Что она там делала? Зачем она пришла?

Степан Васильевич любил повторять:

— Ищите сильного соперника, он укажет вам путь к золоту.

Если бы он видел Фомичёва тогда, в читальном зале библиотеки, он прогнал бы его из спортивной школы гораздо раньше. Это общий принцип: соперников надо искать сильных, женщин — роковых, с небесной лазурью в жемчужных раковинах век.

Но Фомичёв ограничился Натали. Она ждала его на следующий день во дворе, и лирически настроенный Фомичёв утонул в ее декольте. Вся его элегическая натура накатила, чтобы разбиться о белые утесы. И лагуна меж ними, и кулон, как солнышко, блестит над этими сказочными тропиками. Натали знала, чем можно взять лирического юношу. Надо приковать внимание к своей груди, а потом сказать, какой он гениальный.

Она встретила его в туфлях на каблуках. Попросила купить водки.

«Как это странно, какая романтическая особа, пьет не запивая», — думал про себя Фомичёв, сам закусывая сигаретным дымом.

Натали принялась напористо читать свои стихи, и Фомичёв вдруг осознал, что транспорт уже не ходит, и бежать некуда. Она прижала его к балкону, он успел глянуть вниз, с четвертого этажа можно было допрыгнуть только до тополя. Фомичёв выпил еще и сдался.

Она долго не снимала туфли. И зачем-то набрала в рот воды, и стала поливать ему живот. Фомичёв смотрел в потолок и не мог поверить, что это происходит с ним. Он как будто выбрался из собственного тела и, поглядев вниз, пожалел себя.

Что делаешь ты, Фомичёв? Куда идешь? Ты посмотри, она еще в туфлях, а на тебе уже ничего. Ты быстро сдаешься, ты плывешь по течению. Как же ты сможешь

противостоять всему остальному, если тут с тобой такое происходит? Несчастный, несчастный Фомичёв.

— Антуан, купи принтеры, — просил Джонни.

— Джонни, что мне ими делать? — спрашивал Фомичёв.

— Ты неправильные вопросы задаешь, — пояснял Афанасий. — Никого не волнует, что ты будешь ими делать. Поверь, когда ты что-то покупаешь, всем наплевать, что ты придумаешь такое с баклажаном или принтером. Рынок строится на том, что это тебе нужно всегда. Что без этого ты не будешь лучше, счастливее, полноценнее. Поэтому ты должен спросить: стану ли я другим человеком, Джонни, если куплю у тебя принтер?

— Джонни, я стану другим человеком, если куплю у тебя принтер?

— Безусловно, — говорил Джонни, и взгляд его холодных зеленых глаз становился еще строже и внимательнее.

— То есть я его куплю и продам дороже, а потом еще раз куплю и продам дороже, а потом внесу разнообразие и куплю факсы, сканеры, буду покупать и продавать, у меня появится белая «Ауди», я превращу принтеры в деньги, деньги во власть, стану депутатом, министром, начальником клана, буду мокрыми трусами гонять сутенеров по саунам, буду выступать в программе, и воротник станет душить мой третий подбородок, но я всегда буду помнить, что все это началось с принтера, который купил у тебя, Джонни.

— Это только один из вариантов, а принтеров семь, — замечал хладнокровно Джонни.

Спустя час или день они все же добрались до Фомичёвской квартиры.

Они включили свет и очутились в прихожей, совмещенной с кухней. По столешнице к раковине побежал бурый таракан. Он слетел по эмалированной горке и утонул в темном канализационном жерле.

«Сволочи, — вероятно подумал таракан. — Ни жратвы, ни уединения».

— Мда, мелкогато, — заметил Афанасий, оглядывая клетушку.

— Для разнообразия можно, — поддержал Федя.

— Для разнообразия, кто бы говорил, ты с мамой и пуделем живешь, — сказал Афанасий.

Танечка стала суесться по шкафам, точнее, по шкафу, глянцевого криволапому верзиле с отваливающимися задвижками. Танечка искала стаканы и фломастеры.

— Давай у тебя на стенах что-нибудь напишем, пожелание какое-нибудь, в духе Кафки, — вздохнула Танечка.

— Я об этом не думал как-то, — вяло запротестовал Фомичёв.

— Ты же неформал, Антуан, она тоже неформалка, вам обоим это должно нравиться, а я тебе могу на стене нарисовать гусеницу, если хочешь, — предложил Афанасий.

— Лучше не надо, мне гусеница снилась недавно. В скафандре и с американским флажком. Мне казалось, я оторвался от своей планеты, парю в бесконечности, мне холодно и одиноко, и тут эта гусеница плывет на маленьком астероиде и говорит: «Мне нужна твоя человеческая кожа».

— Ужас какой, — передернуло Федю.

— Жаль, Юры нет, он бы тебе флаг «Манчестера» нарисовал, — вздохнул Афанасий, разливая водку по чашкам (стаканов, разумеется, не было).

— Будь проще, и к тебе потянутся люди, — прочитал Федя узорчатую надпись оранжевым фломастером.

Танечка улыбалась довольной улыбкой.

— Проще? А вот хера им, Антуан, никогда не будь проще, — заявил Афанасий и, как в детском саду, отобрал фломастер у Танечки.

— Все проблемы в мире оттого, что они всё хотят попроще: книжек, музыка, человечков. Это ж с ума можно сойти: человечек говорят, хороший человечек, мой человечек, любопытный, сука, гомункул. А потом воспитывают таких, — Афанасий впихнул пораженной Танечке чашку.

Они печально размышляли о жизни, Фомичёв тихо перебирал струны расстроенной гитары, и вдруг переменчивая весенняя ночь, в которой были слышны только птички и старый эстонский холодильник, взорвалась криком и цымбалами.

В гараже напротив трущобного муравейника зажглись фонари. Мужички и их спутницы слетались, как мотыльки, на цимбалы и вино. Был какой-то повод, должен был быть: крестины, проводы в армию, какое-то значительное событие, суббота, скажем, и делать нехер, а хочется праздника.

— А ты, Антуан, одиночества боишься, — сказал Афанасий, сплевывая долго и сосредоточенно через единственное в комнате окно.

«Расскажи мне про одиночество», — подумал Фомичёв.

Слева жила странная семья: молодой чернявый работяга, молодая пучеглазая в очках с толстыми стеклами, ее мать с такими же стеклами и такими же глазами и ребенок четырех лет. Они жили по графику летучих мышей. Днем спали, а ночью по комнате начинал бегать ребенок и греметь кастрюлями, теща ругала зятя, зять лениво звенел чем-то в ответ, в хор вступала жена, а ребенок уже бил молотком в стену. Бить по стене в ответ не имело смысла. Ребенок стучал громче, у него были молоток и терпение, накопившееся за тихий, дремотный день. Фомичёв пробовал говорить с чернявым отцом семейства. Тот однажды чуть не просверлил ему голову. Начинаящий строитель вешал полку и нечаянно едва не воткнул сверло в голову Фомичёва. Когда на Фомичёва стала сыпаться штукатурка, он успел отскочить. Ну и что теперь с ним обсуждать? Ребенка Фомичёв видел издали, голый четырехлетний юноша иногда стоял на подоконнике, гулять его не пускали, и он стучал руками по стеклу.

Справа молчаливый Нику регулярно бил жену. Жена отвечала ему взаимностью, то есть убийственно орала. Орала так, будто он выпарывал ей живот ржавым лобзиком. Если брать в расчет, как часто и как надрывно она верещала, можно было предположить, что она давно умерла и теперь является к мужу мстительным привидением. Во всяком случае, Нику потом тихо курил и задумчиво смотрел на окна больницы напротив. Жена его вылезала тоже, пристраивалась сбоку и что-то похотливо ворковала. Когда их дочери-подростка не бывало дома, эти побои заканчивались смущающими Фомичёва вздохами. Такими, что не надо было прикладывать стакан к стене. Но опять же, тут, скорее, вопрос к толщине стены. Сквозь нее по утрам ураганом врывалась цыганская эстрада, помогавшая дочери Нику собираться в школу.

Сверху специалист по строительству бригадир Василий спилил в туалете вентиляционные колодцы, идущие с нижних этажей, — для расширения ванной комнаты. И чтобы болгарка без пользы не валялась, спилил кусок чугунной канализационной трубы, заменив ее на пластмассовую. От неработающей вентиляции Фомичёву доставались конденсат и плесень, а треснувшая канализационная труба сочилась с потолка отходами Васильевой жизнедеятельности.

Слева внизу девочка-дебилка жила с таксистами, которые подарили ей караоке. Другие соседи были не согласны с таксистами в отношении ее вокальных данных и мечтали ее побить.

Так, примерно, жил Фомичёв. Телевизор показывал три канала. То есть как показывал: длинный кабель шел через всю комнату и, как плющ, цеплялся оголенным проводом за карниз. Это была антенна. Два из трех каналов включали вечерами лотерейные шоу. Часа на четыре. В гараже верещали сивые бабы, дурочка снизу стонала что-то про императрицу, справа Нику то бил, то утешал жену.

Расскажи, Афанасий, про одиночество.

Да, может быть, у многих домов, особенно бывших общаг, есть подобные истории. Их возводили для рабочей молодежи. Рабочая молодежь приезжала сюда из самых отдаленных уголков, она несла сюда свои традиции и привычки. Оседала. Устраивалась на двадцати квадратных метрах с маленькой кухней и самодельным туалетом, отгораживалась картонными дверями, в длинном коридоре появлялись купе на две квартиры, квартиры соединяли, за окном на сваях строили еще десять квадратных метров, вперед, вбок, назад. Наверняка, если бы их заставили жить в коробке из-под холодильника, они и там нашли бы себе место для комфорта и пристройки.

Потом молодежь обзаводилась детьми, старела, разводилась, их дети вырастали и ничего не хотели. Они просили отстать и не мешать жить.

— Свобода, маманя! — кричал беззубый Миша, украшенный, как ветрянкой, бледными татухами.

Да, наступило время свободы. Время, в котором для рабочей молодежи не было места. Что уж говорить о ее детях.

Валерик таскал из чужих подвалов закатки, Мишаня торговал старой одеждой и всякой дрянью на барахолке, Славик числился где-то сантехником. Они жили со старыми матерями. И все эти матери пережили своих сыновей. Валерика выкинули с поезда по дороге из Москвы, куда он попробовал податься на заработки. Славик траванулся водкой и умер в беседке с дырявой крышей, его нашли замечательным летним утром: пели птички, тополь мягко шелестел, и казалось, что Славик, как это уже бывало, просто прилег отдохнуть на лавочку. Мишаня сделал проще всех — он повесился.

— Нормально тебя покоцали, — сказал Мишаня, разглядывая шрамы на груди Афанасия.

Они стояли на лестничной площадке и курили. Афанасию вдруг стало жарко и тесно. Он снял майку. По правой стороне груди, длиною в ладонь, шел широкий бледный рубец. Его происхождение, как и происхождение других отметин на руках и животе, Афанасий не объяснял. Вернее, рассказывал, но как-то туманно — то ли в драке, то ли сам себя. Из-за любви. Ну, какая любовь, Афанасий, ну что ты такое говоришь?

— Я ранимая натура, — улыбался Афанасий, — меня бросили, а я на это три года потратил.

Афанасий дал Мишане закурить. Мишаня прикрыл глаза и отвалился к облупленной стене.

— Нормально. Жить можно, — сказал Мишаня. — А вы говорите, — добавил зачем-то.

А затем зачем-то повесился. Говорят, от белой горячки. Хотя какая она после этого белая.

Танечка закончила писать на стене. Накрасила губы и поцеловала обои.

— Идем в длинный путь, — сказал Афанасий. — Стоять на месте нельзя. Только идти вперед. Или лететь вверх.

Они взяли гитару и пошли.

Они шли по городу. По тому, что называли цветком из камня. Цветок опадал ржавыми лепестками. Он обрастал ларьками и лотками, палатками и палацио. Палацио нависали над долинами, в палатках бородатые студенты варили клей. Завтра тут будет играть раздирающая душу музыка, оратор будет менять микрофон на мегафон, мегафон на общий вопль.

— Не смотрите в ту сторону, — предупреждал Афанасий. — Превратитесь в телеграфный столб, и на него повесят матюгальник.

— Тут национальное собрание, рациональное собрание, родительское собрание, собрание сочинений, — перебирал варианты Федя.

— Вы ничего не знаете, это последователи... — начала Танечка.

— Последователи нахер. Отсюда. Скорее. Стынет водка с черной этикеткой, играет «Muse» под черным потолком, — торопил Афанасий.

Они шли, петляя, заходя в один двор и выходя в другом, они шли по тому, что называли проспектами, бульварами, аллеями. Мимо возрождения и достояния, независимости и прогресса — всего того, чего коснулся костный мозг местных топонимистов.

О, улицы! Улицы безликие. Но с названиями. Теми, которые вы безропотно принимаете. Как будто вам все равно. А ведь остальным нет. Это ведь такая замечательная забава, в которой тертая карта раз за разом выпадает из меченой колоды. Они, эти милые каталы и гоблины, когда не будет хлеба, всегда будут играть в названия.

Они шли. Темные пятиэтажки бесстыдно выпячивали пристройки, как шишками, обрастали пластмассовыми мансардами, все вокруг торопило скорее вернуться к тому, с чего все начиналось. И зацветет ковыль, и в камышах совсем затеряется река, и все будет так, как должно быть.

Дома их ждал Джонни. Он все же принес принтер. На пробу. Оникс держал принтер, боясь поставить его на пол.

— Друзья, предлагаю каждому вступить в наш кооператив, в общий бизнес, — заговорил медленно, облизывая губы, уже раскуренный по третьему разу Джонни.

— Не надо покупать все семь принтеров. Каждый возьмет по одному. Вы ведь знаете нашу великую народную легенду о том, что один человек — это пруттик, а много — это...

— Веник, — помог Афанасий.

— Спасибо, — сказал Джонни и, не меняя своего сурового выражения, продолжил: — Я теперь хочу вам продемонстрировать все лучшие качества этого устройства. Его струйность в первую очередь.

Оникс то ли от страха перед этими возможностями оборудования, то ли от усталости все же аккуратно поставил принтер на пол.

— Доставай гитару, Антуан, будем петь про балканских братьев, — приказал Афанасий и, обойдя Джонни вместе с принтером, повел делегатов бесконечной ночи на кухню.

Играть Фомичёв научился недавно. И первое, что он сделал, освоив пять аккордов, это написал песню. Песня была посвящена сербам и бомбежке Югославии. Композиция была надрывная, исполнялась утробным голосом.

— Спят братушечки мои, — пел Фомичёв.

И из всей песни, из всего, что пел Фомичёв вообще, Афанасию и остальным нравились именно эти три слова.

Может быть, Фомичёву повезло со слушателями. А может быть, они тайком смеялись над ним, пока он пел. Он этого не видел, он закрывал глаза и уносился вслед за си-бемолем куда-то в вентиляционное кухонное окошко — к ошалелым соседям. Но даже если это так, если эти люди, эти выпавшие из кармана Вселенной попутчики, думали иначе, разве можно было их судить? Нет, это место не для суда, это место единения одиноких. Тем более, что песни в исполнении Фомичёва действительно звучали так, как будто авторы сочиняли их исключительно для наказания рода человеческого.

Дослушавшему песню группы «Кино» Джонни хватило такта предложить Фомичёву три таблетки транквилизатора.

— Возьми, Ониксу помогает, — сказал Джонни, внимательно заглядывая в глаза.

Оникс сидел, обхватив голову руками. Ониксу было 25 лет, и он был девственник. И это стало первым качеством, по которому его определяли в кругу знакомых. Типа, Оникс, странный такой, не знал женщины, а, да, помню. Неизвестно даже, тяготился ли он этим. Зато известно, что он влюбился в женщину на восемь лет старше себя и пообещал на ней жениться, когда она забеременела от другого. Оникс бегал за продуктами, выносил ей мусор, стоял в очереди на УЗИ.

Но сегодня у него был выходной, он пришел с Джонни и принтером, выпил три таблетки и карбидного вина.

— А кто вам сказал, что это неправильно? — вдруг сказал Оникс. И это было первое, что он сказал в эту бесконечную ночь.

Никто даже не спросил его, что неправильно, Оникс, что случилось, странный наш приятель, кто тебя обидел, кому бить морду за тебя, невинный наш серафим.

— А кто из нас на палубе большой... — решил помочь Фомичёв.

Но Оникс его оборвал, он стукнул хилым кулачком, мотнул безвольной головой и начал плакать.

— Ну и правильно, — успокоил Афанасий. — Слезы мужчины — соль земли.

Все потупились в драный линолеум и представили землю, представили, как из нее вырастает большое зеленое дерево, вероятно, орешник, и заполняет собой кухню, холодную бетонную девятиэтажку, угрюмые выселки.

Фомичёв отправлялся звонить. Ему было спокойно и хорошо. Слишком спокойно и слишком хорошо. Он тянул слова.

— Здравствуй, я тебе надоел, — медленно жевал Фомичёв.

На той стороне раз в тысячу быстрее ему отвечали гудки. Три длинных. Три коротких. Три длинных. Три коротких.

Он слушал и пытался расслышать в них слова: «да», или «конечно», или «вечером», «завтра вечером».

— Конечно, встретимся, я помню тебя, я делала вид, что смотрю наверх, но это ерунда, что там нового, я смотрела на тебя. Немного. Но достаточно, чтобы хорошо запомнить.

Он все это слышал в гудках. Три длинных. Три коротких.

— Это нормально, Антуан, люди желают страданий. Они выбирают управлять собой уродов и влюбляются в неподходящих женщин. Скажи спасибо, что не наоборот, — говорил Афанасий.

— Посмотри на Колю, — предлагал Афанасий.

Коля, тот что учился в Болгарии и избил половину местного студенчества, доедал последние макароны. Танечка спала на его плече.

— Коля вчера утром в очередной раз решил, что единственный человек, достойный к нему прикасаться — это он сам.

Коля подтвердил кивком головы, одновременно всасывая бледные холодные макаронины. Танечка продолжала спать. Или притворялась, чтобы не менять своего положения под боком Коли.

— В общем, включил телек, по телеку клип, — пояснил герой рассказа. — Нормальная девица, в сапогах, каблуках, вороной конский хвост, как я люблю. И все как-то не разглядеть. То есть загадочная. Это я тоже люблю. Но перед самым финишем, крупный план, а это хер мужского рода без зубов.

— Как мило, — прошептала, не открывая глаз, Танечка.

— Переживаешь? — серьезно спросил Афанасий. — Стал задумываться о своей природе?

— Да не. В очередной раз убедился, как все зыбко в этом мире. Матрица, гребаная матрица и беззубая обезьяна.

Танечка погладила его по плечу.

— А я пишу все время письма, — признался Фомичёв. — Вернее, не пишу, а сочиняю. Особенно хорошо удастся в троллейбусе. Чехову, например, или Вольтеру. Но стоит рядом присесть какой-нибудь наяде, и все, диалог обрывается, взгляд сползает на колени, и ты уже вдыхаешь мелкими глотками запах, считаешь прикосновения, рисуешь картину. Она выходит, ты за ней. Она, не оборачиваясь, убирает прядь волос за ухо. И ты понимаешь, что она зовет тебя за собой...

— Тебе надо писать сценарии к порнофильмам, — одобрительно кивнул Афанасий.

Они пили и говорили, выпивка заканчивалась вместе с разговорами и деньгами. Джонни вяло предложил продать принтер богатым соседям Афанасия. У них была железная дверь и микроавтобус.

— Нет, Джонни, мы сделаем лучше. Мы продадим тебя косоварам, а на вырученные деньги купим еще семь принтеров, — предложил Афанасий.

Потом уходили одни, приходили другие. Музыканты, поэты, художники, в общем все, кого пригрела на своей тощей груди местная муза несчастных психопатов.

Прокатчик вернулся. Принес кассету с фильмом «Doors». Фомичёв выучил песню про виски-бар и про луну Алабамы.

— Луна Алабамы, Луна Алабамы, — пел Фомичёв, глядя в окно и гадая, чем она отличается от той желтолицей старушки, что ползла над корявым новостроем, пустырем и огородами.

Он пел и думал, что больше всего боится упустить главное. Выбрать не ту дорогу.

Федя, например, профессионально играет в бадминтон и на флейте. Если он научится писать стихи и фехтовать, он будет почти как Байрон. А если его пудель все же помрет, это может вызвать приток вдохновения и развяжет руки. Фомичёв легко представлял себе Федю в образе странствующего менестреля.

Джонни, если не продаст принтеры, то, скорее всего, женится на пингвинелле и уедет к ее родителям в Падую. В Падуде он припадет к национальным истокам, он будет таскать кирпичи и цемент, физически окрепнет, обрастет связями, приедет на автомобиле и в меркуриевых сандалиях. Он будет говорить — пронто, пронто. Или — а у вас тут совсем скучно стало. И если кому-то из старых знакомых повезет, он его узнает и, может быть, даже угостит бутылкой пива. Его будут называть Джованни, и он, в конце концов, придет к тому, к чему могли бы привести принтеры. С одной только разницей — у принтеров нет такой груди, как у пингвинеллы.

Афанасий продаст все свое наследство и пустится в авантюру. Мудрец с искусственным глазом, он всегда хотел миллион. Но не конкретный, как остальные, а абстрактный. Такой, с которым он бы не знал, что делать. Ему ведь так немного было надо.

— Афанасий, я иду. Что взять?

— Водки возьми, — говорил Афанасий.

Бабушка, улыбчивая бессовестная старуха, доставала из коробки бутылку с черной этикеткой, сдувала с нее пыль, но не благородную пыль 1968 года, а обычную, повседневную в этих краях пыль, прах умирающего города.

— Держи, дорогой, — протягивала она и поспешно запихивала дряблую купюру в фартук.

А Афанасий уже набрал воды из крана в мятую пластиковую бутылку. Из нее он будет запивать. Он расставлял шахматы и ждал, когда под небо «Манчестер Юнайтед» начнут являться гости. Федя с флейтой, Коля с Танечкой, Джонни с принтером и пингвинеллой, несчастный Оникс, Юра, художник и грузчик мебели, и еще, и еще.

Фомичёв очнулся на проспекте Возрождения. Раньше это был проспект Молодежи. Теперь Возрождения. Над ним осыпалась шелковица. Троллейбус торопился в горку и печальным лосем вскидывал рога. Троллейбус выдавливал из себя людей под весеннее солнце. Они вываливались злыми и угрюмыми с самого утра. Они проходили мимо и бросали на Фомичёва взгляды, полные печали и презрения.

Ночь закончилась. Пора было приниматься за ум. Надо было что-то начинать делать, стремиться к чему-то осязаемому. Нельзя подвести родных. Нельзя подвести грядущую свою любовь.

Фомичёв сидел на скамейке и смотрел в сторону магазина. В этом магазине ежедневно проходила выставка эпохи позднего Возрождения. Фламандский натюр-морт. У здешних пирожных был такой вид, что любой стал бы союзником Марии Антуанетты. Ну чего, действительно, людям не хватает, пусть едят пирожные. Фомичёв обычно проходил по этой галерее, уходил в угол и брал квадрат лапши. На этикетке была нарисована куриная нога. Фомичёв любил этот юмор. Он приходил к своим непуганным тараканам и говорил:

— А сегодня у нас лапша с курицей, ребята.

Он разрывал пакетики с пахнущими курицей специями и бросал в тарелку, на отмокающий в кипятке квадрат. Он включал телевизор и смотрел лотерею. Он выключал телевизор и брал книгу. И смотрел в потолок. И слушал, как танцует строитель Вася. Как стучит тяжелой поступью легкомысленная его жена. Нарисованная бабочка на старой люстре оживала и пыталась слететь.

Но сейчас Фомичёв никуда не мог уйти. Ключи от квартиры остались у Афанасия. Он сидел на проспекте Возрождения и жалел себя. Гитара уложила вихрастую голову ему на колени. Денег на троллейбус не было. Возвращаться пешком — долго. Сидеть — невозможно. Жить — страшно. Голова его плыла.

— Фомичёв-Фомичёв, куда ты катишься, Фомичёв? — спрашивал он себя и не находил ответа.

На него смотрела продавщица мороженого. Перед ней стоял холодильник, позади — суровый монолит учреждения.

«Вот кому хорошо», — облизывался Фомичёв.

А она улыбалась ему и как будто говорила:

— Съешь меня, съешь меня на счастье, на долгую и прекрасную жизнь.

Фомичёв одолжил у продавщицы деньги на билет. Оставил в залог гитару и

пообещал спеть ей что-нибудь про женское милосердие. А потом забрал у Афанасия ключи и решил больше никогда сюда не возвращаться и никого не видеть.

Так и получилось.

И где теперь они, ночные его спутники, кочующие по бескрайним просторам ночи, продавцы принтеров и римские всадники, — неизвестно. Должно быть, где-то там же до сих пор.

2

— Антоша, здравствуй. Ты не забыл, что сегодня заседание в мэрии?

Этот голос, бархатный радиальный поставленный тембр, знающий себе цену голос; он не спрашивал разрешения, он сразу влезал в голову и волновал нейроны, отвечающие за рвотный рефлекс.

Это был голос Вениамина Вениаминовича. Он — выпускающий редактор и родственник высокопоставленного члена чего-то там, где-то там. Близкий родственник. У него было много способностей и навыков. Он обладал бархатом в гортани и умел делать как паровоз. Как старенький, не нужный никому паровозик. Он бродил по кабинету, садился, делал на выдохе ту-ту-ту и начинал кликать по дисплею.

— А в 10.30 пресс-конференция у общества диабетиков, потом...

И голос его уплывал. Фомичёв отводил трубку телефона подальше. От головы. От болезненного соприкосновения этого голоса со своими трепетными нервами.

Вот до чего докатился Фомичёв. Информационное агентство. ИА. Как ослик. А он, получается, агент. Агент-ослик. Он везет телегу, в телеге новости и сообщения, молнии и громы, шок и трепет.

Министерство здравоохранения объявило информационную кампанию по борьбе с туберкулезом. Лучшие журналисты будут награждены премиями и блокнотами. Конфедерация профсоюзов «Солидарность» выразила солидарность с правительством. Общая фотография. Поцелуй взасос. Ветераны войны на Днестре берут приступом мэрию, просят бесплатное жилье. Бородатый беженец из Приднестровья продал квартиру и ходит с черным пакетом, на пакете календарь, календарь тянется до 2030 года.

Все это мешается в голове. Фомичёв пробирается параллельно солнцу в сторону мэрии. Глотает пыль. Закуривает сигарету. Поэтому идет несколько валяжно и чуть задыхаясь. Во рту вкус жженой тряпки, подкатывает легкая тошнота. В общем, все как всегда. Уже, как всегда. Будет ли когда-нибудь иначе? Будет ли иначе, Фомичёв, инертная твоя харя?

Если придет вовремя, то он сядет позади жирного затылка градоначальника и будет играть в слова с таким же сонным коллегой Вованчиком. Одно отличает их друг от друга. Вованчик сонный всегда, и ему на все наплевать. Он умеет сварганить шестнадцать новостей из одного лишь бздоха транспортного отдела, что уж говорить о бздохе целого градоначальника.

Берем длинное слово. Например, слово «придурковатость». И из него цедим по капле родной язык. Урка, вор, дура, кровать, дурак. Получается практически роман. Или блатная песня.

А если Фомичёв отключит телефон и, проклиная голос Вениамина Вениаминовича, это его тремоло и план на день, все выуженные им конференции и брифинги,

возьмет и уснет снова? Или будет лежать и смотреть в потолок? И дальше потолка, выше которого не прыгнуть.

Но потом он все равно пойдет и спросит у коллег, что было интересного. И ему скажут. В основном цифры. Заседания в мэрии носят каббалистический характер, важнее всего там цифры.

— Антоша, ну как ты мог?

Фомичёва передергивает, он входил в кабинет осторожно, чтобы проскочить. Не получилось.

На него смотрит похожая на нэцкэ, с копной наэлектризованных волос, милая пожилая женщина. Ну как пожилая. Модная, уверенная в себе, покровительница ясновидящих и экстрасенсов, травматологов и психиатров, музыкантов и других деятелей постмодернизма. Главный редактор.

— Как ты мог? Начать так хорошо и кончить какашкой? — возмущается она.

Фомичёв холодеет. Хищные морды коллег ощерились в злорадных усмешках. Что он такого сделал? Где опять напортачил? Фомичёв, Фомичёв, ну что ты такой неудачливый? Даже кончить можешь теперь только так, как тебе сказали.

И начинается долгий разговор. О том, как надо писать, как мало сегодня вежливых молодых людей. Что остальные лишены принципов и уважительного отношения к старшим, в них только жажда наживы. Мелкие, дрянные, хитрожопые-полурослики.

Фомичёв все уже знает наперед. Он будет тоскливо смотреть в окно. Она будет править его интервью с министром труда, жирные облака корректуры будут уходить бесконечными путаными стрелками, как в настольной игре-бродилке, на тыльную сторону страницы и там теряться в многоточиях. А холёный генеральный директор ИА (и ее генеральный партнер) будет нарезать котлетку и, сверкая очками, кивать головой. Да, братец, херовый ты журналист, если кончаешь так непотребно. Хороший журналист должен кончать красиво, как лось в густой весенней тайге. Гогоча и блестя рогами.

Вот куда ты приехал, Фомичёв. Вот о чем ты мечтал.

А потом в проем влезет лысая растворяющаяся в угодливой улыбке голова Вениамина Вениаминовича. Она попросит прощения и отправит Фомичёва на очередную пресс-конференцию, на которой тоже ничего, кроме каббалистики. Даже самого говенного фуршета не будет.

Может, еще занесет на выставку живописи, там, как правило, сок и печенье. Однообразный натюрморт, надо сказать, у этих живописцев. Другое дело — ВДНХ. Там и канапе, и колбаса, и салат в корзиночках, и вино сухое. Только писать оттуда нечего. Реклама у них не проплачена. Поэтому с Вованчиком они просто подойдут к концу пресс-конференции. Вованчик скромный, он даже вопросов задавать не будет. Не то что Макс — тот однажды на радостях министра энергетики за лацканы хватал.

— Ну так что, поднимутся цены на газ, или как? — с угрозой шептал он, склоняясь, как фонарь, над чиновником в белом костюме.

Потом они будут долго кочевать в поисках новостей. Но какие тут могут быть новости? Я вас умоляю. Что на свете такого нового, о чем действительно стоит рассказать? Футболисты; ветераны нелепой и потому вдвойне страшной, войны; депутаты; городские сумасшедшие; представители общественности. Какой такой общественности, кстати говоря?

Но Фомичёву надо писать семь новостей в день. Это не считая эксклюзивных заказов.

— Лапуля, съезди к девочке. Она крестиком Ван Гога вышивает, — бросает на ходу главный редактор.

Девочка, ко всему прочему, дочь экстрасенса. Оба могут пригодиться.

Все могут пригодиться. В этом самое замечательное качество людей. В них всегда найдется что-нибудь полезное. Один человек с отстраненным взглядом заряжал энергией фотографии космонавтов. Он обязательно пригодится, надо сделать интервью.

У Фомичёва есть сосед Виссарион. Он тоже обладает уникальным качеством. Он практически Стендаль из Ниспорен. Он пишет пластиковыми бутылками роман «Красное и Белое». В соавторстве со всеми, кто может оторвать руки от стула. Каждый рядом с ним чувствует себя героем гражданской войны, причем в составе сразу двух армий. Вроде Азефа, короче. Выпьешь красное — Чапаев, выпьешь белое — Дантес. Разве это жизнь, говорит он, американцы, мать их, а русские, там тоже ничего хорошего, одни пидарасы в общем, а наши хуже всех. И несется дивизия Каппеля каплями белого, и голова кружится от одного запаха красного. И станут они внутри розовой сакурой для блаженного дурака...

И он снова куда-то бежит, куда-то едет, трясется, смотрит в окно, жмет к посторонним людям, они жмутся к нему. Причем он испытывает неловкость, а они, похоже, удовольствие. Даже там, где есть свободное пространство, люди почему-то норовят воспользоваться чужим. Они врываются в него, бьют тебя пакетами по затылку, смотрят на тебя в упор, ты слышишь посторонний телефонный разговор, ты становишься его невольным соучастником. Нелепый Фомичёв, ему от всего становится неловко, кто-то скандалит, он отводит взгляд, вжимает голову в шею и делает вид, что смотрит в окно, что там, за окном, все дико интересно и необычайно привлекательно.

А за окном постылый, но любимый, с мая по октябрь, город. Если сравнивать его с фотографиями хроники, то уютней ему все же было в черно-белом формате. Что тут осталось хорошего? Вместо домика с барельефом — пучеглазый аквариум из пластика.

Неправда, шепчет теплый ветер, есть еще радость в этих краях. Радость человеческого общения. Вот что осталось. Радость человеческого общения и каштаны над головой.

Седовласый Вольдемар ведет Фомичёва после работы на «кафедру». У Вольдемара о людях представление лаконичное. П..дюк, говорит Вольдемар о каждом втором знакомом, политике, коллеге, начальнике. Усмехнется, блеснет в очках хитрый огонек, и скажет:

— А Вениамин Витаминovich твой — п..дюк самый аутентичный, без примесей.

Причем он не только говорил это в лицо выпускающему редактору, но и руки выкручивал. За нелюбовь к классической музыке.

— Вольдемар, будь добр, прибери звук в колонках, — обращался сидевший напротив Вениамин Вениаминович. До этого он долго бродил по коридору, потом пересказывал анекдоты из газеты, клацал курсором по пустому экрану и — устал.

— Вы не любите классическую музыку, Вениамин Вениаминович? Вы инквизитор после этого в моих глазах.

— Смотри, как надо бесов изгонять, — подмигивал он Фомичёву и включал фугу Баха на полную громкость.

Вениамин Вениаминович сначала делал, как паровозик, потом вздыхал, как уютю, краснел и ежился на стуле.

— Вольдемар, чего ты добиваешься? — переходил он на дискант.

— Слушаем музыку, — торжественно сообщал Вольдемар.

Вот тогда Вольдемар заламывал руки своему выпускающему редактору. Тому непременно хотелось ударить по колонке пресс-папье. Бедный, сутулый Вениамин Вениаминович, он выпрямлялся, только когда ему звонило из соседнего кабинета начальство. Это было так неловко, что Фомичёв даже сначала отвернулся к стене и только потом начал разнимать седых гладиаторов.

Такие дела. Бах поссорил двух смертных из параллельной реальности. Или из нереальной параллельности.

И вот они идут на «кафедру» запивать стресс и заедать абсурд мира. Они идут в гости к испанскому идалго, застрявшему на пыльном перекрестке. К «Дону Мигелю». К отвратительному и обманчивому, как солнце в ноябре, белому вину со вкусом желудочного сока.

«Дон Мигель» называли «кафедрой» потому, что стояли тут за бочками, как за кафедрой, опустившиеся на дно доценты. Опустившиеся и воспарившие вновь пламенем раскованного Прометея — над неряшливыми шевелюрами камрадов. Вернее, не исключено, что там бывали и доценты.

Вообще «Дон Мигель» творил коктейль из своих постояльцев, не соблюдая элегантных слоеных вариаций. Журналисты перекачивались в шабашников, шабашники — в бывших работников МИДа, бывшие работники МИДа — в действующий люмпен-пролетариат. С одной стороны — амбре, с другой — политологический дискурс. С одной стороны — «я, бля, за такую херню вообще никому не прощаю», с другой стороны — то же самое, только про поэзию Серебряного века. В общем, идиллия. Пастораль.

Верховодила этим собранием Света. Она была в этом заведении декан по сути и декантер по форме. Второе обстоятельство приводило почтенную публику в восторг и плохо скрываемый эротический трепет. А еще у Светы были коротко стриженная огненная голова с лихо закрученными прядями на висках и выразительные глаза. Она могла взглядом заставить утопиться муху. То есть после нескольких стаканов желудочного сока можно было представить ее футуристкой, а себя — бродячим псом.

— Света, вы сегодня обворожительны, как Цирцея. Но в силах ли вы вернуть этим свиньям человеческий облик, о, рыжеволосая дочь Гелиоса? — ласково вздыхал у стойки Вольдемар.

— Может, тебе еще и манду показать? — хладнокровно отвечала футуристка Цирцея.

Вольдемар улыбался, допивал обязательный второй стакан и уходил. Он работал в ИА и давно свылся с абсурдным устройством Вселенной. Надо отметить, что Вольдемара отличали аккуратность и высочайший уровень самоорганизации. Он всегда ходил в глаженном и чистом, с неизменным блокнотом подмышкой. В «Дон Мигель» он заходил строго в обед, выпивал два стакана белого и вечером, по дороге домой — еще два стакана. Вероятно, поэтому и не было на Земле ни одного человека, о котором он бы сказал что-нибудь хорошее.

А ветеран Афганистана Жора мог. Он так и говорил: «В этой газете, Николай, пишем хорошо только ты и я». И учитывая, что Николай был в этой формуле переменной, прекрасных авторов делалось ровно столько, скольким Жора успел это сказать. Что, правда, не мешало ему, в качестве эксперимента затушить сигарету о лицо собеседника. А приятель мог, в качестве ответного комплимента, воткнуть ему в плечо вилку.

Вообще Жора вызывал всплеск дикой маскулинной натуры у каждого, кто невольно становился его попутчиком в этом никуда не направлявшемся поезде. Например, был в этой компании Евгений. Человек начитанный, утонченный, изящный, несколько манерный. Он говорил с придыханием даже о незначительных вещах. Поэтому в деклассированной среде журналистов и сплетников могли витать скабрёзные намеки. Напрасные и требовавшие, как считал Евгений, опровержения. «Я — мужик!» — встряхнув головой над графином белого, крикнул однажды Евгений. И вызвал Жору на дуэль. На армрестлинг. Он закатал рукава, закатил глаза, вздохнул и вцепился в железную ладонь афганца. Короче говоря, Евгений сломал себе руку. Но даже это не отвратило его от любви к высокому художественному стилю.

Высокого стиля придерживался и Толя. Во всяком случае, в том, что касалось закуски, он был человек принципиальный и по-своему эстет. Он не мог, как другие, заедать вино сигаретным дымом или чрезвычайными усилиями возвращать в организм подкатывавшие наружу волны только что выпитого. В соседнем магазине он брал кровяную колбасу и брынзу. Он раскладывал на бочке эту красоту и меланхолично резал. Почему-то во всех его движениях и комментариях сквозила печальная ирония. Он был похож на большого и грустного десантника, которому сказали: «Парень, это твой последний прыжок». Толя писал на экономические темы. Может быть, поэтому.

Урожай свеклы превысил показатели минувшего года на десять тонн с каждого гектара, налогоплательщики демонстрируют небывалую сознательность. Толя открывал большой статистический справочник за минувший год и обрабатывал руду. Однажды, в отчаянии, он опубликовал новость из двух предложений: «Отечественная легкая промышленность увеличила объем производства на 15 процентов. Об этом сообщил достоверный источник в профильном ведомстве». Оставив разгадывать тайну достоверного источника другим и бросив легкую промышленность на растерзание невежд, Толя уходил в сизые дали.

В другой жизни Толя был бы отважным флибустьером, он грабил бы галеоны с пряностями и свеклой и топил бы их в морской пучине. В этой жизни он брал такси на последние деньги и ехал к вероятной зазнобе за 200 километров. Зазноба не узнавала Толю ни в профиль, ни анфас. И он пел серенады привокзальным дворнягам.

Из-за любви Толя даже чуть не бросил пить. Точнее, из-за неразделенной любви. Однажды вечером Толя выкатился из туалета «Дона Мигеля» и сказал тревожно: «Бежим отсюда, я раковину разбил». И он побежал. Один, в холодные февральские сумерки. Сначала бежал от настоящего, от скуки и повседневности, а потом он услышал, как зовет его Лорелея на другом конце города. «Иди ко мне, мой милый Толя, у меня перины пуховые и груди молодые, упругие». Утром Толя проснулся на другом конце города. У входа в зоопарк. Без денег и мобильного телефона. После этого Толя не пил два дня. Даже игристое полусладкое...

О, крестный отец заблудшего стада, «Дон Мигель», «Дон Мигель», кто назвал тебя так? Кто был первым конкистадором, павшим у врат твоих? Кто превратил Дульсинею в разнузданную Светлану, а компаньонов Одиссея в хрюкающих литераторов? Что было в тебе такого, кроме имени? Что влекло к тебе всех этих милых и одиноких людей? Осыпалась штукатурка, и не видно уже почти названия. Напомни тогда, о ком мы еще забыли?

Ах, да! Самсон! Самсон ходил в бежевом костюме. Это было в пору его карьерного взлета. Когда Самсон отправлял ищущих счастья в Эльдorado, в провинцию Квебек. Там леса и озера, эскимосы и социальный пакет, белозубые киты и синяя птица. Решайтесь скорей, Виолетта, это будет вам стоить совсем недорого. Скольких

Самсон проводил в этот путь, неизвестно. Но именно в ту пору на нем были костюм, элегантная сумка, лоск и лакшери. Он брезговал «Доном Мигелем», ходил в Дом писателей и другие светские учреждения. Приобщался к прохладным родникам культуры. Там он пил коньяк, срывал с официантов вышиванки, платил три цены за сломанные стулья, играл на пианино, бил по клюву попугая, выкручивал руки наряду полиции.

Когда Самсон выпивал, он взмывал тяжелым соколом над миропорядком и рассудком. С него съезжали галстук и лакшери. И он приходил на кафедру «Дона Мигеля». Он уходил отсюда проводником в Эльдorado, возвращался страховым агентом, уходил страховым агентом и возвращался канадским безработным.

— Короче, слушай сюда. Ты закончился, тебя нет в природе, а завтра тебя не должно быть в офисе. Ты собираешь свои манатки, всех своих выкормышей и блядей, всех своих родственников и тунеядцев и мотаешь. В ссанных штанах, озираясь по сторонам. И молись, курва, чтобы проверка не нашла в документах ничего, что даст мне повод повесить тебя за яйца. У меня все схвачено.

Такую инструкцию давал по телефону своему генеральному директору страховой агент Самсон в ту минуту, когда парил стервятником в мятом бежевом костюме над кафедрой «Дона Мигеля». Солидный Самсон, в угаре пира отверженных свалившийся у ворот Валгаллы.

Скучающая профессура питейных наук, специалисты по урожаям зерна, политологи и монофизиты, они подпирали уставшие головы руками и плыли в медленном потоке скучного времени. О, скольких таких диогенов замуровал в своих бочках «Дон Мигель», скольким из них он залил zenки медовой смолой. А потом утопил своих в бочках в мутной воде речки Стикс. И теперь там ни бочек, ни тех постояльцев...

Фомичёв возвращался после «Дона Мигеля» усталый, разобранный на запчасти, и сваливался прямо на ковер у дивана. Да, у него был ковер, он был в этом смысле жуир. Через два часа он с ужасом вскакивал и начинал искать деньги на полу. Денег, по меркам Фомичёва, было много — вся заработная плата обычного ослика в обычном ИА. Голова гудела от мерзкого напитка, почему-то болели ступни и спина.

— Меня били, и я бежал? — пытался вспомнить Фомичёв.

— Что случилось? — спрашивал он себя.

— Как такое произошло? — настаивал он.

— Я же нормальный, приличный человек, я знаю меру во всем, особенно в деньгах и неудачах. Это самая послушная мне мера, она никогда не бывает преодолена. Так почему же? Оттого ли, что бытие определяет поведение, или оттого, что ты скрытый мизерабль? Или не очень скрытый?

— Где деньги? — вдруг возвращался к главному вопросу Фомичёв.

— Неужели я кого-то вздумал угощать? Как я мог позволить себе так распоясаться? Я воспитанный человек. Я и на свои-то не пью.

Он шарил под диваном, по ковру, под шифоньером. Ползал по общему коридору.

Запойная, похожая на корейского Рэмбо с опухшими веками, Наталья в черной майке и джинсах с сочувственным видом курила какой-то яд.

— У меня есть немного, если плохо так, — доверительно делилась она.

Фомичёв отрицательно мотал головой, дергал себя за волосы и спускался по ступеням подъезда на улицу. Он шел, не поднимая головы, мимо дома, к остановке, к аптеке, к ночному клубу и шарил глазами, как локатором.

— Куда ты идешь? — спрашивал он себя.

— Найдется ли кретин, который пройдет мимо? Тут мимо недозволенного не

пройдут, отберут, из рук вырвут, изо рта клещами вытащат, а за них иди потом голосуй, — отвлекался Фомичёв.

— Ну а что, лежат деньги, никто ведь не подумает, что кому-то без них особенно плохо. Не говоря уже о том, что это его, кого-то, деньги. Сто пятьдесят новостей. Сто пятьдесят гребаных, тоскливых, как вся их общественность, новостей. Никому не нужных. Но сделанных этими вот руками. Дырявыми, сука, все упускающими руками.

Он шел так же, не поднимая головы, назад. Он пытался вспомнить — мог ли он их кому-то одолжить. Но понял, что такое невозможно даже в бессознательном состоянии, а тут все же какое-то сознание было. Хотя самые идиотские решения принимаются, как правило, в трезвом уме.

— Если одолжил, то кому, а главное — на что? Если украли, то почему не забрали телефон? Если кого-то угощал, то почему я один? Если угощал этих уродов, то почему так рано?

Он пытался распутать этот клубок и, обессиленный, вновь падал на ковер, чтобы восстановить цепочку событий.

Потом он судорожно вскакивал и мчался к шкафу. В шкафу среди прочих стояла самая потрепанная книга — «Брак под микроскопом». Фомичёв полагал, что ни один вор не станет в такой книге искать деньги. Его должны были остановить форма и содержание. Туда Фомичёв складывал единственную свою движимую ценность — зарплату. Под микроскопом этой великой книги хранились брак и его незначительный, почти не осязаемый, заработок.

Фомичёв вскочил и увидел, что деньги в ней. Он их пересчитал и был обескуражен. Каким-то образом денег оказалось даже несколько больше, чем полагалось.

— Я забрал чаевые? Я обманул бухгалтера? Мне повысили зарплату? — спрашивал он себя.

И только потом он поразился главному. И, пожалуй, это было первое настоящее открытие себя за всю сознательную жизнь. Прежде чем упасть, Фомичёв аккуратно сложил деньги в свой тайник.

А затем он понял, что, как бы судьба ни придавливала его к земле, он должен идти дальше. Обладая такой моральной организованностью, он не имеет права стоять на месте.

И Фомичёв оказался на телевидении.

Он шел, сочиняя новости с десятками бессмысленных синонимов вроде «подчеркнул», «уточнил», «отметил», «сообщил», «подтвердил». И вот оказался перед зданием телевидения.

Фомичёв стал ответственным за работу ПТС. Передвижной телевизионной станции. Дорогой и современной. Похожей на маршрутку со спутниковой антенной. В ней можно было делать передачи, вести прямые трансляции. Можно было врезаться ледоколом в мир новостей, высыпаться суетливой группой, выкатывать кабеля — в общем, вести себя так, как ведут люди с телевидения.

От Фомичёва требовали максимальной отдачи. Чтобы все вложенные в модернизированную маршрутку деньги были видны на экране. Да, говорил он, будут видны, и запер машину ПТС в гараже. И договорился, что каждый репортер будет перед сюжетом здороваться с ведущим, его приветствие (стенд-ап) записывали заранее. Если требовался прямой эфир из другого города, съемочная группа выезжала куда-нибудь на окраину с нейтральным пейзажем. Титры сообщали название города. Так на выборах можно было вести «прямой эфир» из пяти городов, ни разу не прибегнув к услугам транспорта.

Благодаря рачительному отношению к чужой собственности у Фомичёва появилась репутация надежного человека. И скоро его прогнали из этой неподвижной фабрики грез.

Сказав напоследок:

— Ты идешь по пути наименьшего сопротивления. Под откос.

И, кстати, не он один шел этим путем.

Площадь снова заполнили люди. Кто-то говорил, что их тысяча, кто-то другой, что их миллион. Они хотели перемен и сожгли президентуру вместе с парламентом. Резиновые обезьяньи маски на головах протестантов и мародеров видели все.

У этой страны не много возможностей привлечь внимание мировой общественности хотя бы на двенадцать секунд. Для этого гражданин страны должен сжечь парламент, украсть из бюджета миллиард или проглотить шпагу.

Такая история. Каждое собрание становится национальным. Как кислое вино в дубовой бочке, бродит тут национальная идея. И, в конце концов, этим пользуются самые отъявленные подлецы.

Фомичёв с Максом ходили по тлеющему парламенту. Протестанты выносили последнюю мебель. Кто-то катился в белом кожаном кресле, кто-то выдавливал из себя раба — прямо на стол председателя парламента, кто-то распивал коллекционное вино. Бунт плавно перетек в веселье и пляски.

— Долой коммунистов, — сказал Макс у входа, и они спокойно прошли по коридору, занятому освободительным движением.

Вокруг здания горели уютные костры, люди травили анекдоты. Они верили, что теперь власть в их руках. Они пели песни. Это был их вечер.

— А старый козел уже уехал из страны! — кричал радостно один, имея в виду президента.

— Пусть только попробует сюда заявиться! — кричал другой, испачканный сажей.

— Мы свободные люди, — голосила девушка, похожая на мальчика.

Спустя год Фомичёв узнал эту девушку на перекрестке. Она раздавала буклеты автомагазина. Видимо, не все ее желания сбылись.

— Куда дальше? — спрашивал себя Фомичёв.

Валерий Иванович говорил ему, что надо делать программы про обычных людей. Про маленьких, лишних и какие там еще бывают в литературоведении. Только про настоящих.

— Сядем в машину и поедем по нашим умирающим селам. Будем снимать все подряд, рассказывать каждый день небольшие живые истории.

Фомичёв представил себе саундтрек и видеоряд. Едет машина мимо запорошенных снегом полей, вдалеке мелькают холмы в белых проплешинах, тополя стоят по обочинам, как манекены, по дороге идет старик, рядом бежит собачка. Вот деревенский колодец, вот замерзшее озеро, вот двое школьников смотрят, не скрывая любопытства, в окна проезжающей машины. И звучит мелодия из песни «Summertime» в исполнении Дженис Джоплин, с пронзительным гитарным проигрышем в начале.

— Вот что настоящее, — говорил Валерий Иванович. — А не это вот, — и махал в сторону экрана, в котором мельтешили то горящий парламент, то обезьяньи маски, то бесконечные политические лозунги.

Он ворчал, бубнил, суетился, все что-то придумывал, перетаскивал декорации, вздыхал, ругался, поучал — не находил себе места, в общем. Когда-то он курил, много курил, но во время той самой нелепой войны бросил. Однажды ее участники празд-

новали неизвестно что во дворе жилого дома и решили пострелять в воздух. Пуля залетела в потолок балкона, на котором Валерий Иванович в это время стоял и мирно дымил сигареткой.

С тех пор он не курил, но зато нервничал и волновался. За мир, за страну, за прошлое и будущее, а главное — за работу, без которой себя не мыслил. И чем меньше становился масштаб, чем мельче повод, тем больше себя он ей отдавал. Когда-то он снимал большое, настоящее документальное кино. Такой же усатый, серьезный и такой же, наверное, суетный.

— Плетеную корзину возьми крупней, рукиними, а теперь опять на корзину, — бубнил он на ухо.

Доставал любого оператора, измывался над каждым монтажером. Но зато, бывало, покажут новости, те самые, от которых оскомина, а он влетит и заорет:

— А закат, видели, как он закат снял? А? Сукин сын ведь, правда?

Довольный, шумный. Радостный.

Их телевидение как-то загнали работать в гараж. Так получилось. А он от этого только шумнее стал. Опять бегает, бормочет, декорации переставляет.

— Настоящее пора делать, вот тут, в гараже, самое то, — бубнил он.

А потом перестал. Вдруг. Посередине планов и затей. Заторопился и вышел не в ту дверь.

Так и сделали последний кадр в посвящении ему из рабочей хроники — Валерий Иванович уходит, дверь за ним закрывается. А фоном звучит мелодия «Summertime» в исполнении Дженис Джоуплин.

Так для Фомичёва закончилось телевидение.

И началось сплошное ток-шоу.

Это говорение, сопение, бульканье стало саундтреком к новым временам. Одни сбежали из тонуших партий, другие — сразу из страны. Одни и те же раздутые экраном лица стали перемещаться из одной программы в другую.

— Все будет буль-буль-буль, — говорил один аналитик.

— А вот и нет, — отвечал ему другой.

— А у вас нос фиолетовый, — говорил еще один эксперт.

— А у вас деньги фальшивые, — спорил другой.

— Прекратите немедленно, у нас реклама, — успокаивала их томная ведущая.

Зато подешевели билеты на самолеты, и появилась маршрутка сразу в Париж. Можно было себе представить, как садишься в обычную маршрутку, в эту трясушуюся механическую телегу, и едешь напрямик на Елисейские поля. А другая маршрутка везла из Падуи коробки с пасхальными куличами.

— Это панитон, — объясняла девушка в короткой юбке с жирными от помады губами. — Деревня.

— Хорошо, панитон, — послушно повторял Фомичёв и брал из ее рук кусочек.

— Ешь конфеты, мама еще пришлет, — говорила девушка и гладила его по щеке.

И Фомичёву казалось, что он, наконец, дошел туда, куда направлялся. Панитон, губы, мама еще пришлет. Пусть присылает. Прошуту.

— Я попрошуту немного прошуту, — шутил он с закрытыми глазами.

А потом открывал их и понимал, что говорят не ему и гладят не его. Что говорят посторонние люди, интимно касаясь друг друга плечами. А сам он сидит там же, на скамейке в аллейке проспекта Возрождения. Возрождения чего или кого, кстати говоря? Загадка так и осталась неразгаданной.

— Пришел, — говорил себе Фомичёв. — Откуда пришел, туда и уйду.

— Откуда ушел, туда не вернусь, — поправлял он себя.

3

Фомичёв пересек парк Оранжери где-то не там и заблудился. Туман обрубал ветки платанам так, что каждое дерево теперь походило на Венеру Милосскую. А других ориентиров Фомичёв не помнил.

Он всегда до последнего момента придерживал при себе возможность спросить прохожего. Он предпочитал следовать своей интуиции, и если спрашивал, то, как правило, кого-то похожего на себя. Последний раз он узнавал дорогу у пожилого марокканца — тот вез на багажнике велосипеда маленький явно пожилой холодильник. Когда Фомичёв спросил его на смеси английского и французского, где находится авеню Европы, тот испугался и залопотал что-то на арабском.

В общем, полагавшийся в поисках правильной дороги на провидение, Фомичёв шел и озирался по сторонам, оглядывал заборы и аккуратные домики и даже решил, что никуда теперь не торопится. Действительно, куда тут можно торопиться? Здесь все надо делать медленно, растягивая удовольствие, даже теряться.

— Заблудились, молодой человек? — вдруг спросил его старичок в кепке. Он сидел на велосипеде, и Фомичёв никогда в жизни не признал бы в нем своего. Так почему же он в тумане посреди старого доброго франко-немецкого города сразу опознал Фомичёва?

Что в нем так безнадежно выдает его происхождение? Растерянный взгляд, одежда, походка? Как бы хотелось раствориться у этого пруда, смотреть на лебедей, на бегунов, окунать руки в пышные бока тумана. И ничем себя не выдавать.

Как они здесь живут? Здесь — это везде, где его нет.

Ну, например, едет поезд из Венеции в Болонью. В вагон вваливается группа студентов, они шумно обсуждают свои студенческие дела, преподавателей, девушка с коконом небрежно повязанных волос (это стало тут навязчивой модой) положила ноги на сиденье напротив, парень, смахивая с глаз густую челку (это тоже тут повсеместно), хохочет и возмущается одновременно. Как это у них так все свободно и непринужденно получается? Тридцать минут, и они в Падуе. И они так же шумно вывалются из поезда и продолжают жить своей непостижимой жизнью. Студента ждет у маленькой, веселой машинки отец. Студентка сядет на припаркованный на вокзале мопед. Какие странные люди. Они представляют себе, что живут в Падуе и учатся в Венеции? В Венеции, в которой можно часами сидеть у порога церкви Святого Себастьяна, пить вино, есть пармезан и ловить свое отражение в мутных водах канала. Если бы представляли, они должны были бы каждые пять минут останавливать друг друга и кричать:

— Джованни, это Венеция! Венеция, мать ее! Мы тут учимся!

С другой стороны. В венецианском парке сидят три женщины. Уже даже не бальзаковского, а предбальзамического возраста. Их работа в том, чтобы следить за старушками немногим старше себя. Они из народа, что когда-то считался оседлым. Узнать их можно сразу. Не по какой-то одной конкретной детали — все и так очевидно.

— Эти донны нашего племени, — говорит себе Фомичёв.

Они утомлены. Их усталость постоянна, она отпечатана, как отпечатан космос в картинах Джованни Беллини. Она в улыбках, смехе, шепоте. Они работают на износ, ими помыкают подруги Альцгеймера; кому-то повезет, и кто-то выйдет замуж за Альцгеймера.

Что им с того, что живут они в Венеции. Какое им дело до Беллини и Тинторетто.

До венецианского льва. До последнего дожа. До пакистанской семьи, плывущей в надраенной, как катафалк, гондоле.

У них другие заботы. Они здесь не ради эстетического экстаза, не ради рефлексий. Их дети, тяжелые, лысые цыплята, ждут от них сувениров, ждет аленького цветочка дочка на выданье, ждут врачи и учителя, менты и депутаты, все ждут. На них вся надежда и упование.

— Тяжело, — говорит Фомичёву родственник. — Бригадир наш — итальянец, вредный, жирный ублюдок. Была бы плеть, он бы нас ею стегал. Только сигарету закуришь, он тут как тут. И орет, сука, противным тонким голосом. А жара стоит, от свежего асфальта ботинки плавятся, каток горячий, и эта скотина голосит, и денег платят только так, чтобы штаны не упали. И все равно, хрена я отсюда уеду. Тут понимаешь, какая история — вот выхожу я из дома, а вокруг красота, магнолии цветут, птички, тротуарчик.

— Беллини, — добавляет Фомичёв.

— Ну и эта фигня, — соглашается родственник.

Рим, Болонья, Падуа, Генуя, Лиссабон, Мадрид, Афины, Дублин, Лондон, Манчестер, Эдинбург, Париж, Москва, Санкт-Петербург. Теперь друзья и родственники живут в тех самых городах, которые ребенком обводил на политической карте мира. Чтобы не забыть перед игрой в города. Когда свет на три часа выключают, все названия пригодятся. А теперь можно представить, что сам в них живешь.

Фомичёв закрывает глаза и представляет себе: маленький итальянский городок, улочка, столик, за которым сидят аккуратные старики, они пьют кофе, шумно переговариваются с женщиной, которая чему-то смеется со своего балкончика. И он проходит по этой улочке, здоровается со стариками и выходит к морю. Оборачивается, а вокруг — уже другие дома в сдержанном стиле, и ландшафт суровее. Шотландия, что ли? Нормандия? Ла Рошель?

— Все что угодно. Только не назад. Только не домой. Я готов прописаться на любом из местных маяков. Я буду следить за колебанием волн, я буду пересчитывать медуз и дельфинов, я лично буду спасать тонущих аборигенов. Но только не назад. Я слишком дорого за это заплатил. Я оставил дом, родителей, совесть, — говорит себе Фомичёв, не открывая глаза.

Первые кочевники отправлялись сюда осторожно. Они прибывали, оглядываясь назад. С непривычки кто-то вскоре возвращался. Но считается, что именно те, кто приехали первыми, сорвали джек-пот — добрых старушек, нестарых итальянцев, невнимательных полицейских. Сейчас первые ходят и говорят «аллора». И это «аллора» уже не отличишь от настоящего. Это «аллора» тоже будет отдавать моцареллой и базиликом.

Но они дорого заплатили за это «аллора». Они ездили в наглухо закрытых автобусах, по поддельным паспортам, некоторые привязывали себя к днищу поездов, они шли горными тропами и переходили горные реки, будто ударный отряд какого-нибудь Ганнибала, их ловили пограничники, они сидели в лагерях для нелегалов, они усердно работали в европейских тюрьмах с тем самым неожиданно просыпающимся трудолюбием, которое на родине затеняется хитрожопостью.

И вот — они тут. Повар из школьной столовой Валентина теперь парижанка. Настоящая. Торгует цветами или дамскими шляпками, чем-то в этом роде. Монмартр, Лувр, Ренуар. Часть зарплаты можно выдавать одним видом на Елисейские поля. Разве нет? А там еще пособия дают. Правда, африканцам.

— Это они так извиняются за колонизацию, — объясняет Фомичёву еще один

родственник. — Согласись, в этом есть какая-то высшая несправедливость, что нас колонизировали не французы.

— Те, кто колонизировал, много чего оставили, — сопротивляется Фомичёв.

— Глупости, это в карман не положишь, — говорит родственник. В Париже он ставит окна из пластмассы, он знает, о чем говорит.

Фомичёв открывает глаза. Он снова там же. Это проспект Возрождения.

«Как это трогательно со стороны бытия, — думает Фомичёв. — Перемещать меня от Тинторетто на проспект Возрождения».

— Возрождение в нетрезвом виде. Проспект Вырождения. Устойчивое вырождение, — ловит Фомичёв перекатывающиеся мысли в сонной голове.

Мимо шагает демонстрация. Туда же. На площадь. Там снова палатки. Хотят прогнать тех, кого привели до этого. Они ходят из одной стороны города в другую, машут флагами, кричат кричалки, сопят в сопелки.

— Ничего, первый блин комом, — возбуждает себя белоснежный хмурый энтузиаст.

— В каком-то смысле, каждый блин выходит комом, — успокаивает его флегматичный длинноволосый очкарик.

Они пошумят и разойдутся. Сиротливые палатки на площади зальет дождем. Бедные люди, похожие на Маугли, будут выглядывать на улицу и проклинать этот город. В котором стало совсем невозможно жить.

Цветок из камня. Кто отбил твои хрупкие лепестки? Что за сволочь такая поизмывалась над тобой и бросила на обочину, ждать толстого водителя фуры с лоснящимися губами?

Фомичёв поднимается и идет. Это не Оранжери. Это аллея с чугунными заборчиками. Это дом пятиэтажный машет белой простыней. Он сдается, он больше не может. На голову ему давит мансарда. Из мансарды, весь волосатый, как катышек, курит человек.

Каштаны отливают золотом. Единственное спасение для этих мест. Последнее пристанище мятущейся души. Ничего другого не остается. Дорога разбита, тротуар рассыпался, лицо дегенерата на агитационном плакате. Каштаны проигрывают, природа опускает ветви.

Афанасий, Федя, вспоминал Фомичёв, Валерий Иванович, Костя, цирковой акробат в блестящих штанах. Он ездил с шапито по Чехии и Германии два года, утром собирал арену, вечером прыгал с качелей на десять метров вверх. Приехал, купил блестящие штаны и ударился в последний загул. Где он теперь? Где теперь они все?

Теплые края исторгают свое племя. Улетайте, говорят они ему, бегите.

— Мы хотим сообщить, что теперь уехать из страны стало гораздо проще, — сообщает с плаката человек, похожий на лошадь в круглых очках.

Какая замечательная новость. Теперь можно все оставить. Погасить свет. Последний раз окинуть взглядом прихожую, мрачный шкаф, тапки у входа и запереть за собой дверь.

Так, должно быть, делал какой-нибудь гунн или вестгот. Их тоже ждала Италия. Благословенная земля с изнеженными патрициями, величественной архитектурой и капризными старухами, вроде Агриппины — мамыши Нерона.

Фомичёв подходит к машине, стирает рукавом пыль с окна. Кто-то из демонстрантов успел обтереть ее флагом с другой стороны. Теперь она почти блестит, если не считать налипшей снизу городской грязи. Городской пыли и городской грязи. Извес-

тная комбинация. Она кого хочешь сведет с ума, что уж говорить о демонстрантах, они ходят по ней каждый день. Туда-сюда. Двадцать пять лет.

— Четверть века, это ж сколько всего можно было бы сделать, — думает Фомичёв, оглядываясь по сторонам.

Он садится за руль. Машина благодарно мурлыкает что-то на своем непонятном языке и начинает тихо тарахтеть. Фомичёв включает «Summertime» с пронзительным гитарным проигрышем в начале.

Пора проверить, можно ли вырваться за пределы этих вечных сумерек с их бесконечным проспектом, от возрождения которого сыпь по телу и выпадение волос. Хватит слоняться по этим облезлым парапетам. Слышишь, Фомичёв, этот нестерпимый запах? Это всегда тут бывает весной, летом и осенью. Есть такие, кто в этом видит признак стабильности. Не ведись, Фомичёв. Оставь надежду. Надежда в этих краях — хитрожопая потаскуха.

Он едет быстрее. Машина из пыльной кошки превращается в ревущего тигра. Ревет, набирает обороты, выгрызает кислород у встречного ветра, несется вперед, не прячась и не петляя, потому что знает, куда везти своего ездока.

Машина не оглядывается ни на кардиограмму холмов, ни на заброшенные замки недавних баловней судьбы, ни на английских овечек, ни на орлов и зайцев, ни на зевающего мента в салатовой робе, ни на сваленные в мусорную кучу хибарки. Наплевать.

Фомичёв остановится там, где в воздухе совсем не будет тягостного зловония города. Он остановится у небольшого уютного домика в полтора этажа. Домик стоит на вершине холма и на берегу реки одновременно. Тут такое случается. Позади лес, впереди залитое терпким вином небо. Он сядет на краю холма, упираясь в небо уставшей от маеты головой.

Он будет смотреть на рассыпающиеся по Млечному пути искры, будет лениво вспоминать названия и фигуры и не вспомнит ничего путного. Он будет вспоминать имена и лица. И о каждом, почти о каждом, вспомнит что-нибудь хорошее. И тогда надежда, в рваных колготках и с размазанной тушью вокруг глаз, подсядет рядом, будет мечтательно вздыхать и растворится в светлой темноте.

Кто-то подойдет сзади. Он услышит запах весеннего цветения, своего тихого счастья. Она будет стоять в ночной рубашке, черные волосы расправит ветер, глаза будут смотреть на него именно так, как он представлял всю свою жизнь, — с печальной радостью. Она положит ладонь ему на плечо и поцелует в голову, туда, где, не прекращая, бьется непоседливый родничок. И почти все вопросы, которыми он душил себя, вдруг отвалятся, как отваливаются от елки снежные рукава.

И голосом, теплым и знакомым задолго до рождения, она скажет ему:

— Ну, и где тебя столько носило, глупый и любимый Фомичёв?

Ганна Шевченко

Особенности естества

* * *

Деревья раскачивал ветер,
дождало, шуршала листва,
что может быть лучше, чем эти
особенности естества.

Вот с неба сбежавшие воды,
а это гардина с пятном,
на червы из старой колоды
похожа листва за окном.

Стучат полуночные оси,
заснуть бы сейчас под шумок,
но жизнь осмысления просит,
и кошкою трётся у ног.

И вот потому, потому я
брожу, как собака, в плаще,
смотрю на листву поцелуя,
на тополь, на мир вообще.

* * *

Где неловким зрением ловит взгляд
городского шума бесцветный облик,
в точке расхождения, где стоят
барбарисы, стриженные под бобрик,

где деревья выстроены, где свет
преломился от дождевой печали,
где другой материи места нет,
кроме той, что выявилась в начале,

в двух шагах от полости, где каблук
погрузился в лужу на полштиблета,
намокая под непрерывный звук
(в середине года, в начале лета),

на смычковом, вытянутом дожде
атмосферой сыгранного римейка,
начинать движенье из точки, где,
покрываясь влагой, стоит скамейка.

Шевченко Ганна Александровна — поэт, прозаик. Родилась на Украине, в г. Енакиеве. По образованию финансист. Автор книги короткой прозы «Подъёмные краны» (М., 2009), книг стихов «Домохозяйкин блюз» (М., 2012) и «Обитатель перекрёстка» (М., 2015). Лауреат международного конкурса драматургии «Свободный театр» (Минск). Постоянный автор «ДН». Живет в Подольске.

* * *

Я целый день готовила и шила,
вертелась, как старательное шило
в руке перелицовщика, но всё ж
нашла себе под вечер развлечение —
заметив, что закончилось печенье,
решила прогуляться в магазин.

Я вышла. А навстречу мне соседка,
сказала, что закончилась селёдка,
что тотчас же отправится со мной,
и что дела её идут отлично,
а я молчала, слушая. О личном
я не люблю соседям говорить.

Объяла нас приятная прохлада,
закончив, мы решили прогуляться,
неспешно изучить микрорайон.
Ведь оказалось — обе в мокалинах,
вокруг свежо и дальше магазина
мы с ней не заходили никогда.

А были там: подстанция, общага,
завод, клочок коммерческого флага,
столовая, больница № 2,
кустарник, как зелёная ограда,
железный корпус оптового склада,
бетонный шар и больше ничего.

От ветра наклонялась древесина,
листва шумела. Путь из магазина
нам освещали окна и луна.
Похожие на плач виолончели,
роняли звуки детские качели —
там человек катался в темноте.

* * *

Подъезд, закрытый на задвижку,
внутри окна — заварки чайной
цвет. В деревянных городишках
витают дух необычайный.

Над дымоходной пустотою —
сосновый шум столетних улиц,
природой пахнет обжитой,
свечой, что вечером задули.

Из форточки со звоном блюдца,
с прохладой мятной принесётся
тоска из серенького ситца,
щипнёт и больше не вернётся.

* * *

Ствол света, рабица забора,
обочина асфальта. Посмотреть
на все четыре. И туда, где скоро
в озоновых прослойках сварят медь

для этой осени. Особенно для клёнов,
для плоских, кривобоких пятерней,
усеявших штрихи микрорайонов
и срезы разлагающихся пней.

Детали мира собраны в коробки —
в большие и не очень города,
и даже от машин, стоящих в пробке,
цветным металлом веет иногда.

Живёшь, закован, в железобетоне,
и ждёшь, когда прольётся краснота,
и сравниваешь линии ладони
с прожилками кленового листа.

* * *

Я проснулась на рассвете,
подошла к балкону, глядь —
обволакивает ветер
туч резиновую гладь.

Ночь — предмет аксессуара —
спала с ворота, и вот,
по неспешным тротуарам
путешествует народ.

Он идёт на автомате,
через площадь, напрямик,

но сегодня на закате
ночь поднимет воротник.

Шарф надену потеплее,
выйду, встроюсь в эпизод,
прогуляюсь по аллее,
я ведь тоже пешеход.

Есть погода, есть надежда,
есть фонарик на крыле,
лишь осенняя одежда
тянет тяжестью к земле.

* * *

В своем физическом убранстве,
непогрешима и тверда,
вещь проявляется в пространстве
и замирает навсегда.

Рулём становится, сиреной,
решёткой тёмного окна,
параболической антенной,
что чуть над зданием видна.

И если складываешь вещи,
не разворачивай назад,
как говорил одной из женщин
учитель нежности, де Сад.

Игорь Булкаты

Фигляр предзимья

Рассказы

Большой Бат

...впрочем, просиживание за письменным столом, который мы делим с дочерью, занятие не самое простое. Европейцы давно вычислили зависимость некоторых болезней от нереализованного таланта. Замечу, однако, что бестолковое протирание штанов — не признак бесталанности. В мире все взаимосвязано. Поэтому, смею утверждать, что сдвинутые над переносицей брови да пустая болтовня о бедной Родине, скрывающая твоё безделье, и есть симптомы болезни. Тем паче, когда за твою писанину не платят ни гроша, а уж если кто и раскошеливается, то бабла не хватает и на глоток пива. Знаю, многие из наших с тобой знакомых промышляют войной. Мне-то с моей семьёй от нее перепадает только сбитая штукатурка да дырки в стене, однако страх, помноженный на вечное чувство невостребованности, благополучно укладывается в ящик письменного стола, где я, подобно герру Шиллеру, имею обыкновение хранить сухие апельсиновые корки да гниющие яблоки сорта антоновка, запах которых напоминает детство в Хвелиандро и помогает преодолеть похмельный синдром. Стекла в наших окнах — нынче глупая роскошь. Кусок картона из-под коробки от телевизора — и вся недолга. Все это ты знаешь не хуже меня, Бат. Однако что делать с тревогой, бодрствующей даже по ночам, читающей в глазах мальцов по утрам? Опасность в том, что к ней в конце концов привыкаешь, и увеличивающийся со временем угол разреза глаз, в конечном итоге меняющий выражение лица, возможно, улучшает остроту зрения, но не прибавляет бдительности. Посему бахвальство наших мальцов, дразнящих грузинских снайперов, не имеет ничего общего с мужеством. Глупая самоуверенность. Я подумал, что грузины — такие же люди и им не чуждо сострадание, вряд ли они станут лупить по сопливым мальчишкам. Но нервы что твой тугой лук, и какой-нибудь недоумок обязательно пристрелит нашего мальчика,

Булкаты Игорь Михайлович родился в 1960 году в Тбилиси. В 1983 году окончил Литературный институт имени А.М.Горького. Прозаик, поэт, переводчик с грузинского, осетинского, французского, английского языков. Публиковался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Литературная учеба», «Литературная Грузия» и др. Живет в Москве.

сделав вид, что спустил курок нечаянно, даже переживать не станет, так, поохает малость ради проформы, и никто из соратников его не осудит. Так что же делать с этой тревогой, Бат? Мы с тобой любим Родину не меньше других, но не кричим об этом во всю глотку, даже во хмелю. А, может, надо? Может, любовь требует выхода наружу, и легкие наши, продавливающие воздух сквозь мехи отчаяния и голосовых связок, сродни диким яблоням, сбрасывающим переспелые плоды по осени? Тебе легче, ты руководишь ополченцами, и тебя слушаются, но как быть мне? Бывают минуты, когда распирает негодование, и ежели не продуть потроха, что тубу после концерта, то меня разорвет на части. Не спасает даже белизна ослепительно белой бумаги на письменном столе да набор очиненных карандашей. Стол стоит у стены, возле детской кровати. Ты же знаешь, мы ютимся в комнатке — я, Сали и Залинка. Слева стопка учебников, справа картонный домик куклы по имени Рохсана с шифоньером и туалетным столиком. Рохсана одета со вкусом, у нее три выходных платья — два в желтый горошек и одно ромашковое, вдобавок домашний халат в клетку и передник. Все это Залинка сшила сама.

Когда подтвердился диагноз дочери, мы продали все ценное и полетели в Москву. Однако спасти ее не удалось. Перебей-Нос снабдил нас целым списком телефонов столичных светил онкологии, и они, следует признать, отнеслись к нашим проблемам с пониманием. Мы возили дочь по врачам, пока у нее не иссякли силы, и тогда я сказал — все, хватит, больше никаких врачей. Мне необходима была разрядка, иначе бы сошел с ума. И я увлекся женщиной, как мальчишка, мгновенно сменив гардероб, и обувь с накинфоленными шнурками перестала удовлетворять изощрившемуся за ночь вкусу. Деловая дама, Бат, таит нежность в защелкнутой кожаной сумке, и звук — что спуск тугого курка браунинга в масле, но вся ее деловая прыть улетучивается, стоит только дать волю фантазии.

На самом деле я пудрил ей мозги от отчаяния, дескать, имя ее было на слуху в Месопотамии и Египте, но этого было достаточно, чтобы ее самочья хватка сдавила мне горло. Невостребованная женская страсть — причина многих катастроф, это вовсе не оригинально, зато правда. Впрочем, пришлось проявить солидарность, ибо заблуждение относительно вместимости писательского таланта применительно к дамской анатомии, а паче того, к предметам канцелярской необходимости, настолько же живуче, насколько миф о припрятанном в ридикюле благородстве. С возрастом, Бат, кроме одышки, прогрессирует сентиментальность, при первых же аккордах «Страстей по Матфею» льются слезы, и никакая величаво-скорбная поза не идет ни в какое сравнение с нашим самовлюбленным, саможалким и самоприторным жестом бледной руки со свежим маникюром, с болтающимися часами на запястье и упертым в едва приморщенный лобик указательным пальцем. Спору нет, сентиментальность — мера духовной инертности, но почему она срывается с резьбы, стоит только смазливой бабе заикнуться о нашей избранности и неповторимости, а вдобавок ко всему припомнить не самый удачный стишок. Слабость наша опережает саму идею верности, к коей мы стремимся всю сознательную жизнь, хотя делаем вид, что представляем интеллектуальную элиту, чей кодекс закреплен желанием самки заполучить нас, и только на закате жизни, когда картонные домики да курносые куклы с синими глазами замещают невыплаканное чувство стадности, мы понимаем, что прошляпили лучшие годы.

Они появляются, когда не стыдно плакать, и мы готовы рвать на груди кожу и обнажать легкие и сердце, бросать им под ноги слитки слов, которые еще накануне можно было переплавить в подсвечники или ночные горшки, уже в когорте собствен-

ности — раз и навсегда — вместе со своей хитростью, рядящейся в приторную внимательность — сю-сю-сю, дорогой, твои носки не первой свежести, дай-ка, я их брошу в стиральную машину, а затем покормлю тебя столичными пельменями со сметаной, вместе с нереализованной потребностью поглаживать ладошкой седые наши кудри да шептать вздор, от которого нега, и щемит в груди, хотя цена ему алтын. Я стал писать странные тексты, заряжая их желчью амикошонства, приправляя дерьмом одиночества и блевотиной непризнанности, и они заворачались как маховики заброшенной лесопилки, подымливая и выгоняя вековой смрад обездвиженности души. А всем, кто пытался выяснить, понимаю ли я что-нибудь в искусстве, плевал под ноги. Вот что я скажу тебе, брат: мотивация и материал — ничто по сравнению с ситуацией, прогнозировать которую можно, но нет никакого смысла.

Вечером мы ужинали в грузинском кабаке «Сам пришел», где подавали перепелные яйца на блестящих шампурчиках и жареный сулугуни, и запивали приторным мукузани подмосковного разлива. Я выразил удовлетворение качеством вина, чтобы не смазать впечатления дамы, а потом вышел на подиум, забрал микрофон у доморощенного певца и продекламировал стихи пьяным голосом, в котором было больше манерности, нежели хмеля, и у женщин в зале загорелись глаза, они пожирали меня взглядом, потому что плаксивые вирши испокон веку неплохо шли с шашлыком и салатом, а процесс пищеварения как раз вступил в активную фазу. Закончив чтение, я медленной походкой вернулся к столику, и спутница извлекала из сумочки пахнущий черной магией платок и промокнула выступившую у меня на лбу испарину.

Как же она была горда!

Между тем женщины храма обжорства по очереди направлялись в туалет, сопровождаемые солидными господами в пиджаках и галстуках, чей взор выражал замешательство, и скрывались за массивными дверями, а мужчины терпеливо ждали их в фойе, пялясь на себя в громадное зеркало и тщательно изучая забитые мясом проемы собственных зубов.

После кабака пошли пешком через Красную Площадь, по Васильевскому спуску и дальше по набережной, хватая ртом снег и ветер, и женщина все норовила прижать меня к парапету, расстегнуть пальто и залезть рукой под водолазку, а я сопротивлялся, ибо в последнее время стал жутким мерзляком, и чтобы не обидеть даму, напустил на себя благопристойность — мэм, я не привык целоваться под стенами Кремля, не угодно ли проследовать в ближайший подъезд, и она смеялась, дыша на меня перегаром. Снег был мокрым, и ветер продувал насквозь, мы продрогли как цуцки, однако продолжали стоять на набережной у парапета, и я валял дурака, рассказывая небылицы про дрессированных кроликов, которых специально откармливают, и те в конце концов превращаются в собак, а она без устали целовала меня, слизывая с моих щек московский тлен, и улыбка не сходила с ее лица.

Позже я вынужден был заявить, что меня ждет больная дочь, и мы взяли таксомотор и поехали на юго-запад по Якиманке и дальше по Ленинскому проспекту. Водитель попался умница, и когда я, оттолкнув от себя женщину, сказал, что мы заняты разбором шахматной партии Каспаров—Карпов, тот, как ни в чем ни бывало, ответил, что шахматы — его любимый вид спорта и что вечерняя Москва порой располагает к любомудрию в виде анализа ферзевого гамбита и антигамбита.

Доехали быстро, я заплатил по счету и выгрузился, а даму отправил восвояси.

Это было так давно, что у меня поменялся цвет глаз. Нынче московская осень все меньше тревожит меня, а семейный радикулит все чаще дает о себе знать.

Жена с дочерью ждали в съемной квартире на улице Обручева. Наутро были

заказаны билеты — мы улетали во Владикавказ. Но поздно вечером, когда я появился домой, распространяя запах чужой женщины, который невозможно было не ощутить в радиусе полукилометра, Сали и словом не обмолвилась, собрала на стол и пошла спать.

Может быть, именно война списывает наше сволочинство, смахивая на пол, будто хлебные крошки, наши проделки, и мы, едва ли не бахвалясь, упиваемся собственной тупостью. Да, война — этой большой термометр, какой висел возле почтамта на Тверской, и градус ее определяется человеческой жизнью, но боль-то, боль разве может засечь прибор? Нет, никакая война на способна списать малодушия. Даже мародеры, всю хозяйничавшие в начале войны в Цхинвале, ангелы по сравнению со мной. Хочется думать, что они бесчинствовали и рисковали жизнью ради близких — все равно добро пропадало, а так украденные вещи можно было продать или обменять на хлеб. Я же вел себя как последняя мразь. Мы привезли дочь в Москву на консультацию, жена сидела с ней в очередях, а я шлялся по бабам. Я мог бы оправдаться, дескать, загулял с горя, но это неправда — у меня снесло крышу от примитивной бабской лести. Поди теперь и выясни — кто я на самом деле. Однако не терпелось добраться до Цхинвала, тянуло на наши перерытые взрывами улицы, к нашим ребятам, я словно хотел оправдаться за свое поведение, хотя никто ни в чем меня не обвинял. И позже, когда мы с тобой держали пари, что я выйду на простреливаемое со всех сторон футбольное поле, встану в центральный круг и разведу руки, я надеялся на прощение грехов. Но, увы, преодолением страха не заслужишь прощения. Это самообман. И если бы даже я выиграл пари, мои грехи остались бы при мне. Куда же им деваться, Бат. Стоя в центре поля и заглядывая в глаза грузину, который уже произвел выстрел, я понял, что война — это птица, летающая над нашими головами, и каждый видит ее по-своему. Когда надо мной колдовал Перебей-Нос, я видел эту белую птицу, она кружила в небе, едва шевеля длинными крыльями, словно пыталась обнять всех нас.

Перебей-Нос не мог остановить кровотечение. У него было типичное лицо боксера. Но глаза лукавые, как у пацаненка — продавца воздушных шаров. Однажды во время боксерского поединка ему сломали переносицу, и мать — добродушная Тедон — запретила сыну заниматься боксом. По воле родителей Перебей-Нос поступил в мединститут и закончил его с отличием, а во время войны — и в первую кампанию и во вторую — откачивал раненых. Он и сам был не дурак пострелять, однако ты, брат, запретил ему брать в руки оружие и велел заниматься своим непосредственным делом. Это было настолько же разумно, насколько необходимо.

— Не шевелись, Олеш, — сказал Перебей-Нос голосом, будто у него был хронический гайморит, и покачал головой. — Лаппута, ма бон нишы у, я бессилён!

Ко мне опустился Инал и погладил по щетине.

— Ты что! — хотел я сказать. — Прекрати немедленно! — Но не получилось.

— Сделай ему укол! — закричал в отчаянии Инал.

Я собрался с силами и прошептал:

— Самсон, помнишь, как мы с тобой наблюдали полет Иктыра в бинокль?

— Не называй меня Самсоном, — усмехнулся Инал.

— И тебя вырвало под окном бабки Малат.

— Помолчи, Олеш!

— Слабак ты, Самсон! — попытался я улыбнуться, но вместо этого задышал часто-часто.

— Да, — ответил Инал и заплакал.

Я задрал голову к небу и подумал — обидно, что не удастся попасть за письменный стол. Гляди, брат, как причудлив мир во всех его мельчайших подробностях. Чертова природа материала — отказывается подчиняться воле писателя в нужное время. Слова, что голыши посреди отмели, только хранят память о весеннем половодье, а вода давно утекла. Супротив воли Господа — стоило ли давать название миру, ежели тот меняется быстрее мысли о метаморфозах, и не об этом ли досадовал Овидий, крича: «Ужасен вид поруганной царицы»! Стоило ли утруждать себя, выхватывая из утреннего ветра гласные звуки, и услаждать чей-то слух, если уж нет ничего привлекательнее однообразия, а озарение — скорбь по никогда не существовавшей красоте, бдение о коей — похмельная отрыжка Вселенной. Ради чего все это, брат мой? Чтобы копаться в воспоминаниях, а потом — какая печаль — собирать на бумагу чужие слова, что грибы в лукошко, только бы успеть ухватить суть за хвост. Я истекал кровью и слезами, Бат, и понимал, что так и не сумел поймать суть за хвост, но не это печалило. В конце концов, она не нужна никому, кроме меня самого, ибо ценность ее проявляется лишь после идентификации с помощью запаха гниющих яблок да сухих апельсиновых корочек, валяющихся в ящике письменного стола и напоминающих детство в Хвелиндро. Или я ошибаюсь? Мне было досадно, что растранижил силы на никому не нужные экзерсисы типа собирания камешков на берегу реки Леуахи, которыми заряжают самодельные рогатки, чтобы подстрелить белую птицу смерти, медленно кружащую над нашими головами. Было тихо. Все выполнили свой долг перед Родиной. Я лежал и глядел в звездное небо.

Уастырджи¹

Генерал Ашордия вышел в белоснежном парадном мундире с позументами, левая рука в белой перчатке вдоль тела едва касается кончиками среднего и безымянного пальцев широких желтых лампас, правая рука без перчатки поднята до уровня груди и тербит золотую пуговицу с крестом, кровь отлила от запястья, и голубые вены на тыльной стороне ладони похожи на арабскую вязь.

— Подсаживайтесь, генерал — пригласил гостя к столу Курдалагон², — почувствуйте себя как дома.

Генерал кивнул и сел в кресло. Он держался достойно, однако подрагивающие пальцы со свежим маникюром выдавали в нем нервозность. Генерал сидел прямо, с высоко поднятой головой, демонстрируя выправку.

— Благодарю вас за приглашение! — сказал он и снова кивнул.

— Хозяин будет с минуты на минуту. — Курдалагон подал знак виночерпию и, наблюдая за тем, как тот наливает из глиняного кувшина в бокал вино, заметил: — Это кахетинское манави, хозяин специально заказал его для вас.

— Это большая честь для меня! — генерал привстал и поклонился.

К столу стали подтягиваться вернувшиеся с прогулки боги. Они весело переговаривались друг с другом, шутили и смеялись.

— Позвольте представить вам пополнившего наши ряды гостя, — встал Курда-

¹ Бог мужчин, воинов, путников в осетинской мифологии.

² Бог кузнечного дела в осетинской мифологии.

лагон, — генерал Алхазур Ашордия. Могу утверждать, что доблесть этого человека не знает границ. Я сам видел генерала в деле и, доложу вам, это было нечто.

Генерал с недоумением уставился на Курдалагона.

— Простите... — он склонил набок маленькую голову, и тонкие ноздри его задержались, как у лошади.

— Ничего, генерал, — снисходительно улыбнулся Курдалагон, — род моих занятий вынуждает быть меня в гуще всех событий.

— Разве вы служили в Афганистане? — спросил Ашордия.

Курдалагон продолжал улыбаться.

— Можно сказать и так. — Затем он поднял бокал и торжественно произнес. — Здоровье господина генерала! За доблесть его и бесстрашие во всех кампаниях, которые, впрочем, не помогли ему выиграть схватку с болезнью. Ведь так, генерал?

Генерал побледнел и опустил глаза.

— Ваше здоровье, генерал! Ваше здоровье, генерал! Ваше здоровье, генерал! — загалдели вокруг.

— Но позвольте! — пожал плечами Ашордия. — О каком здоровье вы говорите? Я умер, и никакого здоровья мне теперь не понадобится.

Гости дружно засмеялись.

— Ну что вы, господин генерал, — сказал Курдалагон и поскреб густую бороду. — Здоровье, оно никогда не помешает! Даже здесь, на террасе Уастырджи!

— Уастырджи? — переспросил Ашордия.

— Да, — кивнул Курдалагон, — Уастырджи.

— Зачем вы притащили меня сюда? — демонстративно отвернулся генерал.

— Успокойтесь, генерал. Никто не собирается потешаться над вами. У нас нынче не принято потешаться над мертвыми генералами.

Над террасой нависла тишина. Было слышно, как трещат цикады. Через некоторое время к нему подошла великолепная Агунда¹ и, хлопая длинными ресницами, произнесла вполголоса:

— Генерал, вы мне симпатичны, — она подняла глаза на худощавого молодого человека в черкеске, стоящего возле перил и поглаживающего тонкими пальцами пастушескую свирель, — хотя муж запретил мне говорить вам это.

Ашордия готов был рассыпаться в благодарности перед прекрасной незнакомкой, но вместо этого сухо спросил:

— Кто вы?

— Боюсь, мое имя вам ничего не скажет.

— Знаю, что выгляжу глупо, — сказал генерал. — Поверьте, я стараюсь изо всех сил сохранить достоинство, но все так неожиданно.

— Так случается со всеми, кто приходит сюда.

— Что со мной будет? — спросил Ашордия.

Агунда еле заметно привздернула краешек губ.

— Вы же прекрасно знаете, что с вами ничего не будет.

— Я дорожу своим именем и честью! — воскликнул генерал так, что все обернулись на его голос.

— Потихе, пожалуйста. Тут не принято повышать голос. Пойдемте, я вам покажу кое-что.

Они пошли вдоль перил, и гости молча провожали их взглядом. Дойдя до конца

¹ Дочь владыки Чёрной горы Сайнаг-Алдара в Нартском эпосе.

террасы, они свернули в нишу и стали подниматься по винтовой лестнице в башню. Агунда пропустила генерала вперед, а сама последовала за ним. На лестнице было темно, каменные ступени высокие, и генералу приходилось высоко поднимать ноги, чтобы не споткнуться. Он запыхался и тяжело дышал в отличие от женщины, легко порхающей над ступенями. Другой дороги не было, но генерал периодически оборачивался назад, стараясь перехватить взгляд Агунды, словно ожидал от нее одобрения своим действиям. Наконец они поднялись в башню, вышли на небольшую площадку, огороженную деревянной балюстрадой. Сверху открывался такой вид, что у генерала перехватило дыхание.

— Смотрите, генерал, это наша с вами Родина, — сказала Агунда.

Генерал всмотрелся в туманную даль и увидел городок в междуречье, и железнодорожную станцию с акацией на площади, где ассирийцы-носильщики переговариваются у входа в здание вокзала, и небольшой автобус, покачиваясь на ухабах, подъезжает к остановке.

У генерала выступили слезы на глазах.

— Это моя Абаша! — дрогнул у него голос.

— Смотрите внимательнее, генерал.

В автобусе открылись со скрипом двери гармошкой, и пассажиры, не особенно церемонясь, полезли в салон со своими тюками и авоськами. Женщина-кондуктор в мужских башмаках встала во весь свой громадный рост и животом надавила на толпящихся пассажиров, отчего те завизжали тонкими голосами, затем вернулась на место, извлекла из кармана пригоршню семечек и принялась их лузгать. Автобус набился до отказа, можно было трогаться. Маршрут пролегал вдоль реки — через мост мимо поста ГАИ, дальше по грунтовке лесом до села Абаша.

Конечная остановка была под раскидистым дубом возле сельской конторы, помещавшейся в деревянном бельэтаже с балконом и крыльцом, у лестницы металлическая скребелка из старой косы и худые поручни, из распахнутых настежь окон, выходящих в сад, доносятся голоса и стук пишущей машинки. Рядом клуб и сельпо, а за ними школа-семилетка, во дворе которой пасется лошадь. Школа небольшая, всего два класса, и учительская с портретом Ильича, а на заднем дворе волейбольная площадка, усыпанная толченым кирпичом, и длинный сарай.

— Я там родился и вырос, — сказал генерал.

— Вы могли об этом не говорить, — сочувственно отозвалась Агунда.

— Теперь я понимаю, зачем вы привели меня сюда. — Он провел тыльной стороной ладони по глазам, перегнулся через перила и простонал в пустоту: — Я хочу обратно туда.

— Генерал, не делайте глупостей, — тронула кончиками пальцев его локоть Агунда. — Человеку дана всего одна смерть.

Он обернулся к ней, не скрывая слез, и сказал:

— Я никогда не думал, что совесть может мучить даже после смерти.

— Да! — ответила Агунда.

— И как долго?

— Всегда.

Автобус подъехал к конечной остановке, пассажиры покинули салон и не спеша разошлись по домам. Генерал смотрел, не отрываясь, им вслед, запрещая себе идентифицировать походку и голос каждого, иначе он сошел бы с ума, но не мог оторвать от них взгляда, словно бы питая воспоминаниями изболевшееся сердце. Сейчас они приблизятся к усадьбе, обсаженной по периметру тополями, и дому в

глубине с разошедшимися половицами и пахнущими кориандром коврами по стенам, увешанными серебряным оружием, на балконе покачивается резная колыбелька из ореха с торчащей снизу трубкой, и малыш, брошенный няней, пытается высвободиться из постромков, но, не добившись своего, хнычет, а за домом кухня с погребом, и дальше виноградник до самой реки, и на реке здоровяк в одних трусах вынимает сети, полные рыбы, и с берега сидящий на корточках малец кричит ему что-то...

— Я лишь выполнял приказ, — сказал он, и желваки загуляли у него по скулам.

Женщина молчала. Внезапно ей показалось, что доступ к высшей тайне, открытый ей незадолго до пиршества хозяином, в сущности не стоит и выведенного яйца, что испытание, уготованное гостю, — лишь проекция или малая доля того, что ей отпущено вместе с тайной, только говорить об этом бессмысленно, да и с кем? — генерал из гордости не примет сказанного — скорее выбросится из башни — Ацамаз¹ же с Курдалагоном собаку съели на этом деле. Агунда усомнилась, по праву ли доверено ей испытание генерала, ведь по сути, пусть и с ошибками, но он выполнил свой долг перед Родиной. Спроси любого из гостей, как бы он поступил на месте генерала, каждый, не задумываясь, ответил бы, что так же, потому что интересы Родины превыше всего. Ежели эти самые интересы совпадают с содержанием приказа о наступлении и истреблении целого народа, то способность гасить в себе жалость к ни в чем не повинным людям называется профессионализмом. Ах, да, профессионализм! — с горечью подумала Агунда. Кто сказал, что умерщвление детей и женщин в подвалах разрушенных домов посредством подлой хитрости есть профессионализм? Разве не по приказу генерала его солдаты меняли тембры голосов, стоя у входа в подвал и прислушиваясь к шумному дыханию прячущихся внутри людей, и окликали их на чистом осетинском языке: «Есть кто живой, родные?» И дрожащие от страха голоса отвечали: «Да!» Время между выдергиванием чеки и взрывом составляло вовсе не восемь секунд, а долгие тысячи лет — с момента, когда Господь переложил на плечи смертных ответственность за выбор между добром и злом, за выбор между интересами Родины и чужой жизнью. Умертвив женщин и детей — хитростью ли в подвалах или настигнув их на площади города и выпустив им кишки, — они возвращались на Родину, гордые и удовлетворенные, потому что выполнили долг, и им рукоплескали собственные жены и дети, их забрасывали цветами как героев, и им ничего не оставалось, как скромно склонить голову, пока не приходил более сильный враг и в интересах своей Родины не проделывал с его семьей то же, что и он совсем недавно с другими. Агунда вспомнила о тайне хозяина, которая, по ее мнению, не стоила и выведенного яйца, которая давно уже — с тех пор, как людям позволялось рыться в своем прошлом, как в комод с бельем, — перестала быть тайной, о вечном круговороте добра и зла и о том, что в зависимости от того, в каком месте и в какое время доводилось оказаться человеку, его подминала под собой та или иная ипостась, а он мнил себя носителем идеи — какая печаль. Так зачем же ее выбрали? Ради чего весь этот балаган? Может быть, им кажется, что женщине проще утирать сопли генералам? Какая чепуха! Да, перед смертью генерал исповедался в церкви, а потом приказал своему водителю отвезти его в Храм Джеруастырджи², что на территории разрушенной Осетии, но приказа его никто не выполнил, и не потому, что его растерзала бы толпа осетин, просто этот порыв не вписывался в интересы Родины. Да, возможно, держа голову на коленях плачущей жены в родовом имении Абаша, задыхаясь от вонючих выделений

¹ Муж Агунды, музыкант и певец в Нартском эпосе.

² Храм недалеко от Цхинвала.

из гниющего желудка, генерал горько сожалел о содеянном, но он меньше всего думал о безвинно убиенных его солдатами детях, женщинах и стариках. И сейчас, омыв свою душу чистой водой воспоминаний детства, он плачет не по убитым детям. Генерал терзается ностальгией, вот что. А добро и зло свершают свой круговорот с прежней размеренностью, и милосердие вовсе не в компетенции человека. Потому и собрались боги здесь, на террасе у Уастырджи. Бессмертие — даже не наказание, увы. Это способ исправить допущенные ошибки. Но при чем тут генерал? Человеческие страдания — что желтые мячи для тенниса. Люди испытывают угрызения совести, винят во всех грехах себя, но они ни в чем не виноваты. Просто боги подтягивают их души к террасе Уастырджи, чтобы замазать их собственным бездушием. Ну какая же это тайна? Это игра в трик-трак на закате солнца.

Агунда ощутила прилив раздражения. Она взяла генерала за локоть и подвела его к противоположной стороне смотровой площадки.

— Мне велено показать вам это тоже, — сказала она и протянула руку куда-то вниз.

Генерал проследил взглядом за ее рукой и увидел внизу разрушенный город в ложбине, над которым парят разноцветные воздушные шары, похожие на качающиеся буйки, и гору Згудер с кладбищем и часовней, изрытую взрывами дорогу и ниже полуразрушенный городской стадион, посреди которого стоит неуклюжий очкарик и машет кому-то рукой, а в семидесяти метрах, прячась за руинами, человек в камуфляже вскинул снайперскую винтовку и целится в него.

— Стоп! — сказала Агунда.

Ашордия вздрогнул, но не обернулся. Ему почудилось, будто снайпер тоже услышал команду и замер, прижавшись глазницей к резиновому ободку прицела. Генерал вспомнил все обстоятельства дела и немного поморщился.

— Кажется, это поэт, — произнес он небрежно.

— Да, — отозвалась Агунда, — это поэт. И сейчас снайпер его застрелит.

— Не нужно вешать всех собак на меня.

— Никто и не собирается этого делать. Наш мир причудлив, иногда, прокручивая в голове тот или иной эпизод жизни и меняя в воображении действия, мы делаемся лучше.

Генерал понял, что имела в виду великолепная Агунда. Он понял и то, что последняя фраза вырвалась у нее непроизвольно.

— Я хотел сказать... — он замолчал.

— Лучше не говорите ничего, — сказала Агунда. — Каждому воздастся по его делам.

— Разве? — генерал посмотрел ей в глаза и увидел, что они печальны.

— Я знаю, что вы были против этого убийства.

— Более того, я пытался отговорить всех. Но мне дали понять, что инициатива исходит от самих осетин, от его ближайшего друга.

— Да, генерал, я знаю, но это уже другая история. Убийство само по себе рушит гармонию. Он не был гениальным поэтом, но обладал даром предвидения.

— Почему же вы его не спасли? — закричал генерал, и голос его скатился в ущелье, что отвалившееся от арбы колесо.

— Ш-ш-ш! — сказала Агунда. — Этот вопрос не ко мне.

Генерал Ашордия снова посмотрел вниз и заметил, что туман расступился и газон стадиона зазеленел, как в прежние года, и центральный круг, начертанный известью, похож на лупу в блестящей алюминиевой оправе, в которую с вершины горы

Згудер сквозь могилы и мраморные плиты с крестами глядится седой командир в защитной униформе, и рядом с ним навытяжку недавно научившийся бриться ординарец.

В воротах, как обычно, стоят мальцы без перчаток. Слышны голоса игроков и свисток судьи — как издали гудок паровоза, у нападающих как одной, так и другой команды правая нога пониже колена перехвачена тряпкой — значит, смертельный удар, он не имеет права бить по мячу этой ногой — нечестно, и форварды старательно придерживаются неписанных правил, что вызывает уважение у соперников, да и у немногочисленных зрителей. Между тем очкарик снимает башмаки и носки, закатывает штаны, становится слева в полузащиту, подхватывает мяч и во весь дух несется по краю, придерживая очки, однако, не добегая нескольких метров до штрафной площадки, падает, его сбивает защитник — грубо и нахально, — и очкарик катается от боли по зеленой траве.

— Не двигайся! — кричит кто-то.

Подбегают Большой Бат, Дзигло, Хох, еще кто-то, чьи лица скрыты под масками, подхватывают его и несут.

— Только не раздавите очки! — говорит травмированный очкарик. — Я же ни фига не вижу без них!

Кладут на землю и шарят в траве.

— Да вы что! — орет он, хватая их за волосы, за уши, за нос, — Ох...ли совсем? Поставьте меня на ноги, сам дойду.

По всем правилам уличного боя — короткими перебежками — приближается Инал, высокий и худой доходяга, и берет очкарика за руку. Большой Бат кричит, надрывая гортань, чтобы он уе...л в укрытие, пока его тоже не шлепнули грузины, а Инал, словно и не слышит ничего, мнет ладонь очкарика и плачет.

— Не смей, Самсон! — говорит очкарик и закашливается, закашливается кровью, и в конце концов его выворачивает наизнанку — пряной розовато-зеленой пеной, и ему сразу же становится легче.

— На хера ты полез под пули? — продолжает кричать Большой Бат, и очкарик улыбается, потому что не слышал ни разу, чтобы тот матерился. — Сидел бы дома да писал свои романы! Где Инал? Где этот гребаный наркоман?

— Здесь я, Бат! Не нужно кричать! — отозвался Инал.

— Хоть из-под земли, но достань мне снайпера!

Приказ не долетел до ушей генерала, но он угадал его смысл. Впрочем, что тут гадать. Он резко повернулся и направился к винтовой лестнице, ведущей вниз, на террасу...

Фигляр предзимья

В понедельник мама приехала умирать. Ей приготовили комнату, постелили накрахмаленную постель, как она любила, возле кровати поставили стул, застланный голубым полотенцем, на котором лежали ее наручные часы, чашка и блюдце, и открыли окно. Позже жена скажет мне, что когда мы с Димой несли ее, сидящую на стуле, она была зеленого цвета, но я этого не замечал. Мама еле дышала, и я думал только о том, как бы быстрее уложить ее в кровать, чтобы она отдохнула. Сказать, что, сидя на заднем сиденье машины в обнимку с мамой, я пытался оторваться от смерти, — это неправда. От дома сестры в Аннино, откуда мы ее забрали, до Ясенево всего-то

семь километров, пятнадцать минут езды по МКАД. Но дело не в расстоянии. Просто время привязано простым узлом к деревянной двери сарая, беленого известью, в котором стоит этажерка с посудой, стол, два стула и топчан с какими-то мешками. Мы выросли возле этого сарая, и каждый раз, когда кто-то умирал, время дергало дверь, и она распаивалась настежь, и изнутри тепло пахло хлебом, хранящимся про запас в алюминиевой кастрюле. Даже в самые тяжелые времена, когда не стало Феликса или когда мой дядя Уани не вернулся из школы, где после инфаркта он работал ночным сторожем, веревка немного провисала, но дверь, точно живая, поскрипывала на ветру, внушая спокойствие, и мы продолжали жить. Но в этот раз узел развязался, и время оторвалось от прошлого, как шлюпка от причала, и медленно стало уплывать в туманную даль. Я ощутил это сразу, как только мы вошли в квартиру, и ветер ворвался в распаханное настежь окно, раздувая, будто паруса, занавески, и кто-то бросился их ловить, а мама сказала: «Оставьте, не трогайте!»

У нее был рак, два месяца назад в одной из московских клиник ей удалили опухоль вместе с кишкой длиной в два метра и, не особо надеясь на то, что она придет в себя после наркоза, зашили живот. На удивление мама очнулась и, когда ее перевезли из реанимации в обычную палату, позвонила мне:

— Как тебе не стыдно! — произнесла она слабым голосом. — Двенадцать часов дня, медсестры бросили меня на кровати совершенно голую, с торчащими трубками, а вам хоть бы хны.

— Прости, мама, — залепетал я, — хирург говорил, что тебя переведут в палату после двух. Немедленно едем к тебе.

В больнице, на десятом этаже, пахло манной кашей и стоптанными домашними тапками. Она провела там десять дней, причем чувствовала себя вполне даже сносно, у нее был неплохой аппетит, и она аккуратно выполняла предписания врачей. Оперировавший ее хирург, молодой, рыхлый провинциал с редкой бородой, мгновенно подружился с моим сыном. Звали хирурга Лёшей, он был из Нижегородской области и сам, без чьей-либо помощи, сутки напролет простаивая за операционным столом, сделал карьеру, буквально выгрыз себе должность заведующего отделением. По просьбе сына Лёша скрыл от меня настоящий диагноз мамы, сообщив, что у нее прободение, обычный перитонит — так бывает у пожилых людей, и если она станет придерживаться диеты, то все будет нормально. На третий день после операции по совету хирурга мама уже старалась ходить по палате, одной рукой опираясь на палку с янтарной ручкой, а второй придерживая дренажные трубки, торчащие из живота, и висящие на них пластиковые приемники. Когда ее выписывали, в палате собрались все близкие — дети, внуки, зятья и снохи, и она, чувствуя на себе завистливые взгляды соседок по палате, ослепительно улыбалась и желала всем скорейшего выздоровления.

Мы привезли ее ко мне в Ясенево, уложили в белоснежную постель и окружили заботой. Мама шла на поправку — ела каши и пюре, даже приходилось ограничивать ее в приеме пищи, пока не заживет все в животе и не восстановится стул. Вечерами выходила к телевизору, садилась в большое кресло, кладя ноги на подлокотник, и дремала. Проснувшись, требовала внимания и пела древнюю осетинскую песню про Таймураза Кодзырты, слова которой неспешно выживала из памяти. Песня была грустная: о том, как Таймураз просил родителей поменять быка на оружие, однако те не согласились, он ушел на войну без оружия, и его убили, и тогда быка закололи для поминок. Впрочем, у осетин мало веселых песен. Странно другое — раньше мама не пела нам вовсе.

Через месяц она захотела переехать к сестре, чтобы мы отдохнули от нее.

Никакие наши отговорки не действовали, хочу, мол, в Аннино, и все. Словом, вызвали такси и перевезли, благо, недалеко. Сестра — сама врач, живет с мужем Димой и сыном-студентом Лёхой. Ее присмотр, конечно же, был более квалифицированным. Я приезжал каждое утро, сидел возле нее и беседовал на разные темы. Первое время мама чувствовала себя весьма неплохо — сама передвигалась по квартире, стряпала понемногу и даже прибиралась. Иногда, примостившись у кухонного стола, доставала из сумки старую изодранную записную книжку в дерматиновом переплете, в которой были зафиксированы не только телефонные номера и адреса, но и дни рождения, праздники, именины, кто из родственников предпочитает пирог со свекольной ботвой, а кто с сыром, кому из стариков по сердцу лакомства в виде зефира в шоколаде, а кому — конфеты трюфели. Ее записная книжка представляла собой незаменимый справочник для оторванных от Родины домочадцев. Мама не пропускала ни одного дня рождения близких и родных, мало того, что сама поздравляла всех, но заставляла и нас обзванивать именинников. Но спустя две недели ее внезапно покинули силы, и оттого, как совершенно спокойно она стала давать мне поручения, я запаниковал.

— Если вдруг что-то случится, — сказала она, — приведи в порядок могилу. Скажи Гоче, чтобы привез грузовик гравия и засыпал проходы на кладбище, иначе во время похорон женщины себе ноги переломают.

— Ну что ты, мама, — возразил я, — тебе рано об этом говорить. Я все сделаю, но летом, когда мы все приедем в Осетию.

— Да, конечно, — кивнула она, — только я хочу, чтобы ты не забывал об этом.

— Хорошо, мама.

— После сорока дней съезди в Самтредию и навести могилу Бено. Хоть они и поссорились с твоим отцом, но он не был плохим человеком. Послушайся меня хотя бы раз.

— Я тебя всегда слушаюсь, мама.

Она бросила на меня хитрый взгляд, но эта хитрость по закону Архимеда была вытеснена из глазниц усталостью.

— Да, — продолжила мама, — поезжай в Самтредию и обойди всех соседей, да не забудь купить всем по коробке конфет. Сделай это ради меня, сынок.

— Сделаю, — сказал я.

— Жизнь не спрашивала у нас разрешения, когда затевала свистопляску, но я не ропщу. Ведь мы прожили не самую худшую жизнь, не правда ли?

— Да, мама.

— Посмотри, каких внуков я вам воспитала.

— Я это знаю.

— И на самтредцев я не держу зла, хотя многие из них злорадствовали, когда нас выгоняли из дома, как собак, и твой отец умер в изгнании, в чужом доме.

— Не надо сейчас вспоминать про это.

— Я сама знаю, что нужно вспоминать перед смертью, — сказала она, и меня затрясло. — Закончи рукопись отца, стыдно, сколько лет она лежит без толку. Может быть, у тебя не хватит ума? Тогда скажи своему старшему сыну, он-то точно сможет, поумнее тебя будет.

— Ладно, закончу.

— Позвони Жужу в Самтредию и скажи ей, чтобы привезла фотографию, где мы с твоим отцом еще молоды, ты помнишь ее?

— Конечно, — ответил я, не в силах унять дрожь.

— Сделай с нее копию для могильной плиты. — Мама вдруг улыбнулась и

прикрыла глаза. — Тогда твой отец не был еще седым, у него были мягкие волнистые волосы и длинные ресницы, как у вола. Я любила ерошить его волосы перед сном, чтоб никто не видел, а он злился, как мальчишка. Господи! — вздохнула она. — Как мы были молоды и глупы. Оставили твоего старшего брата Феликса на попечении бабушки Любы, когда уезжали работать на Донбасс. А он был уже большой, все понимал, и когда мы стояли в дверях, смотрел на нас грустно. Никогда себе не прощу этого.

— Успокойся, — сказал я. — Я знаю эту историю.

— Да, — отозвалась она, — знаешь, только не все. Ты не можешь знать, как мой мальчик плакал по ночам, вспоминая меня, а бабушка Люба, пытаясь унять его плач, подсовывала ему леденцы, и он выплевывал их.

Я подсел к ней и взял ее за руку.

— Успокойся, тебе вредно волноваться.

— Он умер, не дождавшись моего приезда, — всхлипнула мама. — Уани говорил, что Феликс до последней секунды искал меня глазами. А я вместе с твоим отцом тряслась в плацкартном вагоне поезда Харьков—Тбилиси. Мой брат выкрал его из больницы и принес домой, завернутого в казенное одеяло. Врачи уже были бессильны, пневмония.

— Знаю.

— Откуда ты знаешь... Уани выкрал его из больницы, просто завернул в клетчатое одеяло и выкрал, и за ним до самой трамвайной остановки бежал усатый привратник в галифе и хромовых сапогах, выворачивая ступни, как балерун, и перекрикивая грохот тбилисских трамваев...

— Пожалуйста, мама.

— Одна надежда — что встречусь с ним там и вымолю прощение...

Я попросил ее передохнуть, но она не послушалась и продолжала говорить, растягивая слова, точно бельевую веревку, увешанную распашонками да обрывками белого отчаяния, от детской больницы Авлабара до наших бараков в Нахаловке, где даже убийцы и воры не забирали младших, а напротив, приносили во двор серые кульки, высыпали содержимое на землю, и детвора со счастливыми воплями: «Мишка на севере, мишка на севере!» — неслась собирать конфеты. Уани принес Феликса, положил на кушетку возле сарая и развернул его, и подоспевшие бабка Поля и дед Сушков, едва глянув на мальчика, сказали, что он не жилец. Уани прогнал их, но стали собираться соседи, и Тебри, у которой не было никогда своих детей, взяла Феликса на руки и запела колыбельную, и все замолчали.

— Хочешь чего-нибудь поесть? — спросил я.

— Нет.

— А попить?

Она медленно повернула голову — примятые седые волосы, карие глаза в пол-лица и заострившийся нос — и внимательно посмотрела на меня.

— И еще: я не хочу, чтобы на моих похоронах присутствовали Коцон с Аланом. Хотя, Бог свидетель, я никогда их не вычеркивала из молитвенного списка. А теперь отведи меня в туалет.

Я взял ее под мышки и посадил на диван, чтобы она собралась с силами. Потом осторожно поставил на ноги, обхватил за талию и не спеша повел из комнаты в коридор. По пути мы несколько раз останавливались отдохнуть, она повисала на моем плече, губы ее были возле моего уха, дыхание согревало мне барабанную перепонку, и продолжали движение. Распахнув дверь туалета, я стянул с мамы все, что на ней было, задрал ночную рубашку и посадил на унитаз. Она вращала головой и тяжело

дышала. Я отмотал длинный кусок туалетной бумаги, поднял маму и увидел в унитазе большие кровавые сгустки, но виду не подал. Я привел ее в порядок, держа за поясницу и стараясь быть аккуратным, оправил рубашку, а потом повел обратно на диван, и это было гораздо тяжелее, потому что мама совершенно выбилась из сил. Уложив ее, позвонил сестре и сообщил, что у мамы кровавый стул. Та помолчала немного и ответила:

— От тебя все скрывают, берегут твою нервную систему, но ты должен знать — у мамы рак.

— Как, у нее же все было нормально.

— Я сейчас приеду, — словно бы не слыша меня, произнесла сестра.

Это было в воскресенье. А вечером следующего дня мама изъявила желание вернуться в Ясенево — умирать. Я заказал такси через яндекс, подождал немного, пока придет эсэмэска, но не выдержал и позвонил сыну. Было около шести часов, и я подумал, что пока он будет плестись на своей машине через весь город по пробкам в Аннино, мне быстрее удастся добраться на метро.

Мы с Димой закутали маму в теплое одеяло, посадили на складной стул и кое-как вынесли на лестничную площадку. Затем вызвали лифт и спустили во двор. В машину ее пришлось затаскивать — я сел на заднее сиденье и принял маму у сына с Димой, придерживая под мышки, причем моя левая нога осталась на сидении за спиной у мамы. Мама в бессилии откинулась на меня, я обнял ее, и так мы поехали домой.

Во вторник утром я смотался в аптеку и купил судно. По словам провизора, дамы в белом халате и золотой оправе очков, оно удобное и практичное и не должно доставлять больших хлопот. «Посмотрите, — сказала дама проникновенным голосом, суя мне в окошко пластиковую упаковку, — судно повторяет анатомические особенности лежащих больных, с мягким бортиком, с одной стороны действующим как присоска, а с другой стороны — не позволяющим выливаться содержимому резервуара». Однако мама категорически отказалась от него. Впрочем, в туалет мы сходили всего два раза, да и то безрезультатно. В обед она похлебала бульону, сделала несколько глотков святой воды, после чего напрочь отказалась от пищи. К вечеру состояние резко ухудшилось. Я видел, как заостряются черты ее лица, как временами она впадает в беспамятство, но отгонял дурные мысли. На мои вопросы — чего бы ей хотелось — мама просила погасить свет и оставить ее в покое. Придя в себя после очередного забытья, она попросила позвать сестру. Я велел сыну съездить за сестрой, а сам сел возле мамы и положил голову ей на живот. Она погладила меня по щеке и уронила руку на постель. Так неподвижно мы пробыли какое-то время, и мне показалось, что ей стало легче. Потом мама попросила снять с нее гольфы. На ней не было никаких гольфов, и я сказал ей об этом. На что мама повторила приказным тоном, чтобы я снял с нее гольфы. Я сделал вид, что снимаю с нее гольфы. После этого она велела принести ножницы и разрезать на ней ночную рубашку. Я принес из кухни ножницы, почикал ими возле ее шеи и сообщил, что рубашка разрезана. Мама посмотрела на меня неожиданно ясными глазами, усмехнулась и произнесла:

— Кого ты обманываешь?

— Я тебя не обманываю, — возразил я.

— Посмотри, — сказала она, растягивая ворот пальцами, — эта проклятая рубашка не дает мне дышать.

— Что мне сделать, мама? — спросил я.

— Сходи, посмотри в окно, не приехала еще твоя сестра.

- Да чего там смотреть, скоро приедут.
- Нет, сходи и посмотри.
- Ладно, — согласился я, встал и поплелся на кухню.

И как только я вышел из комнаты, она перестала дышать. Тишина навалилась мне сзади на плечи огромным, страшным, неведомым зверем, и у меня подкосились колени. Но что самое интересное, в это самое мгновение открылась дверь, и в проеме замаячила бритая голова Димы, а за ним развевающиеся на сквозняке черные, как смоль, волосы сестры. Увидев меня в таком положении, они догадались обо всем. Сестра сбросила на пол шубу и кинулась к маме делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, вслух считая надавливания на грудную клетку — «Раз, два, три, четыре, пять... Боже, что я делаю!» Все было тщетно. Затем она отмотала длинный кусок бинта и принялась подвязывать ей челюсть, но у мамы выпали вставные зубы, и сестра заплакала. Я отстранил ее и стал укладывать зубы в рот покойнице — клок, клок, клок! — как кубик Рубика, но не получалось.

- Оставь! — сказал Дима. — Все равно в морге ее будут приводить в порядок.

И я оставил ее в покое.

После похорон я вернулся из Осетии в Москву и сел за письменный стол. Долго и тщательно чинил карандаши, перекладывал с места на место бумаги и книги, но не мог приступить к работе. По опыту я знал, что вряд ли избавишься от боли, если обозначишь ее в тексте и спустишь запруду эмоций. Банально, но спасает только время, стаскивая с нас, будто змеиную кожу, нашу сущность. На какое-то время мы остаемся нагими перед Господом, чувствительными к малейшему прикосновению, однако обрастаем потихоньку новой сущностью, которая являет собой коросту затянувшейся раны. Боль? Это не свобода в выборе поведения, не отчаяние в глазах и не ожидание сочувствия друзей, с которыми ты только и знал, что глушил водку да умничал, потому что в конечном итоге ты с лихвой получишь это самое сочувствие, и тебе станет легче, но на горбу все одно зашевелится муравейник красоты и проекции твоего отчаяния, а это, господа, ложь. Боль — это когда не можешь думать, и привычный для писателя аппарат сравнения в виде флейты-фа или щипчиков для ногтей, который обычно хранится в нагрудном кармане возле сердца, не выдерживает напряжения и ломается, как детская игрушка, и тебе уже плевать на то, в каких величинах — в килограммах, байтах или вольтах — ты выразишь отчаяние. Часть жизни, в коей ты всегда чувствовал себя королем и, подобно слепому нищему, находил себе призвание, отключается, как свет в целом городе, и ты остаешься один на один с темнотой, давящей на тебя всей своей мощью и выжимающей из твоей мышины глотки писк. Боль — это когда уже нет близкого, ее увезли санитары, завернув в два слоя простыни, и, хотя кто-то отпихивал тебя подальше, дабы ты не видел, как бесцеремонно обходятся с ней, стаскивая с кровати на расстеленные на полу простыни, ты все-таки заметил худое и голое тело, старчески вислые ягодички и бледные пальцы рук. Потом ты обнюхиваешь смятую постель, ловя воронками ноздрей привычный запах, и кажется, что пуповина рвется повторно, а на следующее утро не позволяешь притронуться к ее вещам — палке с янтарным набалдашником, голубому халату с оторочкой, бутылке со святой водой, — потому что в этом мире может быть все что угодно, и не хрена опережать события.

Он сидел возле нее и держал ее за руку.

- Выйди из комнаты, — сказал я.
- Почему? — спросил он, не оборачиваясь.
- Просто выйди.

Он обернулся ко мне, и я увидел, что лицо его в слезах и губы подрагивают.

Тогда я закрыл дверь, провернул замок и сел в ногах у мамы. От нее по-прежнему пахло лекарствами, домашним уютом, но не смертью.

— Только что она была жива, — сказал он.

Я промолчал.

— Почему так? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я.

В дверь забарабанили, и я рывкнул, чтобы проваливали куда подальше.

— Нам необходимо осмотреть тело, — сказал мужской голос.

— Пошел ты! — сказал я.

— Возьмите себя в руки, — произнес тот же голос, — у нас куча работы.

— Надо пустить врачей, — сказал сын и бережно опустил руку мамы на одеяло.

Рот у нее был приоткрыт, зубные протезы лежали на подушке.

Я отпер дверь и впустил в комнату врачей с кардиографом. Те немедленно стали подсоединять датчики. Вышел на кухню, где застал двух полицейских — капитана и лейтенанта, а также девицу по имени Лиза, представляющую ритуальную службу. Капитан, плотный и усатый мужчина, сидел за столом и заполнял протокол, периодически промокая плешь под форменной фуражкой сложенным вчетверо платком. Перед ним в развернутом виде лежали паспорта. Лейтенант же — напротив — худой и юркий, похожий на артиста Евгения Миронова, постоянно бегал в комнату, где хозяйничали врачи, возвращался и что-то нашептывал на ухо капитану. Девица Лиза пыталась охмурить супругу, предлагая самые разнообразные ритуальные услуги практически за бесценок. Судя по бородавке над верхней губой и малоросскому говору Лизаветы, маркетинг у компании ритуальных услуг был поставлен отвратительно. Как она появилась в доме, осталось загадкой. Капитан закончил заполнять протокол и велел мне приписать под его диктовку несколько предложений, дескать, я, такой-то такой, вернулся домой в такое-то время и увидел лежащую на кровати мертвую женщину восьмидесяти трех лет без признаков насильственной смерти, погоревал пять минут и в такое-то время позвонил в полицию, что и подтверждаю в ясном уме и твердой памяти, подпись. Я написал в точности то, что он продиктовал, даже орфографию сохранил, после чего полицейские забрали протокол, попрощались и ушли. Вошел Дима, достал из буфета графин водки, налил два стакана, и мы выпили без слов. Лизавета продолжала охмурять супругу, которая уже начинала проявлять признаки нервозности.

— Девушка, откуда вы взяли? — спросил Дима.

— Я представляю ритуальные услуги, — пошевелила торчащим из бородавки волоском Лиза. — Сейчас приедут наши санитары и заберут тело.

— Пардон, — возразил Дима, у которого от водки на бритом черепе выступил пот. — А почему это наше тело должны забирать ваши санитары?

— Ну как же? — залепетала Лиза. — Вы же хотите похоронить умершую?

— Хотим, — кивнул Дима, — но без вашей помощи. К тому же нам везти ее далеко.

В это время в открытую дверь квартиры ввалились санитары в униформе и, не обращая на нас внимания, спросили у Лизы: «Где покойник?» Та ответила, что в комнате, но вопрос транспортировки пока еще не решен.

— В чем дело? — недоуменно спросил один из санитаров, вращая хмельными зрачками.

— Да откуда я знаю! — раздраженно ответила Лиза. — Наверно, они сами хотят везти покойную.

И тут как нельзя кстати появился хирург Лёша. Он выразил нам соболезнование и взял под контроль ситуацию.

— Так, — обратился он к санитарам. — Вы, молодые люди, подождите пока на лестничной площадке, а я сделаю несколько звонков, и вы повезете покойную туда, куда я скажу.

Санитары вместе с девицей Лизой заворчали, но Лёша спокойно объяснил им, что собирается звонить бывшему своему учителю, а ныне главному врачу города Москвы с целью заручиться его поддержкой, что они, конечно, могут ехать на все четыре стороны, но тогда придется доложить, что служба перевозки умерших не выполнила свою работу, бросила покойную. Санитары, а следом за ними и Лиза, вышли на лестничную площадку. Лёша действительно сделал несколько звонков и решил вопрос не только с транспортировкой покойной, но и с заключением о смерти.

На следующий день сын привез нас с сестрой в морг. Мы протопали по пропахшим формалином холодным коридорам двадцать минут, пока не нашли нужную дверь. Навстречу нам вышел патологоанатом, бородатый мужчина в белом халате и очках. В левой руке он держал развернутую папку с бумагами, а в правой огромную кружку с чаем.

— Что вам угодно? — сухо спросил он, посасывая клочок бороды под нижней губой.

— Нам нужно заключением о смерти.

— Хм! — сказал патологоанатом. — Здесь всем нужны заключения о смерти, только никого уже нет из администрации. Приходите завтра.

— Мы от Алексея Николаевича.

— От какого еще Алексея Николаевича?

— Прекратите валять дурака, — разозлился я. — Нам завтра везти умершую.

— Ну что же я могу поделать, милейший, — смягчился очкарик. — Я же не виноват, что вы припозднились. Уже два часа, никого уже нет из начальства.

— Вас разве не предупредили, что мы приедем именно к двум часам? — спросила сестра.

— Не помню... Слушайте, пусть ваш Алексей Николаевич и делает вам заключение.

Я извлек из внутреннего кармана пиджака конверт и положил на стол.

— Пожалуйста, — сказала сестра, — помогите нам.

— Ну что вы! — возмутился патологоанатом. — Я взятку не беру!

— Разве это взятка? — усмехнулся я.

Патологоанатом поколебался немного и произнес:

— Только из уважения к Алексею Николаевичу! — и, повернувшись к сестре. —

Вы привезли одежду покойной?

— Да, конечно.

— На ней были ценности, украшения?

— Мы все сняли.

— Вскрытие делать будем?

— Нет. Мама просила не делать вскрытия.

— Чудненько! — патологоанатом отхлебнул чаю, шумно прополоскал рот и проглотил. — Когда гроб привезете?

— Через пару часов.

— За бальзамирование придется заплатить в кассу двенадцать тысяч.

— Может быть, мы вам отдадим деньги, а вы сами решите, что с ними делать, — предложила сестра.

— Ладно, — согласился очкарик.

— Знаете, — сказала сестра, еле сдерживая слезы, — у мамы выпали протезы, и мы не смогли их вставить обратно. Постарайтесь, чтобы она выглядела нормально.

— Это наша работа.

Через десять минут заключение было готово.

Утром в десять сорок мы все, кроме Димы, вылетели во Владикавказ. Нас встречали на четырех машинах двоюродные и троюродные братья. Обнимая их поочередно, я чувствовал, что мне становится легче. Дима прилетел тремя часами позже вместе с телом. По правилам транспортировки груза 200 гроб упаковали в цинковый ящик. Нам вывезли его на тележке к воротам аэропорта и выдали под роспись. Затем помогли погрузить в газель, и мы поехали в сторону города. По пути остановились у города ангелов в Беслане, возле мусорного контейнера, разрезали цинк ножницами по металлу, извлекли гроб, а ящик выбросили. Гроб был большой и красивый, с крестом на крышке, посверкивал, как виолончель. Кто-то из братьев предложил проверить содержимое, но я запретил, и тогда все отошли и встали в нескольких шагах. Хозяин газели захлопнул заднюю дверь, и мы расселись по машинам.

Уже темнело, когда колонна из четырех машин подъехала к четырехэтажному дому на проспекте Коста. Во дворе пахло костром и чесночным маринадом. Дверной проем маминой квартиры на втором этаже был маленьким, и гроб не пролезал. О смерти никто не хочет думать, застраивая лестничные площадки. Пришла Коцон, которую мама не хотела бы видеть на своих похоронах, и стала руководить процессией. Под черной косынкой виднелись короткие, крашенные в пепельный цвет, волосы, лицо гладкое, почти без морщин, зубы расшатаны пародонтозом. Она никогда не любила своего мужа Уани, да и дядя ее не любил. Их свели мои родители, когда дяде стукнуло тридцать восемь лет, а он все еще не собирался жениться, и это был несчастный брак.

Крышку сняли возле подъезда и прислонили к стене у входа. Когда гроб несли по узкой лестнице, Коцон путалась под ногами, демонстрировала активность, пока ее не прогнали. Братья раздобыли две простыни, перевязали маму, повернули гроб на тридцать градусов, придерживая голову, как греческую амфору, и втащили в однокомнатную квартиру. Они поставили гроб в комнате на табуретки, смахнули пот со лба, и я подумал, что обязательно напишу об этом, хотя стыдно было думать так. Есть вещи, которые бессмысленно затаскивать в овчарню искусства. И еще подумалось, что я — фигляр смерти, раз реву и приплясываю, командуя братьями, и никто, кроме меня, не издает ни звука.

Ночью бдели тетки Сиран, Луиза, Коцон, мой сын, старая Салимат, братья Гоча и Бего и сестра Манана. Коцон с ногами залезла на диван, укрылась теплым пледом и стала травить анекдоты. Во время бдения у гроба принято шутить, вспоминать смешные случаи из жизни, но, как заметили присутствовавшие, не до такой же степени. Коцон не умолкала всю ночь, громко смеялась и в конце концов утомила бдящих. Под утро Салимат не выдержала и попросила ее помолчать — разболелась голова. Однако Коцон словно бы прорвало, она выпалила, косясь на покрытое белой тканью лицо покойной, что та не любила ее, несправедливо полагая, будто именно Коцон вогнала в гроб своего мужа Уани. Но она сама их поженила, засватала глупую семнадцатилетнюю девчонку, тогда как жених был в два раза старше невесты.

«Не время, — спокойно возразила старая Салимат, — не время сейчас вспоминать старые грехи. Надо справить обряд и отдать долг покойной». Но в Коцон словно бы вселился бес. Однажды ее обвинили в том, что она морит голодом мужа. Какая глупость! Если Коцон кормила его простоквашей с хлебом, значит, в доме нечего было больше есть. А Уани нарочно ел на виду, кроша в банку хлеб, чтобы все видели, какая у него жена никчемная стряпуха. Господи, да он зарабатывал столько, что приходилось считать каждую копейку. И пил как сапожник, каждый день приходил домой пьяный. А когда он умер от инфаркта, покойная возненавидела Коцон. Придумала, будто ее обобрали, стащили из родительского дома посуду и перину. Но ведь время было такое, осетин притесняли в Грузии, нужно было срочно продавать квартиры, скарб и переезжать в Осетию. «Успокойся, — сказала Салимат, — стыдно! Здесь никого не интересуют ваши отношения. У нее был тяжелый характер, она была властной, но справедливой. И ее мучила обида, что семья брата ни во что ее не ставит».

В субботу, в день похорон, во дворе собрались соседи, родственники. Было промозгло и неудобно. Чтобы согреться, приходилось прикладываться к рюмке с горячей аракой. Натянули палатку на сто человек, завели дизельный калорифер, хотя толку от него было мало. Запалили костры под закопченными котлами, наполненными водой. Жертвенного быка еще утром разделали на бойне — голова отдельно, хребет отдельно, ребра отдельно, бедра отдельно. Осталось нарезать мяса, а потом положить все части в котлы с водой. Я стоял вместе со старейшинами нашего рода и принимал соболезнования от пришедших. Несмотря на холодную погоду, народу собралось много. В два часа гроб вынесли и поставили у подъезда. Сначала выступил представитель соседей, лысый и плотный обосетинившийся грузин, отметив вежливость и скромность покойной, а также то, с каким вниманием она относилась к соседям и с какой любовью воспитывала внуков. Старейшина по имени Амиран, пожилой мужчина с апоплексическими прожилками на лице, говорил недолго, но по делу. Он подчеркнул преданность покойной нашему роду и то, что молодым невесткам следует брать с нее пример. Затем выступил председатель правления Союза писателей Осетии Камал Ходов и рассказал, как в молодости они с мужем покойной, писателем Михаилом Булкаты собрались на отдых в Абхазию, и та дала им по двадцать пять рублей на карманные расходы, а они их пропили в сухумском ресторане, после чего под рукоплескания абхазов плясали симд.

Подожли соседи и сообщили, что нет времени ехать на кладбище, так как придется выразить почтение старшим за поминальным столом. Между тем гроб вынесли со двора и погрузили в газель. Провожающие рассаживались по машинам, а я стоял посреди двора и в нерешительности переминался с ноги на ногу. Внезапно меня окликнул главный редактор издательства «Ир» Тотрадз Кокайты, седой бородач, и предложил смотаться на кладбище — туда и обратно. Только нужно предупредить старшего поминального застолья, чтобы он тянул время как можно дольше до четвертого тоста. Я немедленно дал поручение братьям, те передали мою просьбу кому нужно, а сам сел в машину Тотрадза, и мы рванули в сторону кладбища. Подъехали как раз к концу ритуальной части, и я даже успел бросить на гроб горсточку мерзлой земли. После чего мы поехали обратно. Вырулив за кладбищенские ворота, я услышал, как запричитали тетки Луиза и Сиран, и попросил притормозить. Вышел из машины и встал у ограды. Никогда не думал, что от причитаний пространство может раздвинуться, как от взрыва. И без колебаний вступил в этот проем.

Я очутился перед сараем, беленым известью, дверь была распахнута настежь

и пахло свежим хлебом. Рядом стоял мальчик в коричневых клетчатых бриджах, белых гольфах, белой рубашке, черных лакированных башмаках и пускал воздушного змея.

— Феликс! — окликнул я его, но он не обернулся, поскольку был увлечен запуском змея.

Я знал, что за спиной у меня меняется мир, но не позволял себе думать об этом. Тем более что на самом деле там была коричневая деревянная лестница с поручнем, узкий балкончик с гусарским топчаном, на котором спал Уани, и комната с окошечком, занавешенным белым тюлем, из которого однажды нам помахал рукой Феликс, но это было так давно, что все списали на детскую фантазию, справа кушетка с круглыми подушками, слева комод с зеркалом в форме банковского окошечка и дальше темная комната с круглым столом под люстрой с желтым абажуром, черный кожаный диван с валиками и никелированные кровати вдоль стен.

— Феликс! — окликнул я снова мальчика.

Он обернулся и расплылся в улыбке, точно так же, как в прошлый раз, когда он махал нам с Уани рукой из окна, и я сказал: «Смотри, мальчик машет рукой из окна». Дядя проследил взглядом за моим указательным пальцем, а потом удивленно уставился на меня. Из сарая, хромая, вышел, дед Соломон с остатками пены на щеках и опасной бритвой в руке, и Уани сообщил ему о мальчике в окне, они вместе пошли осматривать дом, а я сидел на кушетке возле сарая, вдыхал запах хлеба и слушал скрип двери.

— Там никого нет! — сказал дед Соломон и покачал головой.

— Нет никого, малыш! — подтвердил Уани и засмеялся.

А я сидел и не двигался, потому что точно видел брата.

Феликс приблизился к сараю, привязал шелковую нитку воздушного змея к ручке двери, затем побежал вдоль высокого бетонного забора, за которым шумел завод, скинул лямки с плеч, спустил штаны и, продолжая улыбаться, стал писать.

— Нас ждут, — сказал Тотрадз и погудел мне.

Александр Климов-Южин

Так здесь живут

* * *

Безрадостные степи Киммерии,
Как выедешь за Керчь,
Степной пейзаж тоскливей, чем в России,
Как будто смерч
На раз метлой, огромный и жестокий,
Всё вымел на пути.
На много вёрст здесь горизонт убогий,
Здесь нечему цвести.
Не встретишь ни чинары, ни кизила,
Две-три овцы
Друг к дружке жмутся робко и уныло,
Ногаец под уздцы
Ведёт коня во двор чумазой хаты,
На шее — кнут,
Да где-то в поле бродит скот рогатый —
Так здесь живут.
Так не живут.
И летом, и зимою
Насвай жуют,
Обделены судьбою и водою,
Цистерну ждут.
Не то чтоб нищета, в помине
Её здесь нет,
Но не добавит радости к картине
И звон монет.
Как безысходны степи Киммерии,
Чуть выедешь за Керчь,
Степной пейзаж тоскливей, чем в России.
Отрадней в землю лечь.
И вот, когда глаза совсем сомкнутся,
И утрясёт мозги, как саквояж,
Попробуйте, въезжая, не проснуться
На Феодосийский пляж.

Климов-Южин Александр Николаевич (псевд.; настоящая фамилия — Климов) — поэт. Родился в 1959 года. Автор четырех поэтических книг. Стихи публиковались в журналах «Дружба народов», «Новый мир», «Арион», «Октябрь». Лауреат премий «Московский счет» (2006), «Югра» (2012) и др. Живет в Москве.

Дорогою измучен дальней,
Замрёшь невольно совкой у окна,
И сердце рвётся к морю, и желанней
Стократ волна.

*Размышления об утерянном перстне с авантюрином
звёздной ночью в Чернаве, в сентябре 2016 года*

В небо ночное смотреть невозможно без риска,
В бездну свалиться и сгинуť как раз в сентябре,
Здесь да когда-то в Азове я видел так близко
Небо ночное, так близко об этой поре.
Сферы планет нависают и ныне, и присно,
Криком ребёнка разбужен, иду через сад;
Яблок доступных и влажных влечёт дешевизна,
Кажется, ветку наклонишь — а звёзды слетят.
Без телескопа скопления вижу и звёзды,
Кассиопеи туманной припомнил — дабл-ю,
В дуплекс латинский вбиваю незримые гвозди,
Существованьем подобен и равен нулю.
Призраки, брызги, сияние, гнёзда и грозди,
Млечных путей в темноте исчезающий свет,
Где, как на пляже песок, миллиардные звёзды,
Цифрой разнятся едва ль с миллиардами лет.
Жмётся к Чернаве сознание моё крепостное,
Пусть не изведаль я троп и отвергнул дары,
Всё же так близко увидел я небо ночное,
Всё же однажды узрел я иные миры.
С авантюрином когда-то, красив и изыскан,
Перстень на среднем таскал до поры щегольско.
Только в Азове огромное небо так близко,
Близко, как здесь, как в крапленых бессчётных его.

* * *

В Богом забытом местечке
Где-нибудь, увальнем жить,
Даром на маленькой речке
Мелкую рыбку ловить.

Утром — до слепости света,
Ночью — хоть выколи глаз.
Спать, бытовать себе где-то,
Истинно, не напоказ.

Землю лопатить безвестно,
Благословить свой удел.

(Что-то на кладбище тесно,
То-то народ поредел.)

Бить надоевшую мошку,
Осенью горькую пить;
Плющится дождь — по окошку
Капли раскосые — мжить.

Вот оно честное счастье:
Мжить — нацедить грамм на сто
И умереть в одночасье,
Чтоб не заметил никто.

Про свет-Кирилла и кота Баюна

Зимним утром от ворот — поворот,
Едут сани, а в санях едет кот,
А на дровенках сидит Свет-Кирилл,
Под овчиною свой чешет живот.
Вопрошает его кот: — Свет-Кирилл,
Я ль в ларях твоих мышей не ловил?
Я ль твоей не повинуюсь руке?
Отчего же я тебе стал немил?
Так отвечает ему Свет-Кирилл:
— Сколько лет тебе, Баюн, позабыл?
Говорят, что ты умней стал коня,
Раз коня, умнее, стало быть, меня.
— Я ещё не стар, свет-Кирилл,
Сколько лет тебе служу, не забыл,
Просто ус я обмакнул в молоке,
Просто морда у меня — вся в муке.
— Хорошо, пусть ты меня не старей,
Но старуха тебя любит сильнее,
Так чего уж говорить про детей.
Вишь, смеётся надо мной вся родня.
Просто наш обычай таков,
Что нельзя держать сверх срока котов,
Говорят, что в вас вселяется бес,
Как исполнилось пятнадцать — так в лес.
Отвечает ему кот: — Свет-Кирилл,
Я курятник от хорей сторожил,
Я твоих баюкал детей,
Я среди коршунов врагов себе нажил.
— Говоришь, что ты исправно служил:
Ты ль с лисою цыпляков не давил?
Ты ль улов мой из ведёр не ловил?
Ты ль в избе моей углов не мочил?
Так в ответ на укоризну — укор,
Долго длился нескончаемый спор.
А метель-то всё сильнее и сильнее,
Накрывает Свет-Кирилла и кота,
А сугробы всё тучнее и тучней —
Тихо, дивная на свете красота.

.....
Вот и дом за поворотом, скрип саней,
А на дровенках сидит кот-Баюн,
Под овчиною лежит Мрак-Кирилл.
Всё. Настал Кириллу карачун.

Евгений Войскунский

Дело Кузнецова

Отрывок из романа

Мы возвращалась с учений на базу. Десять суток наша лодка в составе группы искала условного противника — ходила и ходила на перископной глубине. В полной *скрытности*, которая и есть сущность подводного плавания, тянулись долгие часы, долгие сутки ожидания.

Наконец, обнаружив конвой «синих», лодка устремлялась в атаку. Дважды ее стальное тело содрогалось от мощных вздохов сжатого воздуха, выбрасывающего из аппаратов учебные торпеды. Дважды Мещерский, наш командир, приказывал поднять антенну и отправлял руководителю учений радиограмму об успешной атаке. А затем вновь текли бесконечные часы и сутки...

Наконец — отбой. В надводном положении возвращаемся в Либаву. В октябре Балтика не бывает спокойной, но сегодня штормовой ветер почти стих. Зыбь раскачивает лодку привычной бортовой качкой, над морем стелется предвечерняя дымка, подсвеченная на западе закатной желтизной.

Пора бы, думаю я, взглянув на часы, показаться первому бую. Штурман у нас молодой, опыта маловато, надо спуститься в центральный, взглянуть на его прокладку курса... Но тут слышу протяжный хриплый звук — словно море застонало от нестерпимой тоски одиночества. Это стонет на зыби ревун буя, извещающего о скором повороте к гавани. Волна усиливается, стон превращается в рев, и я вижу в бинокль и сам буй. В туманной дымке он кажется большим, как парусник.

Часа полтора спустя лодка входит в аванпорт. Запрашиваем «добро» на швартовку, тихо, под электромоторами, проходим под мостом, по каналу — и швартуемся у родного пирса.

Мещерский сходит на пирс, идет на плавбазу «Смольный», к оперативному дежурному бригады. А я еще больше часа провожу на лодке — у меня, помощника командира, полно всяческих дел: надо пройти по отсекам, проверить слепоходное

Войскунский Евгений Львович — прозаик, автор более двух десятков книг. В прошлом военный журналист. В Великую Отечественную войну воевал на Балтийском флоте. Участник обороны полуострова Ханко и Ленинграда. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 2-й степени, «Знак Почёта», медалями «За боевые заслуги» и другими. Публикации в «Дружбе народов»: «Баллада о Финском заливе. Документальная повесть» (№ 3, 2005); «Балтийский Геркулес» (№ 5, 2015).

состояние механизмов, определить неотложные работы, назначить вахты — ну и все такое.

Наконец схожу на берег. О-ох, приятно вдохнуть свежий, напоенный недавним дождем воздух. Уже стемнело. Над корпусом береговой базы повисла лунная золотая скобка. Не торопясь, иду к соседнему пирсу, у которого стоит «Смольный». Приветливо светят ряды его иллюминаторов: дескать, вот ты и вернулся домой, мореход.

На столе в моей каюте меня ожидало письмо. Я взглянул на имя отправителя и удивился. Галина Вартанян. Жена отца. Нехорошее предчувствие охватило меня. Обычно письма писал отец, а не Галина.

Дорогой Вадим! Должна тебе сообщить, у нас беда: 4-го октября арестовали отца. Пришли ночью, был долгий обыск, что искали — непонятно. Лев страшно нервничал, кричал, что они ошиблись адресом, тыкал им под нос удостоверения о своих наградах. Когда его уводили, я будто окаменела. Утром бросилась выяснять. Дозвонилась до одного влиятельного лица, этот человек знал Льва не только по книгам, но и лично, он согласился навести справки. И навел. Очень сдержанно сказал по телефону, что, по всей вероятности, арест связан с делом Кузнецова. И никаких подробностей. Посоветовал обратиться в Большой дом и повесил трубку. Сегодня я побывала на Литейном. Мне не сказали, в чем Льва обвиняют, но разрешили принести продуктовую передачу.

Вадим, я уверена, что произошла ужасная ошибка. Лев, конечно, абсолютно ни в чем не виноват. Я обратилась в секретариат ленингр. отд. Союза писателей, там тоже поразились, обещали написать бумагу, отзыв о заслугах отца. Горячо надеюсь, что следствие разберется, и его выпустят.

До свидания! Мы с Люсей обнимаем тебя. Галина.

9 октября 1949 г.

За переборкой, в соседней каюте, включили на полную громкость радио. «Дождь проливным потоком стучится ко мне в окно. Ты от меня далёко», — пела женщина.

Голос модной певицы Капитолины Лазаренко вывел меня из оцепенения. Я достал с нижней полки шкафчика припрятанную поллитровку, налил полстакана и залпом выпил. Без водки было просто невозможно освоиться с мыслью, что отец арестован.

«Разве у вас не бывает в жизни подобных минут», — пела Лазаренко.

Нет, не бывает! Они что, совсем охренели? Кого схватили — известного писателя, партийца с огромным стажем, героя штурма Кронштадта...

О-ох, Кронштадт... Черт бы их побрал, эти пожелтевшие листы «Известий ревкома» — яростные обвинения в комиссародержавии, в массовых расстрелах, в ограблении крестьян... страстные призывы к народовластию... Хотелось забыть тот день в Хельсинки, когда бывший матрос... бывший мятежник... бывший мой тесть... когда он выложил передо мной эти листы — жгучие знаки давней борьбы не на жизнь, а на смерть...

Но разве такое забудешь?

И вот — странная мысль влетела в возбужденный мозг: та борьба, пылающая ненавистью, — не отпылала... Она продолжается, только по-другому...

«Связано с делом Кузнецова», — сказала Галине влиятельное лицо. Я об этом деле ничего не знал, в печати и по радио о нем не сообщали ни слова. Но имя Алексея Александровича Кузнецова, конечно, было мне знакомо. Отец, я помню, отзывался

о нем с большим уважением. Ну как же, Кузнецов, второй секретарь обкома и горкома, был одним из руководителей ленинградской обороны и, между прочим, членом Военного совета Балтийского флота. «Он был заряжен огромной энергией, — говорил отец, — носился по всем участкам Ленфронта, не давал угаснуть работе предприятий, да и самой жизни города. А Ладожская ледовая дорога! Кузнецов, можно сказать, пробил ее своей бешеной энергией, страстным желанием спасти Питер от голодной гибели!»

Я знал склонность отца к преувеличениям. Увлекаясь чем-либо (или кем-то), он мог вознести предмет увлечения до небес. Но что правда, то правда — заслуги Алексея Кузнецова в обороне Ленинграда были очень значительными.

Знал я, что когда в конце войны Жданова отозвали в Москву, Кузнецова назначили — виноват, избрали — первым секретарем в Ленинграде. Но вскоре, в сорок шестом, верховная власть подняла его на всесоюзный уровень — перевела в Москву, в секретариат ЦК. На высокой секретарской должности, позволявшей в дни праздничных шествий стоять на мавзолее, и пребывал Алексей Кузнецов, достигший пика своей карьеры.

И вдруг — «связано с делом Кузнецова». Что за «дело»?!

Я терялся в догадках.

Что-то, вероятно, происходило там, на верху государственной жизни. Но мне, скромному каплею Балтфлота, не положено знать об этом. Я ведь даже и не член партии.

Не могу сказать, что не хотел вступить. Хотел. В сорок пятом готовился, устав партии прочел, и была написана боевая характеристика, по которой меня бы приняли на ближайшем партсобрании, но замполит Ройтберг отменил прием — потому что я общался с финским населением. Еще хорошо, что он не дознался, с кем я общался. С бывшим кронмятежником!

Но вот, когда по окончании СКОС¹ я вернулся на бригаду и был назначен помощником на «немку»² к Мещерскому, снова возник вопрос о членстве в партии. Замполит Измайлов прямо так и сказал:

— Вадим Львович, если вы планируете служебный рост, то вам надо вступить в партию. Вы же понимаете, что беспартийному офицеру вряд ли возможно стать командиром лодки.

Я не то чтобы планировал, но, в общем, видел в перспективе «служебный рост». Мы, флотские офицеры, знали, что принят государственный проект строительства большого подводного флота. Появится множество новейших лодок — потребуется множество командиров.

Я хлопотал о рекомендациях.

Но тут пришло письмо Галины.

Два дня я ходил *задумчивый*. А на третий решил, что *нельзя скрывать*.

Было совещание офицерского состава по итогам учения. В клубе на береговой базе развесили ватманы со схемами атак всех лодок, и комбриг с указкой в руке дал им оценку. По атакам нашей «немки» у него, строгого и придиричливого, замечаний не было. Выступили несколько командиров, в том числе и Мещерский, со своими соображениями о тактике завесы. Конечно, и Измайлов попросил слова, у него всегда было что сказать о воспитательной работе с молодым экипажем. Как всегда, он в конце выступления поблагодарил «за внимание».

¹ Специальные курсы офицерского состава.

² Трофейная немецкая подводная лодка.

На выходе из клуба я подошел к нему:

— Александр Рустамович, мне нужно поговорить с вами.

— Слушаю вас.

Но я сказал, что это не минутный разговор, и он предложил мне прийти к нему в каюту вечером, в девять.

Над иллюминатором у Измайлова висела цветная репродукция известной картины — Сталин и Ворошилов на прогулке в Кремле. Наверное, вырезал из «Огонька». Что ж, пусть и они послушают...

— Я должен вам сообщить, что на днях в Ленинграде арестован мой отец.

Смутное лицо Измайлова, как мне показалось, еще более потемнело. Он тронул пальцами синеватую губу с аккуратно подбритыми черными усиками.

— Ваш отец, насколько я знаю, писатель, — сказал он после паузы. — Я читал его книжку о походе на «Ленинце».

— Да, писатель. Автор двух десятков книг о войне, об Арктике, о крупных стройках.

— Что же случилось с писателем Львом Плещеевым?

— Не знаю. Его жена, моя мачеха, написала, что арест, возможно, связан с делом Кузнецова. Не понимаю... Что это за дело?

Измайлов морщил лоб, глядя в темный иллюминатор, а может, на репродукцию над ним. Он явно не знал, как отреагировать на мое сообщение.

— Это безусловно ошибка, — сказал я. — У отца никогда не было... ну, никаких расхождений, шатаний... Он участник штурма Кронштадта в двадцать первом...

— Вадим Львович, — тихо, словно опасаясь подслушивания, сказал Измайлов, — вы правильно сделали, что сообщили об аресте отца. Знаю про его заслуги.

— Он награжден орденом Красного...

— Да-да. Вы слушайте... — Измайлов заговорил еще тише: — Об этом не сообщалось в печати, но есть сведения, что Кузнецов снят с работы. Он и Вознесенский.

— А что такое? — поразился я. — В чем они...

— Точно не знаю. Но обвинения серьезные. Следствие, конечно, разберется... в какой степени ваш отец связан с Кузнецовым. Будем надеяться на... ну, на положительный исход.

Подъезжая к Ленинграду, я взглянул из окна вагона на утренние небеса, косо заштрихованные падающим снегом. Снег валил всю дорогу, замедляя уходящий год. Я ехал в отпуск. Только в конце декабря удалось вырваться из череды неотложных дел.

Я не выспался. Сосед по купе, армейский капитан, всю ночь надсадно храпел и — для разнообразия — пукал. Он со своей женой как сел в Риге, так и завел разговор о том, что теперь их, то есть евреев, прижали. Ссылался на фельетоны в центральных газетах, из коих следовало, что ловкачи с еврейскими фамилиями обманывали ротозеев, ведавших различными учреждениями. Мне попадались эти фельетоны и казались странными. Было похоже, что читателей натравливают на евреев. Во всяком случае, этот капитан (начфин какой-то части в Риге, как он сообщил при знакомстве) так и понимал, что евреев наконец-то «решили взять за жопу». Маленький, щекастый, начфин широкой улыбкой выражал одобрение. Уж он-то, явствовало из улыбки, ротозеем не был.

Около полудня поезд втянулся в темноватый коридор Варшавского вокзала.

Истекали последние часы сорок девятого года. Снег валил и валил, словно

торопясь выполнить небесный план по снегопаду. Трамваи ходили плохо, пути не успевали расчищать. И я отправился к Галине Вартанян пешком. На мосту Лейтенанта Шмидта порывом ветра с меня сорвало шапку и чуть не унесло в замерзшую Неву, но я догнал ее и, отряхнув от снега, надел. Здорово запыхался. В продмаге на площади Труда было полно народу. Стоя в очереди, я слышал обрывки разговоров — о новогоднем концерте в клубе Кирова и о том, что мандарины кончаются, зря стоим, и что где-то продавали хорошие елки. Кто-то шутил, слышался женский смех — жизнь шла, простая и естественная.

Мандарины действительно кончились человек за десять до меня, но яблоки были, и я купил кило, а также бутылку кагора. С этим вином я очень знаком, оно входило в подводный рацион.

И так, с новогодними дарами, заявился я на улицу Союза связи, в квартиру отца, непостижимым образом опустевшую. Галина, одетая в лыжный костюм защитного цвета, выглядела юной — мелькнула глупая мысль, что вот, хоть лепи с нее девушку с веслом. Мы поцеловались, прошли в большую комнату, сели на диван, над которым висел гобелен с конными рыцарями, выезжающими из ворот замка (отец называл этот редкостный гобелен «приданным» Галины).

— Нет, свиданий не дают, — говорила Галина быстро, слегка шепелявя. — До конца следствия не положено, а когда оно кончится, неизвестно. Творится что-то ужасное, Вадим. Арестованы Попков — первый секретарь обкома, Капустин — второй секретарь, председатель горисполкома Лазутин и еще много людей. Идет прямо-таки разгром ленинградской парторганизации. Исключают из партии, снимают с работы. Я тебе не писала, Вадим, в письмах нельзя. Меня тоже исключили.

— Исключили из партии?! — поразился я. — За что?

— Ой, формулировка просто абсурдная! За связи с критиками-космополитами. — Галина усмехнулась, вокруг рта у нее прорезались морщинки, да нет, не очень-то юной она выглядела. — Не подумай чего-то дурного. Я ведь в отделе культуры работаю. Естественно, брала интервью у театральных критиков, а они-то теперь и объявлены космополитами. Их прозвали «Иванами, не помнящими родства». Хотя почти все они не Иваны, а евреи. Вот, значит, меня обвинили в связях с ними.

Ну и дела! Я, конечно, помнил, что в начале этого, ныне уходящего года появилась в «Правде» редакционная статья с обвинениями неведомых мне театроведов, которые «шипя и злобствуя», охаивали лучшие произведения советской драматургии. «Шипя и злобствуя!» Ну и ну... чудился посаженный в клетку рассерженный кот... Было странно, что театральных критиков называли космополитами. Космополиты — это «граждане мира», что же дурного в таком понятии, близком к интернационализму нашей идеологии? Вдруг оказалось, что это «антипатриотично», связано с «безразличным отношением к народу», с «равнодушным, оскопленным, холодным эстетством». Слова-то какие убийственные. «Оскопленное эстетство!» Ух!..

— Закрыли музей обороны Ленинграда, — продолжала Галина, — арестовали его директора. Запретили издание сборника очерков писателей о блокаде.

— Галя, вы мне писали, что в ленинградском Союзе писателей обещали дать отзыв о заслугах отца...

— Ни черта не дали! Там перепуганы ужасно. Один писатель, близкий друг Льва, рассказал мне... Вадим, это большой секрет, так что прошу тебя...

— Не беспокойтесь, Галя.

— Он рассказал, что в феврале состоялся в Питере пленум обкома и горкома.

На нем выступил Маленков с докладом об антипартийной группировке. Там каялись Попков и Капустин.

— В чем каялись? Что за группировка?

— Не знаю! — Галина помотала головой, словно отгоняя страшное видение. — Понять невозможно. Моя подруга, тоже журналистка, говорит, что они хотели перенести столицу из Москвы в Ленинград. За это арестовывать? Это «антипартийно»? Ну, погрозили бы пальцем: бросьте глупые игры... Так нет же... Летом начались аресты. В Москве взяли Алексея Кузнецова. Такого заслуженного человека! Я думаю, если бы в прошлом году не умер Жданов, он бы не допустил «дела Кузнецова». А Николай Вознесенский — его за что? Председатель Госплана, о нем говорили, что талантливый экономист...

— У отца были личные контакты с Кузнецовым?

— Конечно. Кузнецов общался с писателями-блокадниками. Отец в одном из очерков писал о нем. Книгу свою ему подарил.

Я спросил, есть ли приемные часы в Большом доме и как туда пройти.

— Хочешь добиться свидания? — Галина покачала головой. — Вряд ли дадут. Но попытайся. Увидят твои боевые ордена — может, и уважат.

Она дала мне нужные сведения, взглянула на часы.

— Ой, скоро Новый год, надо привести себя в порядок. Мы с Люськой не собирались встречать, не то настроение. Но раз уж такой гость заявился... Пойду переоденусь. Вадим, спасибо за вино и яблоки.

Галина вышла. Я остался один в большой комнате; над головой у меня конные рыцари с длинными копьями съезжали с подъемного моста в свою средневековую жизнь, полную приключений.

Бесшумно ступая домашними туфлями, вошла Люся. За два минувших года бойкая болтливая девочка превратилась в прелестного подростка, в ее новом облике как бы таилось обещание расцвета женской красоты. Нечто библейское, подумалось мне, было в ее черных кудрях, в удлинённых синих глазах.

— Здравствуй, сестрица, — сказал я, поднявшись.

— А, это вы... Здравствуй, братец. — Люся с улыбкой подставила щеку для поцелуя.

— Что ты читаешь? — Я взглянул на книгу в ее руке. Это были «Приключения Гекльберри Финна». — Нравится?

— Как может не нравиться такая книга, — сказала Люся совершенно повзрослому. Она села, оглядела меня, задержавшись взглядом на орденах, спросила: — А вот что такое мальвазия?

— Мальвазия? Кажется, было такое вино. Откуда ты это выкопала?

— Ну, Гек рассказывает негру Джиму, как король Генрих утопил своего папашу, герцога Веллингтона, в бочке с мальвазией.

— А-а! — Я усмехнулся. — Гек путает. Слышал звон, да не знает, где он. Генрих Восьмой вовсе не был сыном Веллингтона. Они и жили-то в разных столетиях.

Тут вошла Галина. Сменив лыжный костюм на серое, с черной отделкой, шелковое платье, она вновь стала королевой Марго.

— Ну, накроем на стол и будем встречать Новый год, — сказала она, улыбаясь. Улыбка получилась невеселая.

Спустя несколько дней, после моих звонков и письменного обращения, меня принял в Большом доме на Литейном проспекте тамошний служитель — старший

лейтенант с бледным замкнутым лицом. Погоны у него были почему-то с голубым просветом — быть может, он раньше служил в летной части. Глядя на меня холодными, узко посаженными глазами, он спросил:

— Что вы хотели?

— Я же написал в заявлении: хочу узнать, почему арестован мой отец, подполковник Плещеев. Он писатель, участник штурма Кронштадта в двадцать...

— Ваш отец, — прервал мою нервную речь служитель Большого дома, — находится под следствием.

— Да, но в чем его обвиняют? У отца нет и не может быть никакой вины. Он в партии с семнадцатого года...

— Под обвинением бывали члены партии и не с таким стажем. Пока идет расследование, мы не можем вам ничего сообщить.

— А когда... ну примерно хотя бы... когда оно закончится?

— Это неизвестно.

Этот холодноглазый был абсолютно закрыт для нормального человеческого общения. Мое волнение, как и мои ордена, не производили на него ни малейшего впечатления. Ждите конца следствия, которое неизвестно когда закончится, — вот и весь сказ. Конечно, никакой переписки, никаких свиданий.

Я вышел на Литейный с чувством опустошенности. Медленно побрел к Невскому проспекту, оскользаясь на обледеневших местах тротуара. Прохожие, идущие навстречу, шурились от ветра с колючим снегом, все торопились в свои теплые углы. Мучительно было думать, что у них всё в порядке, ни у кого отец не арестован — только у меня... Боже мой, как жалко мне было отца, ни за что ни про что посаженного в тюрьму...

Мы, конечно, знали, что до войны были «враги народа» — шпионы, вредители и еще черт знает кто. Их судили, отправляли в лагеря на перевоспитание трудом («перековкой» это называлось), а главных преступников расстреливали. Но после долгой кровавой войны, после победы над фашистской Германией — теперь-то почему возобновились аресты? Откуда взялись «враги» у народа-победителя? Странно... Что-то пошло не так...

Сквозь непогоду рвались неведомо куда бронзовые кони на Аничковом мосту, их сдерживали юноши с высокими снеговыми шапками. Я тащился по Невскому, ледяной ветер бил в лицо. Жизнь швыряла в лицо пригоршни колючих вопросов: что происходит?.. почему вяжут своих?.. жизнь, дай ответ!.. Не дает ответа.

Я обедал в «Квисисане» в гордом одиночестве. Как байроновский Манфред в Альпах. Как одичавший пес, разжившийся костью...

За соседним столиком шумно веселились трое парней и три девицы-блондинки. Парни были в клетчатых пиджаках и странно узких брюках. Они танцевали со своими беспрерывно хохочущими девками под радиолу. Неприязненно я глядел, жуя бифштекс, на «золотую молодежь». Отплясываете? Ну-ну.

Однако, когда я, расплатившись, направился к выходу, эти узкоштаные танцоры расступились и почтительно мне поклонились (моим орденам, конечно). Да нет, подумал я, не такие уж они олухи. Пусть пляшут.

От выпитых трехсот граммов стало легче. Ветер теперь дул в спину, помогая одолеть дорогу домой, на Васильевский остров.

Отворив ключом дверь, я вошел в полутемный, заставленный старыми сундуками коридор, пропахший устоявшимся бытом, далеким детством, вольным духом

прерий, по которым скачут мустанги... и по которому я, сохранивший свой скальп, иду, бесшумно ступая мокасинами, чтоб не услышали гуроны... или кто там — команчи...

Проходя мимо Лизиной двери, слышал голоса. Я постучал и вошел. На тахте сидели Лиза в длинном стеганом халате и Люся с заплаканными глазами в школьном коричневом платье с белым передником. Увидев меня, они умолкли.

— Ой, Дима, — сказала Лиза, — мы к тебе стучались, а тебя не было...

— Что случилось? — спросил я.

— Маму уволили с работы, — сказала Люся.

Из ее сбивчивого рассказа явствовало, что позавчера Галину вызвал главный редактор и предложил написать заявление об увольнении. «С какой формулировкой?» — спросила она. «С какой хочешь, — был ответ. — Галя, у меня нет никаких претензий к тебе. Но ты же понимаешь, какая сложилась обстановка». — «Понимаю, — сказала Галина. — Напишу, что ухожу из-за вашей трусости». — «Ну, — сказал редактор, — если ты такая храбрая, то напиши, что, будучи космополитом, не считаешь возможным работать в партийной печати».

— Вчера мама весь день сидела на телефоне, — сказала Люся. — Во все газеты звонила. Никто не берет. Сегодня утром поехала куда-то в область. — Она всхлипнула. — Дима, а что такое космополит? Никто, кого я спросила, не знает.

— Димка, я рада тебя видеть! — С этими словами Рая прильнула ко мне, мы поцеловались. — Ты приехал в отпуск? У тебя усы не стрижены! Ну ничего, давай еще раз!

Второй поцелуй получился более продолжительным. А ведь Райка, подумал я, единственный теперь родной у меня человек. Ну не то чтобы родной, но... в общем, можно и в третий раз...

— Хватит, хватит! — Она высвободилась из моего объятия. — Что за манеры у вас на флоте? Пришел и устраиваешь тут блеск и нищету куртизанок.

Мы, смеясь, смотрели друг на друга. Вдруг вспомнилось, как в детстве я сочинил гекзаметр, в котором назвал Райку «румяноланитой девой», а она, вспыхивая, сердилась, грозила мне кулачком. Ну, румяных ланит у нее, конечно, давно нет: блокада унесла румянец и обтянула ланиты. Исчезло бывшее наивное выражение лица, удивительные серые глаза смотрели строго. Я бы сказал — пытливо смотрели.

А Розалия Абрамовна была плоха. Она не вставала с постели, только в уборную плелась с помощью своей сестры или Раи. Очень похудевшая, она дремала, лежа на спине. Проснувшись от наших голосов, посмотрела на меня долгим взглядом.

— Это я, Вадим, — сказал я. — Добрый вечер, Розалия Абрамовна.

— Я тебя узнала, — тихо отозвалась она. — Дима... Ты уже узнал?

— Вы о чем?

— Почему твоего папу арестовали — узнал?

— А-а... Нет. Они ничего не объясняют. Надо ждать окончания следствия.

— Ждать, — повторила Розалия Абрамовна. — А чего ждем?

— Мам, приподнимись, я тебе подушки поправлю, — наклонилась над ней Рая.

— Ты Диме рассказала об Аполло... Аполи...

— Нечего рассказывать. Давай-ка примем микстуру.

Рая налила в столовую ложку бесцветную жидкость из флакона и дала матери выпить.

Дремота одолела Розалию Абрамовну. Речь ее стала невнятной, на полуслове она заснула.

На кухне я откупорил бутылку водки, которую принес. Рая разогрела котлеты с гречкой, поставила на стол банку с винегретом. Мы выпили, закусили, закурили. Мне не нравилось, что Райка курит, но она сказала, что не затягивается, а «просто так».

Говорили, конечно, о текущем моменте.

— А что за Аполлон, о котором вякнула мама? — спросил я.

— Не Аполлон, — поморщилась Райка. — Аполлинария Николаевна, наша директриса. Ой, да чепуха! Зря я маме рассказала.

— А в чем дело?

— Ну, стала придирается, что я много двоек леплю. Ничего не много. В обоих выпускных классах есть несколько оболтусов, патологически неграмотных. Корову пишут через «а». И по литературе не успевают, не любят читать. Только футбол на уме и танцы новомодные.

— Больше, чем на двойку, они никак не тянут. Аполлинария на меня напустилась. Я порчу школе картину успеваемости. «Третируете этих мальчиков, — говорит, — а своим пятеркиставляете». — «Кому это — своим?» — «Розенталю, например». — «Как вам, говорю, не стыдно? Розенталь одаренный парень, победил на городской олимпиаде...» — «Это вам, — говорит Аполлинария, — должно быть стыдно»...

Рая глубоко затянулась и с силой выдохнула дым.

— Черт те что, — сказал я, тоже попыхивая беломориной. — Похоже, что сверху поощряют антисемитизм.

— Не может быть, чтобы сверху это шло.

— Не может быть. А вот же идет. — Я рассказал о рижском начфине в поезде, о фельетонах в «Правде», об «Иванах, не помнящих родства», с еврейскими фамилиями, скрытыми под псевдонимами, но теперь раскрываемыми.

— Не думаю, что это идет сверху, — повторила Рая. — Твоего начфина и мою Аполлинарию одернут.

— Да и я надеюсь, что наведут порядок. — И после паузы: — Райка, вы с мамой откуда узнали об аресте моего отца? От Лизы?

— Ну да, от кого же еще. Лиза приходит часто. Меряет маме давление. Принесла дефицитное лекарство. Хватит курить, Дима. Тебе чай как — покрепче?

Мы пили чай со сладким печеньем «Дружба». Радиотарелка приглушенно бормотала о каких-то волнениях во французском Индокитае. Посвистывал за темным окном январский ветер. Я думал об отце — не холодно ли ему в «Крестах»?.. С его радикулитом...

В то лето много плавали. Море было беспокойное, шторм за штормом — волны захлестывали мостик нашей «немки», когда мы всплывали для зарядки батареи.

Штормило не только в море. На суше в то лето тоже было беспокойно. Началась война в Корее, спровоцированная, как писали у нас в газетах, южно-корейскими марионетками империалистических держав. Северные корейцы успешно наступали, вошли в Сеул, продвигались к югу полуострова.

Когда я однажды, высвободив воскресный вечер, приехал в Дом офицеров (очень хотелось расслабиться), то первым, кого я увидел, войдя в ресторан, был Геннадий Карасёв. Лысый, огромный, он возвышался над столиком, а напротив него сидел светлоглазый капитан береговой службы с косой прядью по лбу. Они оживленно разговаривали и смеялись.

— А, появился! — Карасёв схватил меня за руку, усадил рядом с собой. — Где ты пропадаешь, усатый человек?

— В море, где ж еще.

— В морях твоя дорога. Знакомьтесь. Капитан Петрухин, бесстрашный корреспондент «Красной Звезды». Капитан-лейтенант Плещеев, лучший друг капитана Немо. Зина! — окликнул Карасёв официантку. — Нам еще один бокал. И еще триста водки! Паша, — отнесся он к корреспонденту. — Расскажи Вадиму анекдот про Карапета.

— К Карапету пришел друг, — высоким голосом сказал Петрухин, — и видит: Карапет сидит растрепанный и жжет спички, пытается поджечь свои волосы. «Что он делает? — кричит друг жене Карапета. — С ума он сошел?» — «Нет, — отвечает жена. — Карапет космыпалит».

— Космы палит? — Я засмеялся.

— Что значит — гость из Москвы, — сказал Карасёв, наливая в стопки водку. — В столице всегда придумают что-нибудь смешное. Ну, вздрогнем.

— Вы служите в бригаде подплава? — спросил гость. — Я завтра к вам приеду — за материалом для очерка. Что у вас интересного?

А что интересного у нас? Да ничего. Плаваем, сдаем учебные задачи, стреляем торпедами, в которых зарядовое отделение заполнено не взрывчаткой, а водой. Страна восстанавливается после разрушительной войны, а мы охраняем ее труд. Вот и все наши дела.

Не рассказывать же московскому журналисту, что у меня непонятно за что арестован отец — писатель, убежденный коммунист, участник штурма мятежного Кронштадта. «Ленинградское дело» — так называется эта чертовщина. Особист нашей бригады — пожилой полковник с большой плешью и замкнутым лицом без запоминающихся черт, — так и сказал, пригласив меня на беседу:

— Товарищ Плещеев, ваш отец Лев Плещеев арестован по «ленинградскому делу», так?

— Да, — ответил я. — Не знаю, как это «дело» называется, но я поставил командование в известность...

— Знаю. Скажите, пожалуйста, как часто вы общались с отцом?

— Очень редко. Когда я приезжал в отпуск — считанные разы.

— Говорил ли вам отец об особой... м-м... особом назначении Ленинграда?

— Говорил о восстановлении города. Особое назначение? Нет, такого я не слышал.

— О заговоре с целью создать российскую компартию в противовес всесоюзной.

— Нет... — От слова «заговор» у меня похолодало в животе. — Никогда... отец никогда не стал бы...

— Знали вы, что руководители Ленинграда хотели взорвать город и потопить флот? — продолжал особист ровным голосом.

— Да вы что, товарищ полковник? — вскричал я. — В сорок первом, в сентябре, в критические дни — был приказ Ставки подготовить корабли... взорвать, если противник прорвется в Питер... только в этом случае... — Я здорово волновался. — Был приказ, все подлодки приняли по две глубинные бомбы и легли на грунт...

— Успокойтесь, Плещеев.

— Никто, конечно, *не хотел* потопить флот. Но критическая обстановка... Нет, не руководители Ленинграда, а Ставка приказала...

— Успокойтесь, — повторил особист. — Я обязан задать вам эти вопросы, потому

что... м-м... потому что «ленинградское дело» очень не простое. Обязан проверить ваше к нему отношение, поскольку ваш отец...

— Мой отец абсолютно не виновен ни в каких преступлениях!

Особист пожевал тонкими губами, словно пробуя незнакомую пищу.

— Виновен или невиновен, — сказал он после паузы, — в этом следствие разберется. А вы, Плещеев, будьте поосторожнее в оценках. Абсолютного ничего не бывает. — Особист прокашлялся. — И не забывайте, что служите в ударном соединении.

Мне было не по себе от этого разговора. «Не забывайте, что служите в ударном соединении...» Что это, предупреждение? Дескать, ты неполноценный, но тебе позволили служить на бригаде подлодок, так что будь осторожен. Я — неполноценный? Неудобная мысль — как тесные ботинки не по ноге. Как слишком туго затянутый галстук.

Впервые пришло в голову: не уйти ли в отставку... пока «не ушли»?.. Ну, не в отставку, как это называлось в давние времена, а в запас...

Нет, нет... Невозможно... Да и что мне делать на гражданке? Я ведь умею только плавать под водой — больше ничего...

Земля каждый час поворачивается на пятнадцать градусов. Это немного, правда? И незаметно. Но в том году, в проклятом пятидесятом, я заметил повороты планеты. Невероятно, да? Однако, я стал это замечать — не физически, а мысленно. Мое дурацкое воображение отмечало: поворот... еще час прошел — еще поворот... заходящее солнце, уходящее время... Черт те что!

Ладно, не принимайте всерьез причуды воображения.

Подшло к окончанию следствие по «ленинградскому делу», мне написала об этом — обиняком, конечно, — Галина. И двадцатого сентября я приехал в отпуск.

В Питере стояла прекрасная погода. Великий город гудел моторами, звенел трамваями, наполнился гулом человеческих голосов. Сфинксы напротив Академии художеств, странные существа, порожденные фантазией древних людей, словно прислушивались к плеску синей Невы у подножий и вглядывались сквозь толщу веков в другую великую реку.

Невский проспект, радуясь солнцу, сиял чистыми витринами. А вот знаменитые сине-белые надписи на его стенах — «В случае артобстрела эта сторона наиболее опасна» — почему-то исчезли.

— Почему их закрашили? — спросил я Галину.

— Кто-то хочет, чтобы мы забыли о блокаде, — резковато ответила она. — Закрыли музей обороны, исчезли его экспонаты, ценнейшие документы. Продолжаются аресты. Роман Кетлинской о блокаде искромсала цензура, выкинула «страшные» эпизоды. А пьесу Ольги Берггольц вообще не приняли к постановке. Происходит что-то ужасное...

У Галины перехватило дыхание. Она повела плечами, кутаясь в шерстяной платок, хотя в комнате было тепло.

— Меня не принимают на работу в городские газеты. Только в области, в Колпино, не побоялись, взяли в заводскую многотиражку — езжу туда дважды в неделю. Мне там рассказали, что в сорок первом рабочие Ижорского завода остановили немецкие танки. Почти безоружные, кидали в них бутылки с горючей смесью, погибали под огнем немцев. Я написала очерк о подвиге ижорцев, предложила в свою газету — ну, из которой меня выгнали. Не взяли! Завотделом, мой приятель, сказал

открытым текстом: «Галя, не сердись, но у нас установка — хватит о гибели, поменьше слез, побольше ударного труда по восстановлению...»

У одного писателя, друга отца, было серьезное знакомство с кем-то из Смольного. Он-то по секрету и сказал Галине, что двадцать пятого сентября началось слушание по «ленинградскому делу». И уже через день сообщил, что суд закончен. Все подсудимые получили сроки — *отец осужден на десять лет*.

У Галины глаза были сухие, когда она сказала мне о приговоре. Прищурясь, она смотрела в незанавешенное окно, словно пытаясь разглядеть, что творится в темном пространстве вечера. Руки у нее, стиснувшие платок у горла, мелко дрожали.

Земля повернулась на пятнадцать градусов.

Как выдерживает земная ось такие повороты?

Галине передали записку отца, очень короткую: «Галя, дорогая, пришли, пожалуйста, теплое белье и носки. Отправят куда-то на север. Придется пережить и это. Прости! Люблю. Целую тебя и Люсю. Сообщи Вадиму. Лев».

Я пытался добиться свидания — не вышло. *Не положено*. Зря я звонил, торчал у дверей Большого дома, у окошек, за которыми сидели холодноглазые люди в фуражках с красными околышами. Не положено, вот и всё.

Не знал я, что в эти, последние дни сентября, неподалеку, в Доме офицеров, шел и быстро закончился суд над главными персонажами «ленинградского дела». И вот пополз ужасающий слух: Кузнецова, Попкова, Вознесенского и еще нескольких человек приговорили к расстрелу... и будто сразу же и привели в исполнение...

Рая спросила, сколько лет моему отцу.

— Он ровесник века, — сказал я.

— Ну, значит, когда он выйдет, ему будет шестьдесят. Дима, это ведь не много. Он вернется в нормальную жизнь.

Райка хотела меня утешить, добрая душа. Мы сидели у нее на кухне, тут и Лиза была, коротко стриженная, располневшая, глядевшая на меня сочувствующим взглядом.

Радио вещало об успехах тружеников колхозных полей: собран невиданный урожай. Я слушал невнимательно, поглядывал на висящую над кухонным шкафчиком фотографию Парфенона. В рассеянные мысли вплетались голоса женщин. Лиза говорила о новом лекарстве для улучшения кровообращения. Рая — о каких-то новых симптомах у мамы. Это слово — «симптомы» — витало над столом, над чаем с сырниками.

Как же он там будет, на севере... со своим радикулитом... с загрудинными болями, которые недавно у него появились... Галину эти боли очень тревожили...

И еще одно слово витало над столом — произнесенное, но бившееся у меня в висках слово «заговор». *Не-воз-мож-но* было представить, чтобы отец участвовал в заговоре. Да вы что, товарищи судьи?! Заговорщики — это кто угодно, декабристы, народовольцы, троцкисты в конце-то концов, но только не отец! Он с ними воевал — с заговорщиками, с мятежниками против советской власти...

Против? — спохватился я вдруг. Разве они, кронштадтцы, *против* советской власти подняли мятеж? Да нет же... за советскую власть они восстали... Господи, как все перемешалось, закружилось в страшной карусели... в дикой половецкой пляске...

— Дима! — услышал я голос Лизы. — Ты что, заснул?

— Он считает, сколько колонн в Парфеноне, — заметила Рая.

— А что такое? Я не сплю.

— Я тебя окликнула, а ты молчишь, — сказала Лиза. — Ты знаешь, где находится Аткарск?

— Аткарск? Нет, не знаю. Зачем он тебе?

— Не мне, а Галине. У некоторых осужденных арестовали жен. Мы с Галей вчера говорили. Ей надо уехать с Люсей. Галя не хочет уезжать, а я считаю — надо.

— Она была у тебя? Почему меня не позвали?

— Она пришла поздним вечером. Не хотели тебя беспокоить. Как ты думаешь, Дима...

— Тут нечего думать, — сказал я, — ей надо уехать. Ты спросила про Аткарск. Это город, где она была в эвакуации?

— Да. Галя там на железной дороге, ну, в депо мыла вагоны. А потом ее взяли в заводскую газету. Редактор чудно к Гале относилась.

— Понятно. — Я взглянул на своего «Павла Буре», было четверть десятого вечера. — Еще не поздно, поеду к ней.

— Допей чай, — сказала Рая.

Лиза ушла мерить давление Розалии Абрамовне. Я допил чай и поднялся.

— Спасибо, Райка. Сырники у тебя замечательные.

— Рада слышать. — Она подставила щеку для поцелуя. — Постарайся уговорить Галину.

— Постараюсь. — Я потянулся к ее губам.

— Хватит, хватит, — сказала Рая. — Хорошего понемножку.

Сумасшедшая шла осень.

На другом конце земли война, докатившаяся до крайнего юга Корейского полуострова, покатила назад. Войска ООН (американцы главным образом) погнали армию Ким Ир Сена на север — почти до северной границы. И вдруг из-за этой границы хлынули китайские добровольцы, по сути — огромная регулярная армия Мао Цзэдуна. И война покатила на юг, к прежней границе двух Корей, и замерла на 38-й параллели.

Но это, хоть и вызывало интерес, было далеко.

А здесь, в Питере, вот что происходило.

Галина наотрез отказалась уезжать. Мне не удалось ее уговорить. «Уехать, — заявила она, — значит, бежать. А бежать — значит признать себя виноватой. А я ни в чем не виновата».

Было беспокойно. Я долго не мог уснуть. Вставал, бродил по комнате, курил.

А часов в десять утра позвонила Галина и попросила прийти вечером вместе с Лизой.

Мы пришли. Лиза, после суточного дежурства в больнице, выглядела усталой, с темными подглазьями. Она принесла какую-то травку-заварку, придающую организму бодрость, и направилась было в кухню, чтобы ее заварить.

— Погоди, Лиза, — остановила ее Галина. — Сядем, надо поговорить. Вот что хочу вам... — Она повела плечами, словно содрогаясь от того, что намеревалась сказать. — Я по-прежнему не хочу уезжать, считаю это постыдным бегством. Но Люся сказала, что если меня арестуют, то она бросится в Неву.

Голос у Галины дрогнул. Она отвернулась, поднесла к глазам платок. Люся, сидевшая в уголке дивана, под гобеленом с рыцарями, исподлобья смотрела на мать.

Трудное было молчание.

— Галя, — сказал я, — это не бегство. Ничего постыдного в том, что вы укроетесь на какое-то время...

— На десять лет, — с горькой усмешкой сказала она.

Лиза быстро заговорила. Она возьмет на себя связь со Львом Васильичем (переписка же с лагерем разрешается) и его письма будет пересылать Галине в Аткарск, а ее письма — ему. И посылки будет отправлять Льву Васильичу. И квартплату вносить.

— А ты, Галя, завтра же телеграфируй своей бывшей редакторше в Аткарск, — распорядилась Лиза. Она умела распоряжаться. — Где он находится, этот Аткарск?

— В Саратовской области. — Галина вздохнула с подавленным стоном. — Летом сорок второго в Аткарске было тревожно... немцы наступали на Сталинград...

Я видел, видел, как ей страшно оттого, что повторяется вынужденный отъезд — как бы вторая эвакуация — из Ленинграда. Но что же было делать? С обстоятельствами жизни не поспоришь.

Я сказал, что буду оплачивать посылки отцу.

— Пока не надо, Вадим, — сказала Галина. — Я сниму деньги в сберкассе.

— Вам они понадобятся для устройства в Аткарске.

— На первое время хватит. Я дам тебе знать, если возникнет нужда.

Женщины принялись обсуждать подробности переезда.

Здравствуй, Дима!

Извини, что долго не отвечала на твоё письмо. Почти все лето у меня пролетело в тревоге. У мамы произошёл повторный инсульт, её положили в больницу, делали все возможное, чтобы спасти, появилась небольшая положительная динамика. Но 3 сентября стало резко хуже. Ночью мама умерла.

Похоронили её на Смоленском кладбище, рядом с папой. Теперь они снова вместе.

А я осталась одна.

Сегодня по радио слушала оперу «Дидона и Эней», фамилию композитора, англичанина, не расслышала. Ты знаешь эту историю, описанную Вергилием? Эней бежал из горящей Трои, приплыл в Карфаген. Царица и основательница Карфагена Дидона стала его любовницей. Но у Энея был приказ, или, вернее, знак от Юпитера: плыть в Италию, он там должен был стать предком основателей Рима. Такая странная, тревожная музыка. Нечистая сила, недовольная, что Эней застрял, беснуется над Карфагеном. Эней уплывает, а Дидона не может пережить разлуку и кончает с собой.

Дима, как ты поживаешь? От Лизы я знаю, что у отца теперь более легкая работа. Лиза говорит, что молится за него. Будем надеяться на благополучный исход.

А ты приедешь в отпуск?

Будь здоров, и счастливого плавания. 14 сентября 1951.

Рая.

Раячка, дорогая!

Сегодня получил твоё письмо. Очень тебе сочувствую. Розалия Абрамовна была и для меня, можно сказать, родным человеком. Она достойно прожила свою жизнь, сделала много добрых дел, а главное — родила тебя и Осю. Невозможно представить себе наш дом на 4-й линии без нее.

Рая, зачем ты пишешь, что осталась одна? А я — разве я тебе не верный друг?

То, что я много времени провожу под водой и даже оброс ракушками, несколько не отражается на моих дружеских чувствах.

Я вычитал где-то, что Ньютон в конце жизни сравнил себя с мальчиком, играющим

с ракушками на берегу океана. Вот и я, хотя уже давно не мальчик, все еще играю с ракушками на балтийских побережьях. С той разницей, что «игры» Ньютона мощно двинули вперед науку, а мои «игры» — всего лишь военно-морская служба.

Но ведь кто-то должен этим заниматься?

Я вспомнил, как мы когда-то с Оськой играли в «морской бой». Ужасно, что он пропал без вести...

А про Энея и Дидону я не знал. Ну и дела!

*Что-то письмо у меня получилось сумбурное. Не сердись. Я тебя очень люблю. Дима.
23 сентября 1951 г.*

Дорогой Вадим, спасибо за письмо, за его теплоту. Это такая редкость в моей нынешней жизни.

Я уже писала тебе, что с устройством на новом месте было у нас с Люсей очень нелегко. Хотя Марья Васильевна всячески опекала. Я второй месяц работаю регистратором в поликлинике. Работа не очень трудная, но довольно нервная, зарплата микроскопическая, но ничего, главное — я при деле. Ты спрашиваешь, почему я не устроилась в местную газету. Во-первых, нет вакансий. А во-вторых, я и не хочу в газету, так как публичная профессия мне теперь ни к чему.

С жильем Марья Вас. нам помогла: снимаю комнату с удобствами у хороших людей (семья инженера, интеллигентного, играющего на скрипке).

Люська ходит в школу за углом от дома. Учится хорошо, но отношения с девочками в классе непростые, так как она более развита, начитанна и вызывает зависть. У нас ведь не любят тех, кто выделяется. Записалась в библиотеку, много читает. Обожает романы Тургенева. Теперь взялась за Гончарова. На днях заявила мне, что хочет стать писателем. В каком-то журнале или газете вычитала, что шах Ирана женился на дочери вожды одного из племен и что в свадебное платье невесты было вшито 6 тысяч бриллиантов. Люська сказала, что когда она выйдет замуж, у нее будет еще больше.

Вадим, благодарю за предложение помощи. Пока мы держимся, здесь жизнь все же дешевле. Дай нам бог продержаться до конца срока — живу только этой надеждой. Лиза уже дважды пересылала мне записки оттуда. Они удивительно бодрые...

Всего тебе хорошего. Мы с Люсей обнимаем тебя.

С наступающим Новым годом! Галина.

11 декабря 1951.

Райка, милая, хорошая!

Отпуск пролетел так быстро, что я и опомниться не успел, как вновь очутился на железной спине своей пироги. Стою в строю, поют горны, вздымаются флаги, а рассвет еще не наступил, и наши обветренные мужественные лица сечет дождь со снегом.

Здорово я сочинил, а?

Знаю, знаю, ты скажешь: ничего особенного. Ты же великая спорщица.

А я с удовольствием вспоминаю наш поход в филармонию. Во «Временах года» нам больше всего понравилась «Баркарола», это, кажется, «Июнь»? Мы были до того растроганы музыкой, что не смогли расстаться даже ночью. Единственная наша ночь. Потом наступил хмурый ленинградский день, ты ушла в школу, а я — на вокзал, отпуск кончился, и уехал я с растревоженной душой. Поскорее напиши мне об отношениях с Аполлинарией, возможно ли избежать обострения?

Райка, знаешь что? Давай поженимся. Я не шучу, это всерьез. Нет смысла коротать оставшуюся жизнь врозь, когда можно соединить два одиночества. Я буду заботиться о

тебе — на суше и на море. Не торопись ответить «нет», подумай хорошенько. Но и не затягивай ответ. Дима.

P.S. Это было бы так здорово — продлить «Баркаролу» на всю жизнь!

18 марта 1952.

Димка, ты сошел с ума! Мы с тобой знакомы чуть ли не со дня рождения, ты мне все равно что брат. Как же можно такие привычные отношения перевести на другой уровень? Я просто не смогу воспринимать тебя как мужа. А ты меня — как жену.

Это невозможно!

Та ночь после «Времен года» больше не повторится. Пусть останется единственной. Как прекрасное воспоминание.

Не получается у нас «Баркарола на всю жизнь».

А из школы я ухожу. Доведу до конца учебного года, и всё. Не могу больше работать с этой ужасной бабой. В одном НИИ образовался редакционно-издательский отдел (РИО), им нужно переводить немецкие тексты биологического, физиологического и т.п. содержания. Один из бывших Сашиных сотрудников рекомендовал им меня, вот, может быть, возьмут на постоянную работу. А пока, для пробы, предложили перевести небольшой текст.

Димка, дорогой мой, не сердись, что я ответила отказом на твое предложение. Ну такой у меня скверный характер. Я очень тебя люблю. Твои приезды в отпуск — всегда как праздник. Целую тебя. Рая.

31 марта 1952 г.

Здравствуй Дима!

Я переправила отцу твою записку. Вчера пришло его письмо он записку получил очень рад шлет тебе привет. Пишет что в мае немного прихватило сердце. Это его выражение. Полежал в санчасти стало легче. Работает учетчиком и что-то пишет для их самостоятельности. Что именно я не совсем поняла. Теперь летом у них стало тепло и надежда снова ожила. Это тоже его выражение.

Дима ко мне в конце июля приходил служебный человек спрашивал кем я прихожусь отцу я сказала знакома с ним как с писателем. Спросил где его жена я сказала не знаю. Спросил а где сын от первого брака я ответила не знаю. Больше он ничего не сказал зыркнул глазами на икону и ушел.

Всего хорошего. Храни тебя Бог.

Лиза.

7 августа 1952 г.

Дима! Я не знаю, что мне делать! Какое-то сумасшествие творится! Я работала в РИО одного института, переводила с немецкого. Вдруг меня вызвали в партком и обвинили... секретарь всегда был такой вежливый, с улыбкой, он же ученый, доктор биологии, а тут... Строго спрашивает, как я посмела перевести статью немецкого физиолога, ну ты о нем не слышал, — как я посмела перевести его вредную идеалистическую статью о генетике. Я говорю, перевожу то, что мне велит руководство. А он: вы были обязаны отказаться, потому что это пропаганда буржуазной лженауки, вводящей в заблуждение. Мне бы пустить слезу, покаяться — в чем? Ну, в ошибке. Но я же не умею. Вступила в спор: я не разбираюсь в этой чертовой генетике, мое дело техническое — перевожу не по своему выбору, а то, что заведомо даст. А они, партком, напустились на меня: вы, как коммунист, не имеете права на безразличное отношение к антимарксист-

стской вылазке. Ну короче: вlepили мне строгий выговор. Я побежала жаловаться, только хуже сделала, дура. В институте шли увольнения, и вот меня, как упорствующую в недопустимом проступке, тоже уволили.

Я осталась без работы. И обстановка гнетущая. Просто не знаю, что делать. Меня же никуда не примут. Разве что уборщицей. Мне бы поплакать кому-нибудь в жилетку, но некому. И ты в отпуск не приезжаешь. Почему? Будь здоров. Рая.

19 января 1953 г.

Раячка! Посылаю тебе пропуск, по которому ты сможешь приехать в Лиенаю. У нас же режимный город. По этому пропуску разрешается въезд женам офицеров. Пришлось сказать, что ты моя жена. Попросили предъявить брачное свидетельство. Я сказал, что ты не совсем жена, но мы решили пожениться, как только ты приедешь. Вообще-то невестам не разрешают въезд, но мне помог один мой друг. Словом, выдали документ.

Квартиры у меня пока нет, но один наш офицер уедет в отпуск, и мы поселимся в его комнате.

Райка, не вздумай отвечать «нет». Время очень суровое. Я не могу оставить тебя одну. Быстро собирайся и выезжай. О выезде пришли телеграмму, я тебя встречу.

До скорого свидания! Вадим.

9 февраля 1953.

Рая приехала 1 марта. Я встретил ее туманным утром. Ее лицо под меховой шапочкой показалось мне очень бледным, выражение было недоумевающее: дескать, куда меня занесло?

Я подхватил чемодан и сумку, мы пошли к ожидавшему такси. Рая говорила, что всю ночь в рижском поезде не спала: в купе неумоимо орал ребенок.

Приехали в военный городок. Я отворил дверь, и мы вошли в комнату Китаевых. (Герман с женой уехали в отпуск, в Москву.) Комната на первом этаже была небольшая, с одним окном и скрипучими половицами, обставленная простенькой мебелью: шкаф, кровать, стол и стулья — обычный набор, выдаваемый КЭО, то есть квартирно-эксплуатационным отделом. В углу стояла этажерка, на ней зеркало и десятка два книг — тут были «Декамерон», Зошенко, «Последний из могикан» и другие, тоже, конечно, соответствующие профессии Китаева, нашего минера. Над этажеркой висел странный портрет товарища Сталина: вождь, с рюкзаком и ружьем за спиной, верхом на лошади, на фоне горного пейзажа. Присмотревшись, я обнаружил под портретом мелкую надпись: «Пржевальский в третьей экспедиции». Откуда-то Китаев, увлекающийся фотографией, переснял и увеличил этот снимок.

— Как они похожи, — сказала Рая, посмотрев. — Просто одно лицо.

Удивительно, впрочем, другое: как женщины умеют быстро приспосабливаться к новой обстановке. Не прошло и двух часов, как Рая, распаковав чемодан, развесила и разложила свои вещи в шкафу, а из сумки извлекла кое-какую посуду и провизию, и познакомилась с соседкой по квартире Тamarой, длинноногой женой командира нашего торпедолова Мелентьева, и уже в кухне на таганке попыхивал китаевский чайник и шипели, поджариваясь на сковороде, сырники.

Я поставил на стол бутылку армянского коньяка и торт в круглой коробке. Мы выпили. Рая вгляделась в меня своим пытливым взглядом и сказала:

— Знаешь, почему я приехала?

— Откуда мне знать?

Давно у меня не было такого легкого настроения. Хотелось шутить. Я налил еще коньяку.

— Ты написал, что не можешь оставить меня одну...

— Да, не могу.

— И приказал приехать. Вдруг я поняла: как хорошо, когда приказывают.

— Еще бы не хорошо...

— Ты можешь слушать серьезно? В Ленинграде происходит такое — будто с ума посходили. С этими арестами, с делом врачей... Я навестила тетю Соню, она приболела, что-то по женской части. Вышла от нее, остановила такси. Едем, и таксист, с виду вполне приличный, вдруг говорит: «Эх, попался бы еврей, задавил бы его на хер». Гляжу на него и спрашиваю: «Так бы прямо и задавили? За что?» — «Заговор у них, — отвечает. — Хотят погубить Россию». — «Это, — говорю, — дрянная выдумка. Никакого заговора нет». Он на меня глядит: «Вы, может, еврейка?» — «Да, — говорю. — Самая главная заговорщица». Он останавливает машину и орет: «А ну вылезай!..» И дальше матом. Ну я тоже его послала, я умею... Вылезла, стою, слезы плотаю...

— Райка, — сказал я, — дорогая моя, забудь об этом хмыре. Ты приехала, вот самое главное.

— Приехала, потому что ты позвал... Димка, ты правда не можешь оставить меня одну?

— Истинная правда!

Мы выпили, сырники поели, они, как всегда, у Раи были замечательные. Чаю напились с тортом. Потом я уложил Раю поспать после бессонной ночи. И отправился на службу.

А вечером пришли гости: командир лодки Мещерский, замполит Измайлов с улыбчивой женой и Геннадий Карасёв. Рая сидела рядом со мной, нарядная, в голубом крепдешиновом платье с модными подкладными плечами. Отдохнувшая, она не казалась такой бледной, как утром. Смеялась нашим шуткам, а уж мы, конечно, хохмили по морскому обычаю. После ухода гостей я помог Рае помыть посуду.

— Я как будто на другую планету попала, — сказала она. — Хорошие у тебя друзья.

Утром я встал рано, было еще темно. Света не зажигал и двигался тихо, чтоб не разбудить Раю. Но она чуткая, проснулась, жалобно спросила:

— Уже утро?

— Да. Ты спи. А мне надо к подъему флага.

— Сейчас встану, чаем тебя напою.

— Нет. Попью чай на «Смольном». Спи.

— А когда придешь?

— Вечером. Но ты как военно-морская жена должна знать, что я не каждый вечер смогу приходить домой.

В тот мартовский день была оттепель. С моря дул сырой ветер, и низко плыли гонимые им стада темно-серых облаков. Природа, равнодушная к людским страстям, вершила свой извечный круговорот. В лужи талой воды, подернутые рябью, смотрелась подступающая весна.

В тот мартовский день с утра поплыл над гаванью протяжный до бесконечности гудок судоремонтного завода «Тосмаре» — то был набат, извещающий о большой беде. Гудели на станции паровозы.

Огромная страна замерла, оглушенная звуками траурных маршей, извергаемыми миллионами радиорепродукторов.

В то утро было назначено собрание офицеров дивизии. (Да, недавно наша бригада подводных лодок была преобразована в дивизию. Бывшие три дивизиона превратились в три бригады в ее составе. Ожидалось прибытие новых субмарин.) Мы сидели в темноватом зале клуба на береговой базе в ожидании начальства. Новый начальник политуправления флота должен был, как объявлено, сделать доклад.

Но начальство опаздывало. Вернее, задерживалось (начальство не опаздывает). Мы сидели, ждали. Не слышно было обычного гула голосов — ни шуток, ни смеха. Почти осязаемо сгущалась в зале атмосфера какой-то жути.

Наконец на маленькой клубной сцене появились старшие офицеры дивизии и новый начальник Пубалта — контр-адмирал невысокого роста с пухлым розовым лицом.

— Товарищи офицеры, — обратился он к залу, — нас постигло большое несчастье. Умер наш любимый, наш великий... — Тут контр-адмирала сотрясло рыдание, он расплакался.

Начальник политотдела дивизии живо налил воды из графина и поднес ему стакан.

Станный был день. После доклада о повышении бдительности занялись обычными делами, но настроение было неслужебное. Будто захлестнуло гигантской штормовой волной и понесло неведомо куда...

В девятом часу вечера я пришел домой.

— Ох! — Райка кинулась мне в объятия. — Наконец-то... А я жду, жду...

— Что с тобой?

— Не знаю. Почему-то страшно... Тебя весь день нет, и эти гудки, траурная музыка весь день... Почему-то хотелось спрятаться... хоть в шкаф залезть...

— Ты ела что-нибудь? Ты же хотела съездить в город, на рынок.

— Что-то ела. Нет, на рынок не ездила... Димка, тебе не страшно, что он вдруг умер?

— Не страшно, а странно... Непонятно, как теперь пойдет жизнь...

Мелентьевы, соседи, позвали нас «выпить за упокой», как сказала Тамара. Она, сухопарая и длинноногая, с копной красновато-соломенных волос, в войну служила телефонисткой в службе связи на ораниенбаумском пятачке, командовала отделением девок-краснофлотцев, и командирские замашки сохранила и в мирное время. Она и на мужа, капитан-лейтенанта Мелентьева, покрикивала, а тот, сам крикун изрядный, терпел и только носом шмыгал на ее крики.

Иван Мелентьев вообще-то был не подводник, а катерник, училище не кончал — выслужился из мичманов. «Я дымом пропахший, — говорил он о своей службе на катерах-дымзавесчиках. — Нанюхался химии на всю жизнь».

Служба была у него не гладкая. Отличился Иван со своим отрядом катеров, прикрывая дымзавесами высадки десантов в Выборгском заливе, потом в Моонзунде. Но в конце войны возникли неприятности из-за обильного употребления спирта внутрь организма, и верно сильно задымленного. Падения по службе чередовались со взлетами, пока Мелентьев в послевоенные годы не получил назначения на бригаду подплава — командиром катера-торпедолова. Вот это было как раз по нему. Маленький остроносый кораблик сопровождал лодки, выходившие на учения. Лодки стреляли по условным целям, учебные торпеды в конце дистанции всплывали красными носами вверх (сжатый воздух выбрасывал воду из БЗО — боевых зарядовых отделений). И тут начинал работать Иван Мелентьев: торпедолов подходил к всплывшей торпедой,

крюком крана зацеплял скобу на носу стальной сигары и, вытащив ее из воды, укладывал на палубу. Затем торпедолов устремлялся к другой торпедой, и так шло, пока все не будут выловлены, доставлены на «Смольный» и уложены на стеллажи в трюме — так сказать, на отдых до следующих стрельб. Торпеда вещь очень дорогая.

У Мелентьевых было две комнаты — большая и смежная маленькая. В большой, где висели на окнах занавески с золотыми на вид петушками, мы уселись за стол. А на столе в большой салатнице томилась, исходила жаром вареная картошка, посыпанная зеленым луком, и возлежали на доске крупно нарезанные селетки, и, конечно, высились среди этого великолепия бутылки.

Иван Мелентьев, краснолицый, с оттопыренной нижней губой, сказал, подняв стакан:

— Вот, значит, усоп наш вождь. Всю жизнь был с нами, вел народ к коммунизму. Я бы кто был, если б не он? Беспризорный пацан, вот кто. Жить бы еще, да в животе тощо. А он меня вытащил из замерзлой жизни. И повел народ к победам. Вот, значит, выпьем за усопшего вождя.

Мы выпили.

Рая спросила Тамару, откуда такая крупная замечательная картошка.

— Да с базара, — ответила та. — Продукты тут хорошие. И еще лучше были, а стало их меньше, когда богатых крестьян угнали.

— Куда угнали?

— Ну не знаю. В Сибирь, говорят.

— Мало ли что говорят, — сказал Мелентьев, наливая в стаканы водку. — Латвия что, не наша? Наша. Значит, как у всех коллективизация. Ну давайте, чтоб, значит, не хуже было, чем при вожде.

Выпили мы. Из смежной комнаты донеслись вопли, оттуда выскочил мальчик лет семи, растрепанный, в белых трусах и желтой майке.

— Ма-а! — крикнул он. — Бойка деётся!

Тамара быстро прошла туда и, судя по раздавшемуся плачу, отшлепала кого-то.

Мелентьев, простуженно потянув носом, сказал:

— Борька на год младше Витьки, а драчливей. В меня пошел, вспыльчивый. А вы, значит, с Германом на одной «немке» служите? Ну, значит, будем знакомы. Давай!

Мы пили водку, и закуска была хороша. А чувство странности происходящих событий не исчезало. Что же теперь будет? Мелентьева, как видно, тоже занимал этот вопрос. Он развернул целое рассуждение: кто может заменить Сталина? Само собой, заменить такого великого вождя невозможно, но кто-то ведь должен возглавить государство. По радиовыступлениям выходило, что кандидатов трое. Но один — Берия — грузин, очень, конечно, важный, но все ж таки надо бы русского, верно? Молотов тоже важный, но старый. И выходит, что самым главным будет у нас Маленков.

— А может, Ворошилов? — взглянул на меня Мелентьев.

— Навряд ли, — мотнул я головой.

— Кто будет, тот и будет, — рассудительно сказала Тамара. — Я вот что хотела вам, Вадим Львович, сказать. Китаев скоро уедет, так вы хлопчите, чтоб его комнату получить.

— Уедет на курсы и вернется, а комната останется за ним.

— Да нет, он совсем уедет.

— Куда?

— В Москву. Они ж москвичи. У Ксении папа по иностранным служит делам.

Дипломат. Мне Ксения сказала, что Герман пойдет учиться тоже на дипломата. Папа, говорит, вытащит нас из этой дыры.

— Дыра знаешь где? — грозно повысил голос Мелентьев. — У Ксении в голове, вот где!

По-прежнему шла в Либаве тихая жизнь. От вокзала до рынка ходил, позванивал трамвай — маленькие, словно игрушечные, вагоны. На мощенных булыжником улицах липы весной исправно выбрасывали прутики новых веток из старых, подпиленных осенью. В гавани военного городка по-прежнему в семь утра пели корабельные горны, призывая к государственной службе.

Но государственная жизнь не отличалась тишиной.

Наступившее в марте того года *время без Сталина* несло удивительные перемены. Из тюрьмы выпустили врачей — они оказались никакими не «отравителями», а жертвами клеветы и «недозволенных методов следствия», то есть пыток, избиений, и был назван виновник этого «дела» — некто Рюмин из министерства госбезопасности.

Затем было объявлено *коллективное руководство*. Не личность, не герой, а массы, народ — вот кто творец истории. Может, так оно и есть, в конечном-то счете. Но ведь массы всегда шли за кем-то — за князем, вождем, полководцем... «Народ безмолвствует»... Не пустые это слова, Пушкин не из головы их взял, а из истории.

А история, при коллективном руководстве, разворачивалась прямо на глазах у народа-творца. Был арестован Берия, он оказался агентом западных разведок. Повесть в это поразительное обвинение было трудно. Ну не мог Сталин, с его умением глубоко видеть и даже предвидеть, долгие годы держать рядом с собой шпиона. Там, наверху, наверное, идет борьба за власть. Я поделился этой догадкой с моей женой (мы зарегистрировали в то лето наш брак).

— Ну не знаю. — Рая пожала плечами.

— Если тебе не нравится «борьба», тогда — «драка».

— Ой, Димка, не мешай мне.

Она склонила кудрявую голову над своими конспектами. Ладно, я не стал мешать. Скоро начнется новый учебный год, Рая пойдет преподавать русский язык и литературу. Ей помогла устроиться на работу завуч школы — жена нашего замполита Измайлова. Вот она и сидит, готовится к урокам.

Вообще, как-то наладилась у нас жизнь в Либаве. Тамара оказалась права: Герман Китаев уехал насовсем, его отозвали в Москву на курсы, готовящие военно-дипломатических работников, — это, конечно, устроил тесть-дипломат. Ну что ж, Герман неплохо владел английским, обладал приятной наружностью, знал, в какой руке держать вилку и в какой — нож. Из него получится хороший атташе.

А его комнату, хоть и не сразу (и не без затраты нервной энергии), я получил. Мы купили красивый рижский радиоприемник и широкую тахту (вместо казенной кровати). Из Питера Райка привезла занавески и большое, во всю стену, яркое «сюзане» — и наше жилище преобразилось, стало, не побоюсь этого слова, уютным. По вечерам, если служба не удерживала, я как приличный женатый человек шел домой.

Но самым поразительным событием *времени без Сталина* был пересмотр «ленинградского дела». Так же коротко и сухо, как в январе 53-го объявили о заговоре «врачей-убийц», теперь, в мае 54-го, сообщили о Постановлении Президиума ЦК «О деле Кузнецова, Попкова, Вознесенского и других». Я просто ушам своим не верил! Дело было «сфабриковано во вражеских, контрреволюционных целях бывшим министром

госбезопасности, ныне арестованным Абакумовым и его сообщниками». И далее: «Избиениями и угрозами добились вымышленных показаний арестованных о создании якобы ими заговора...»

«Дело» сфабриковано! Не было никакого заговора!

Ну так выпустите моего отца!

* * *

После отмены цензуры у Галины Вартанян-Плещеевой, заметной в Питере журналистки, как бы открылось второе дыхание. Она занялась журналистским расследованием события, мрачной тенью накрывшего ее душу, — *«ленинградского дела»*. Документы этого — по сути фантастического — дела были прочно закрыты в партийных архивах. Но еще были живы многие из двух тысяч ленинградцев, так или иначе пострадавших в 1949—1950-х годах — отсидевших срок или снятых с работы, исключенных из партии. Галина созванивалась с этими людьми, чаще всего они, постаревшие и не очень здоровые, отказывались от встречи, от мучительных воспоминаний. Но некоторые соглашались, Галина ездила к ним с диктофоном, выслушивала трудные, иногда со слезами, рассказы людей, так и не сумевших понять, почему их вдруг обвинили в «заговоре»... кому и зачем понадобилось вычеркнуть из памяти героическую эпопею обороны Ленинграда...

Но были (хоть и очень немногие) люди, понимавшие или пытавшиеся понять, отчего, из какого мрака, оно возникло — ужасное ленинградское дело.

В Ульяновке, в полусотне километров от Питера, в дачном домике среди яблонь и кустов смородины, жил-доживал свой век некто Анисимов, девяностодвухлетний инвалид, почти слепой и согнутый пополам, под прямым углом. Он передвигался с двумя «ходунками» под мышками, громоподобно кашлял, но голова у него работала исправно и память, в отличие от тела, не была покалечена. Таким его описала Галина в газете, в одной из своих статей.

Этот Анисимов в годы войны работал в обкоме партии, был близок к Алексею Кузнецову. О себе он не рассказывал, но из некоторых его обмолвок Галина сделала вывод, что Анисимов, инженер по образованию, ведал строительством катеров для Балтфлота и, наверное, и другой оборонной работой.

Она давала мне послушать записи бесед с Анисимовым. Я услышал надтреснутый, как бы захлебывающийся голос, часто прерываемый кашлем.

— В феврале сорок девятого началось, драть... Маленков приехал... срочно пленум горкома и обкома... он, драть, доклад об антипартийной деятельности... чушь собачья... Ленинград, мол, хотим выпятить... свою парторг-цию противоставить всесоюзной... драть... не выполняем главную задачу... восстановле тяжелой промышленности... а возражать нельзя... Попков и Капустин, второй секретарь — каялись, драть... Летом начались аресты... меня в одну ночь с Попковым... больше года допросы, пытки... драть, драть...

Кашель, от которого содрогался диктофон, прервал его речь. Раздался женский, очень начальственный голос:

— Григорий Иванович, принять лекарство.

Галина пояснила мне, что за старым обкомовцем присматривает племянница покойной супруги, женщина тоже в серьезном возрасте.

Запись продолжилась:

— Смертную казнь в сорок седьмом отменили... Так в январе пятидесятого,

драть, снова ввели... для изменников Родины... без права помилования... Да-а, он не мог... Сталин без расстрелов... ну не мог без них... Процесс в пятидесятом, драть, шел три дня... первого октября поздно вечером оголо... огласили приговор... Шестерых к расстрелу... Кузнецова, Вознесенского, Попкова, Капустина... еще Лазутина, предгорисполкома... и предсовмина рэ-сэ-фэ-сэ-рэ Родионова... Огласили и сразу, через час, расстреляли... Похоронили тайно на Левашовской пустоши, драть, драть...

И после нового приступа кашля:

— А за что?! — выкрикнул Анисимов. — Такие люди... Кузнецов Алексей Александрович... Петр Сергеевич Попков... На них держался Ленинград в блокаду!.. За что им пулю в затылок?! А-а, ты хочешь знать... так я скажу... Тайная политика, драть! Внизу народ, простые люди... со своей жизнью и смертью на войне... за Родину, за Сталина... А наверху номенклатура, драть... Грызня за власть! Нескончаемая, тайная!.. Жданова в сорок четвертом из Питера в Москву... в гору пошел, в сорок шестом он чуть не второй человек... Поняла, нет? Берия оттеснил!.. Маленкова из секретариата цэ-ка выставил... А Кузнецова из Питера — в секретариат!.. Берии это нравилось?.. А-а, поняла, драть! Вот, значит, интрига!.. Знали, Хозяин и раньше Ленинград не любил, вот и теперь... Ну кто — Берия с Маленковым, драть!.. Намотали на ус Хозяину, что чистка нужна в Питере... слишком там нос задрали... А Хозяин уже и сам... ну не терпел, если кто высоко забирался, драть... Маленкова снова приблизил, а Жданова отодвинул... Говорили, драть, что его обвинили в том, что Тито вылез... из дружной семьи, драть... А в сорок восьмом, летом, Жданов вдруг умер...

И в следующей, после долгого кашля, записи:

— Хозяин дал отмашку, как стаю злых собак спустил, драть... Поводы смехотворные... Всероссийскую оптовую ярмарку как посмели?.. Преувеличе значенья обороны Ленинграда... Абакумов по приказу Хозяина — фабриковать матерьялы об антипартийности... Заговор придумали, драть! Превраще лен-градской парторг-ции в опору борьбы с цэ-ка партии, драть!.. Что ты спросила?.. Прекрасно понимал, драть!.. Но эта ложь ему была нужна... А-а, почему! Чтоб в страхе держать страну! Разболтались, драть, после войны. Победители!..

И после нового приступа кашля:

— Устал я... Отдохнуть хочу...

Олег Кавун

Фрески эпохи Кокусё

Рассказ

Утром Иван Евгеньевич хоронил собаку.

Она умерла ночью, умерла как-то враз, кашлянула, заплакала, высунула синий бархат языка и упала под стол, уже неживая, твердотелая, несносно большая, как зимнее пальто.

Иван Евгеньевич проснулся за минуту до ее смерти — что-то кольнуло в темя, прервав старческий тонкий сон, — и он видел всю смерть.

Долго копался в кладовке, наконец нашел большой картонный ящик и уложил в него собаку — шерсть сухо царапнула по стенкам. Потом спустился в подвал, где жили все тайны девятиэтажного дома, шуршали там, иногда выбираясь на лестницу запахами гнили, сырости и холодом. Иван Евгеньевич нашел лопату. А когда вернулся в квартиру, то как раз и было уже утро.

Он, невольно поддаваясь скорбной торжественности, на вытянутых руках вынес коробку во двор, вернее в скверик перед домом — кусок не заасфальтированной земли с замученной травой и детским песочником. Как туманный взрыв, рос посреди скверного пространства (Иван Евгеньевич вяло улыбнулся своему каламбуру) куст серебристого растения с мохнатыми, как бы упакованными для долгого путешествия, листьями. Вот под этим кустом Иван Евгеньевич и выкопал неглубокую и кривую ямку. Коробка не вмещалась. Пришлось подрубить земляные края в ущерб глубине — Иван Евгеньевич торопился. Ему почему-то боязно было закапывать здесь собаку. Он за всю жизнь так и не узнал, где хоронят собак и кошек, есть ли где-нибудь специальное для них кладбище, может быть, крематорий. Никаких запретов на этот счет не встречал, но и разрешений тоже, хотя собака у него жила двадцать два года.

Уложив ящик в ямку, Иван Евгеньевич собрался уже было засыпать его землей, но порывисто вдруг наклонился, раскрыл бумажную домовину и тронул неживое тело.

Нет, собака не жила. Она не спала, нет. Она была мертва, и можно было не бояться ее закапывать. Иван Евгеньевич быстро забросал ямку землей и притоптал горбик ногами. Отошел, оглянулся — место выделялось, — снова притоптал, набросал сухого сору и веток и побежал к дому.

Кавун Олег Николаевич — кинорежиссер, кинодраматург, писатель, доцент ВГИК. Родился в 1950 году. Выпускник актерского факультета Киевского государственного института театрального искусства имени И.К.Карпенко-Карого, сценарного факультета ВГИК. Лауреат ТЭФИ в номинации «Профессионал» за фильм «Паломничество в вечный город». Автор нескольких романов и повестей. Живет в Москве.

Людей ни на улице, ни в подъезде не было. Еще не прошел пятый час, а потом, наступила суббота — люди могли и подольше поспать.

Лопату Иван Евгеньевич вымыл в ванной, вытер старой газетой и поставил к батарее сушиться. Потом помылся сам, смыл грязную пену с куска белого мыла, вытер вафельным полотенцем руки, а махровым лицо и, приглаживая волосы, пошел в комнату.

Он шел таким шагом, словно было у него там срочное дело. Но в короткой дороге понятие и цель он растерял и остановился в нерешительной слепоте. Глаза и руки искали утерянное дело, но не нашли, а наткнулись на кресло.

Иван Евгеньевич сел,дохнул облегченно, потрогал пальцы...

Что-то мешало сидеть, какое-то было неудобство. Он пошарил за спиной и долго вытягивал помеху к себе. Это был поводок, обсохший кусок кожи с железными кольцами. Иван Евгеньевич подержал его на руках, как торжественную шпагу, потом опустил на колени и заплакал без голоса и мимики. Просто жидкая старческая слеза отсеклась от глаза веком и остановилась на щеке.

Иван Евгеньевич уснул.

Квартира его была на первом этаже, окно выходило прямо в скверик, а за сквериком сразу же начиналась улица — широкая и светло-серая, как бы не имеющая отношения к дому, деревьям, кусту и замусоренной земле, отличаясь от них идеальностью прямоты и гладкости. Иногда казалось даже, что улица под стеклянным футуристическим навесом.

По этой улице пошли вдруг один за другим трамваи, прямо встык, пошли бесшумно и ровно, но, дойдя до перекрестка, зазвенели, дрогнули и со скрежетом расползлись в разные стороны.

Потом бухнула первая дверь подъезда, потом вторая заныла пружинной и тоже бухнула, но потише, и по лестнице взбежали к почтовым ящикам. Тут же возле ящиков начался громкий разговор, даже крик, дернулся лифт.

На универсальном магазине напротив погасли зеленые буквы и вместо них показалось красно-белое плечо солнца.

Иван Евгеньевич проснулся, когда по зеленым стенам комнаты пригрелись розовые блики солнечных лучей. Он отер выкатившуюся из угла рта слабую слюну, заметил в собственных руках поводок, пошел на кухню и бросил его в помойное ведро.

Пока жарилась яичница и вскипал чайник, Иван Евгеньевич выглянул в окно — могилки видно не было, — он даже теперь точно и не сказал бы, где она. Это почему-то обрадовало Ивана Евгеньевича. Он пожевал губами, сминая улыбку, и от этого радость его не вылилась в обыкновенное лицевое движение, а откатилась от губ внутрь и обласкала сердце. Поэтому поел с аппетитом и со вкусом: впервые за годы почувствовал соленость соли и горечь чая, запах хлеба и ореховый привкус масла.

Он вдруг заторопился, даже решил было не мыть посуду, оставить на потом, но снова, как улыбку, не растратил порыв, а вогнал вглубь, и порыв перешел в уверенное желание и желанную веру (Иван Евгеньевич снова отметил свой изящный каламбур). Он вымыл посуду и вытер ее досуха и даже немного посидел без дела, оттягивая лакомое начало, перекачивая в себе детали и последовательность предстоящего.

Ивану Евгеньевичу было, кажется, семьдесят. Он родился к концу третьего десятилетия круглого века. Родился в деревне, а потом переехал в город и там жил по сей день. Деревню он помнил плохо, родных в деревне тоже не осталось. Он только иногда вспоминал, что ехать надо через лес, а сразу за речкой была первая изба. Вот почему-то помнилась только эта изба и странно помнилась — с голубой крышей.

Эта крыша из детских воспоминаний томила его. Он придумывал ей какие-то оправдания — абберация памяти, причуда жильца (наверное, поп), случайность (другой краски не было), даже идейность (комиссар-романтик), — но ни одно не укладывалось, а примитивная поэтичность даже злила.

В городе он стал писарем. Вернее, плакатистом. Писал, правда, не только плакаты, но и всякие таблички, указатели, названия и предостережения. Его положено бы называть художником-оформителем, но он предпочитал — писарь. Не из скромности, а наоборот, чтобы само понятие «художник» ненавязчиво подразумевалось как обязательное, о чем и напоминать-то лишний раз не стоит.

И правда, Иван Евгеньевич не был оформителем или писарем, он был-таки художник. С некоей игрой и порывом, с некоторой загадкой и даже странностью: Иван Евгеньевич переживал буквы, которые писал.

Началось с того, что как-то, делая табличку «Рукопожатия негигиеничны», он представил себя буквой А. Это получилась само собой, без усилий. И так, водя кистью по бумаге, Иван Евгеньевич закусывал губы, высовывал язык или двигал челюстью, будто прежде обгрызал и облизывал букву, а только потом прилеплял к плоскости уже готовую. Но тут случилось другое — буква проросла в нем, уперлась подпорками в пятки, а вершиной в нёбо, перечеркнув поперечиной живот, и стала как желание спать или пить воду, словом, как некое чувство.

Когда табличка была закончена, Иван Евгеньевич увидел, что она плоха. Нет-нет, все ровно и ясно, но — плохо, плохо. Она... Она распадалась, разваливалась, сама себя раздергивала, что ли. Как воспоминание детства: среди обычных лесов и речек вдруг голубая крыша. И все из-за этой А.

Иван Евгеньевич показал табличку начальнику, тот глянул — нормально, — но посмотрел снова, взял даже в руки, что такое? Вань, что такое? Иван Евгеньевич почти выхватил табличку — я переделаю. Начальник еще очарованно смотрел в пустоту перед собой, а Иван Евгеньевич уже бежал по коридору, бежал и приговаривал — ай-я-яй, ой-ё-ёй... Он понял, что буква А единственная на плоскости бумаги была не в двух измерениях, а в трех, даже в четырех. Попросту, она претендовала на жизнь.

Вот с той поры Иван Евгеньевич и стал художником.

Начиналось трудно, а потом пошло легче. И он научился проживать не только все буквы (а это было даже физически больно, скажем Ж еще долго вилами втыкалась в тело), не только разные их цвета и шрифты — от Грос-Сабона и готического до новомодных Меандра и Пампа. Он научился вчувствовать в себя даже сочетания букв, например, в надписи «УничтожАЙТЕ вредителей!»; даже целые слова — «Наше ДЕЛО правое — мы победим!»; даже сочетания слов — «ЗА РАБОТУ, товарищи!», но все предложение целиком — никак не научился. Вот не получалось!

Впрочем, и так его плакаты, надписи и объявления очень высоко ценили и вывешивали на самых почетных зданиях. Невозможно было не обратить внимания на эти надписи. Не пестрые и вычурные, они останавливали, заставляли вчитаться в себя, удивляли, восхищали и глубоко западали в душу. Ивану Евгеньевичу об этом часто говорили очень разные люди и звали работать и манили к себе. Но наступил момент, и Ивану Евгеньевичу стало невозможно скучно быть писарем. А случилось это, когда он наконец собрал в себе полную фразу «БУДЕТ ХЛЕБ — БУДЕТ И ПЕСНЯ». Плакат получился дивный, его долго не хотели снимать. А Иван Евгеньевич застыл в тупике и понял, что здесь расположено то самое место, которое называется — творческая смерть.

И он бросил писарство.

Солнце сошло со стен, а к зелени комнаты прибавился голубой мутноватый цвет телевизионного кристалла, где бесшумно плавали тени людей и предметов. Звук Иван Евгеньевич включать не стал. С некоторых пор он боялся выговоренного слова. Так художник отворачивает к стене полотна, чтобы отдохнуть от их несовершенства.

У стола стояла стопка книг, которую принесли еще позавчера, Иван Евгеньевич не успел их разобрать. Он отодвинул стопку к стеллажам, на которых и книги стояли корешками к стене.

...Был тот чуткий миг, когда Иван Евгеньевич, словно сквозь тяжелую воду, словно начинающий мим, коснулся руками ловких инструментов — стамесочек, пилочек, шилец, коловоротиков, резачков... Все это и многое другое, чье предназначение знал только хозяин, было действительно маленьким, игрушечным, даже с опасностью потеряться в руке. Инструменты эти висели по стенам и лежали в плюшевых ящичках, нацеленные своими остриями на стол, даже как будто нетерпеливо подвигающиеся к середине.

Но Иван Евгеньевич ждал. Даже не так. Он не просто ждал, он как бы и не ждал, лукаво отвлекая себя от ожидания, пустив мысль на простор рассеянности, но тем самым подманивая, завлекая чудо.

Так уже было с ним, тогда и появился этот рецепт. Обычный дом, раздвигающий свое пространство обыденными звуками — голосами людей и радиоточек, шипом сковородок, детскими междометиями, лаем одинокой собаки. Иван Евгеньевич подумал — только пианино не хватает, гаммы. Отстраненно подумал, от нечего делать, в лениво-сослагательном наклонении — случайно ведь стоял рядом, поэтому и мысль была слабая, посторонняя, без агрессии и желания, но вдруг именно заиграли на пианино, гаммы. Словно кто-то одарил именно эту мысль чудом. И Иван Евгеньевич сразу понял, что чудеса приходят к растерянным. И вот сейчас он смотрел на стол и не на стол, а словно бы мимо, расслабленно, открыто, смиренно...

И это пришло. Стало просто и ясно, на каком инструменте остановится его парящая рука, к чему прикоснется и что поделает.

А на столе был дом. Маленькая комната с маленькой мебелью. Здесь были стены охряно-розового цвета, благородно-темная резная дверь с медными гранеными ручками, на скользко блестящем паркете (не лакированном, а по всем правилам натертом воском) с любопытством привставали на цыпочки шесть стульев, и пять обрюзгших кресел несуетно одергивали их, а листообразный стол на пешечной ноге, покрытый розовой же скатертью и уставленный одиннадцатью чайными приборами, примирял всё. В углах, отпрянувшие от середины, лоснились шелковые подушки, как уютные поросята, приткнувшиеся к бокам обитых мелко-цветастыми тканями диванов.

Все это открылось, когда Иван Евгеньевич снял с комнаты крышку, вернее, потолок с пискнувшей стеклянной люстрой.

Макет.

Да, это был еще макет. Но странное дело, по мере приближения глаза макет не утрачивал своего жизнеподобия, наоборот, оно становилось шире и настойчивее именно от бесконечности подробностей. В комнате не было ничегошеньки приближительного, всё, начиная с текстуры тканей, дерева, фарфора, количества гвоздиков на обивке мебели, кончая резьбой и обойными рисунками, скрупулезно соответствовало уменьшенной в несколько раз действительности — не сделанной, а именно уменьшенной каким-то невероятным образом. Как будто малюсенький Иван Евгеньевич выстроил на столе квартиру и обставил ее мебелью, приобретая материалы для работы в некоем крошечном магазине инсектного мира.

Макет, который и называть-то так неловко, конечно, удивлял, умилял etc., но — еще и неясно, мимолетно как-то пугал. Да собственно, нет, это был не испуг, а предчувствие испуга, даже еще меньше — тянущая непонятность, логически не разрешаемая. Да. Вот в чем дело — в логике. Она — ясно угадывалась в этой комнате — несуразная, посторонняя, но точная. Так вот эта логика и то, что она была, была! — тонко пугало и тревожило.

Шелковые подушки сутулились мягкой волной — какая тонкая ткань, какая мягкая набивка; чашки стояли на блюдцах, а две-три из них наступали донышком на край углубления, которое есть на каждом блюдце, и от этого покачивались — позвякивая; двери в латунных своих петлях ходили плавно и весомо, синкопой чуть прищелкивая язычком при закрытии.

Удивительно, восхитительно etc.! Глаз цеплялся за логику привычно большого мира в этом маленьком, а она здесь нежданно продолжалась, но уже отвечалась, уходила и терялась, покидая нашу жизнь.

Иван Евгеньевич вынул из канделябров свечи — они были чуть толще средней вышивальной иглы, — и стал утоньшать их, снимая микроскопический слой парафина. Ловил в себе перерывы между ударами сердца, чтобы не вздрагивала рука. Опять вспомнил о собаке, краем сознания, как-то это связалось со свечами — умерла. Мысль толкнулась бортом и потекла дальше — резец туповат, а точить такая морока, — но вдруг вернулась к собаке. И Иван Евгеньевич понял, что вспомнил о ее смерти с облегчением. Он приостановил работу (стружечка замерла волосяным кольцом), потому что это чувство вздернуло его. Двадцать два года (никто и не верил, что она столько живет) он думал: я люблю собаку, а теперь понял: она ему мешала. Ведь вот еще вчера он смотрел на свою работу как на продолжительное дело, а сейчас увидел, что работа завершается, что она вот-вот закончится, прямо сегодня, и только потому, что собаки больше нет. И еще он понял, что до этой минуты собака еще жила, а этой облегченной мыслью он ее освободил.

Все это мелькнуло неясно, он глянул в окно и, как сон поутру, сразу забыл, о чем думал только что. Может быть он даже забыл, что у него двадцать два года жила собака.

Бросив работу писаря, Иван Евгеньевич оказался в пустоте без обыденности. Он мог читать книги, а мог и не читать. Мог стирать белье, а мог, замочив в тазу, оставить на неделю. Мог играть с собакой, а мог только кормить. Мог гулять по улицам — и гулял, — но без маршрута. Мучительным рецидивом попадались на глаза старые работы, а если не попадались, то сами лезли в притихшую голову, тело дергалось разными буквами и словами. Но потом и это прошло, а так как будущей цели не было, подоспело прошлое.

Он прожил длинную жизнь, а несколько дней из этой жизни прожил даже слишком длинно.

И теперь прежняя работа повернулась другим смыслом — ведь была же в ней хоть какая-то идея, какое-то резюме. Скажем, «Уходя, гасите свет!» приводило за собой, что он тогда купил кровать. Вот эту самую, которая провисла брюхом почти до пола. Кровать и вывод связывались просто, даже наивно — табличка призывала к пунктуальности и привычке, к однообразию и простоте, а что такое уют, как не все это вместе взятое?

Впрочем, Иван Евгеньевич допускал, что связь может быть совсем иная, что может ее вообще нет, но слишком обдумывать это не хотел.

Бывали связи простые — «Да здравствует 1 мая!» и бегущая колонна с бумажными

цветами и в пальто; «Догоним и перегоним Америку!» и прокисшее поле с грудой красной моркови. Но вот как связывалось «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» с операцией аппендицита или «Все для фронта, все для победы!» с его первой и последней любовью — он не понимал.

Даже во времени резюме и события не соприкасались.

Аппендикс ему вырезал главврач больницы, которую Иван Евгеньевич до этого оформлял к смотру медучреждений. Юбилей поэта был через два года.

А влюбился в первый и последний раз Иван Евгеньевич уже после войны. Настолько после, что праздновалось, кажется, тридцатилетие ее окончания. Да-да, как раз много было у него работы. Возможно, среди многих отважных слов и мелькнуло «Все для фронта...», возможно. Но, кажется, его писала помощница. У него тогда была девочка на побегушках, крепенькая хохлушка с короткими мужскими руками, он ей чуть-чуть доверял, когда сам не успевал. Несколько раз они даже не ходили домой, потому что завалились работой. Спали на груде кумача, который завтра натянут на рамы и планшеты. После короткой близости помощница отворачивалась и быстро засыпала — она очень уставала, потому что хотела тянуться за Иваном Евгеньевичем. А Иван Евгеньевич засыпал, только перебрав в голове предстоящий труд и разложив по сложности — это с утра, это потом, это — мне, это — ладно, ей. Утвердив таким образом, он уже не думал.

В мастерской каждый день намешивалось много народу. Шли с заказами и за готовым. Чаше других были директор клуба и девушка с соседнего завода. Директор просто сидел и любовался работой Ивана Евгеньевича, на все лады приговаривая — ловко, писарь, прямо чекан! А девушка, девушка восклицала откровеннее:

— Вот как это так, как это вообще у вас так получается?!

Вот этот плакат, говорила она, вот такой же мне сделайте. Берите этот, предлагал Иван Евгеньевич, другой будет другой. И действительно — другой получался такой же замечательный, но совершенно не похожий на прежний. Я еще подожду, восхищалась девушка, что-то же обязательно будет самое такое-такое! И Иван Евгеньевич счастливо смеялся.

Ему было хорошо в эти суматошные дни. От запаха зубного порошка, от стука молотка, от ловкой кисти, от солнца даже, хотя оно мешало работе. Они с помощницей все чаще ночевали в мастерской, груда кумача становилась все меньше и жестче.

Потом они уснули на полу, потому что праздник был завтра.

Наутро пришел в последний раз директор, не за плакатами, а просто поздравить, ведь Иван Евгеньевич считался ветераном.

И пришла девушка с соседнего завода.

Она тоже поздравила и купила наконец плакат. Да, вот этот, лучше уже не будет. А на плакате и было-то всего две даты — год окончания войны и год юбилейный.

А потом все разошлись. Иван Евгеньевич домой, помощница к мужу, директор в клуб, а девушка на завод.

Иван Евгеньевич забрал у соседей собаку, накормил ее молоком — для плакатной краски они покупали много молока и зубного порошка, — собака тихо легла под стол, она там жила, как ребенок. А Иван Евгеньевич лег в кровать.

Ночью он сказал — что такое?

Вставать не хотелось, да это и не помогло бы, поэтому он лежал и чувствовал, как слабой солью под языком выступает напряжение. Ладони, лежащие поверх одеяла, стали обожженными. И вся кожа тела просила боли или ласки.

Комната вдруг с топографической точностью представилась сначала в доме, потом в улице, в городе, в стране, в мире и, наконец, во Вселенной — такой

незаметной, а он сам еще меньше в ней. Губы Ивана Евгеньевича сжались, словно сосали леденец, и он заплакал, низко и долго заныл. Но собака шевельнулась во сне, и Иван Евгеньевич затих, чтобы ничего не узнала.

Он подумал сначала, что эта тоска и жалость к себе пришли от безделья или усталости, и снова так подумал, и даже утвердил — не помогло — не обманывалось.

Заболело сердце, тихонько и бесконечно. Иван Евгеньевич все-таки встал, но от необъятного пространства комнаты стало еще хуже. Он испугался, что разозлил какую-то волну, она сейчас вернется и накроет с головой, задушит. Он брезгливо, подгибая пальцы ног, шагнул по холодному полу и удержался за подоконник — он влюбился.

Он улыбнулся. От того, что он это назвал, произнес в себе, стало сразу бодрее. Выпил воды и нырнул под одеяло. Кровать закачалась мягко, и собака положила голову на сухую ладонь, и по синей стене пробежал желтый огонек от неслышной машины. Ничего-ничего, иди ложись... Ложись и спи, ничего... Милая моя, добрая моя собака... Он баюкал ее и себя в тихой прелести исчезнувшей боли.

Любовь.

Л.Ю.Б.О.В.Ь.

Да, был такой плакат, оно уже встречалось, это слово. «Любите книгу — источник знаний». Он сильно ударил собаку по носу, но это не помогло, потому что волна возвращалась. Он даже видел ее — он панически вскочил, чтобы не утопила, чтобы хоть голова осталась на поверхности.

Потом даже удивился — чего там, завтра все скажу... Да все будет нормально.

Но завтра все еще был праздник, а потом воскресенье, замучившее его неритмичными временами. Утром в понедельник Иван Евгеньевич понял, что ничего не съел в эти дни. Очень этому удивился, но снова успокоил себя — все будет нормально. Тогда это словечко только входило.

Иван Евгеньевич все решил дома. Это был убедительный разговор с самим собой, где Иван Евгеньевич себя представлял многозначительным и весомым, а ее покорной, чуткой и ждущей. Собственно, надо будет обойтись вообще без слов. Словно согласие не от нее зависит, а от него. Он видит ее терпеливое ожидание, но как-то все не решается ответить. А теперь, ну не то чтобы решился, а сдался, что ли, что ли нет у него другого выхода — он человек тоже чуткий и порядочный. Как-то вроде — Ну, Бог с тобой, — и слабо улыбнуться, а когда она благодарно прильнет к его груди, скупно погладить по плечу, мол, видишь, все обошлось. Не сразу погладить, как бы внутренне борясь.

Но сначала ее долго не было. Иван Евгеньевич занервничал. Потом стал в себе снижать отрешенность придуманного разговора. Потом она пришла, но никак не получалось начать. Тут все крутились посторонние, опять пришел директор клуба и та девушка с соседнего завода. Иван Евгеньевич подписывал отчетные бумажки, даже что-то пошутил, дескать, подсчитали, прослезились.

А потом они ушли, но никак не выходило попасть в тон. Тут нужен был такой глубокий испуганный тон, сгустившийся воздух, а так просто брякнуть было нельзя. Помощница, словно чувствовала, что он к чему-то готов, а вернее, не чувствовала, смеялась, болтала, суежилась. Ивану Евгеньевичу и нужна-то была только минутка в одном настроении, чтобы провис ритм, тогда бы он мягко вошел со своим — ладно, Бог с тобой или еще как-то. Но минутка не длилась. Иван Евгеньевич стал терять простоту, стал нарочно собирать вокруг себя молчание, чтобы и помощница затихла. Он не смог повести сразу и теперь отступал, откатывался, даже уже вздохнуть начал почти в голос, пока она не спросила — ты что?

— Я люблю тебя, — сказал он и улыбнулся. Но не слабо, не устало, как было придумано, а жалко, просяще, зачем-то дрожали губы, и это уже был перебор, и теперь ей надо было сказать — ладно, Бог с тобой.

Правда, она не засмеялась, не хмыкнула, а вздохнула досадливо — о Господи, я так и знала! И настроение у нее испортилось, и это он испортил ее настроение, и зачем?

Иван Евгеньевич заторопил слова. И говорил нежно, поперек ненависти к собственной слабости и злости, что вот недавно, вообще без особых слов, она ему отдавалась и даже не без удовольствия, с грязнотцой механичности, говорил незнакомым лирическим голосом, чтобы ехидство (давала!) не вылезло наружу. И теперь уже, конечно, просил, просил. И чем больше просил, тем больше она отгораживалась, молчала, глядя мелодраматично в пустой угол, как бы подразумевая некие высшие соображения, которых ему не пробить. И тогда он не сдержал свой, как ему казалось, козырь — а чего ж тогда здесь, на груди кумача?

— Это совсем другое дело, — ответила она строго.

От этих слов начался и все расширялся сектор каких-то несусветных безобразий. Он ей не поверил и ржаво хихикнул. Начал суетливо шутить и хватать ее за руки. Она сначала выпутывалась с тихим сопением, потом отталкивала грубо. Он звонил ей домой, молчал, она хихикала. Он подарил ей бижутерию. Она пригласила его домой и познакомила с мужем. Тот все понимал, говорил — найди ты себе бабу, Евгенич, не шизей.

Иван Евгеньевич стал плакать при ней, она устало, как капризу, утешала. И вообще все сползло в большую натуралистическую яму.

Именно тогда, на волне ужаса и усталости, он написал, прочувствовав всю фразу, «БУДЕТ ХЛЕБ — БУДЕТ И ПЕСНЯ». С этим идиотским тире посредине.

Потом она уволилась. А он травился.

Его лечили в психушке, подавляли снотворным. Его соседом по палате был пожилой армянин, тоже попал сюда «по любви». Да все тут были с одним диагнозом — депрессия в результате безответной. Оказалось, любовь тяжкая болезнь, правда, редкая. Очень мрачная болезнь.

Дурак, говорил себе Иван Евгеньевич, пусть бы так все и тянулось, нечего было вздрючивать. Он снова говорил за нее и за себя, снова убедительно и весомо, легко бил все ее «нет», и она в конце сдавалась. И так вертелся в самом низу воронки, пока не устал.

Домой Иван Евгеньевич вернулся легким и пустым. Было такое отрезанное состояние, что он все время проверял — я живу? я смотрю? я слышу? Правда, без особой пытливости. Или вот еще — весь день напевал какую-то одну мелодию, а проснувшись, снова начинал ее напевать. И еще чего бы хорошего, а то ведь примитивное что-то, рвотное.

На работу он больше не ходил. Зачем работать мертвецу?

В дверь позвонили — звонкий звонок, подумал Иван Евгеньевич, радуясь тому, что рука не вздрогнула и не попортила работу. Он только пригнулся, посмотрел на дверь и стал ждать. Позвонили еще раз. Иван Евгеньевич подумал, что давно бы пора отрезать от стены этот звонок — никогда-то не пользовался, а теперь и подавно. Какое право имеет эта электрическая механика влезать в его дом, удлиняя и озвучивая чей-то палец. Больше не звонили, но руки все равно стали кисельные, пришлось отпустить работу. Он заместил досаду любопытством, подошел к окну — кто приходил?

На дворе были люди с лопатами, смеялись, кричали, двигались. Именно не

разговаривали, а кричали и двигались резко, бессмысленно, только в энтузиазме. В кадр окна влез задом зеленый грузовик, откинул борта, и на землю стали падать лиловые саженьцы. Они будут озеленять, подумал Иван Евгеньевич. Они будут сажать веточки и меня хотели позвать к своему веселому делу. Они добрые люди, подумал он, стыдно будет, если они увидят меня. И он сел на пол, как садятся, чтобы влетающие в окно пули не ранили и не убили.

Надо было снова ждать, и Иван Евгеньевич придвинул к себе стопку новых книг, кропотливо развязал бечевку, смотал ее на два пальца, закрепил аккуратной восьмеркой и положил на стеллаж.

Книги Иван Евгеньевич просматривал, пуская страницы вдогонку друг другу, прижимая их большим пальцем. Он хотел поначалу общего впечатления. Мелькали иллюстрации и текст, такая белая волна с цветными пятнами. Если впечатление получалось хорошее, он откладывал книгу вправо, если не получалось хорошее — влево. Прогнав так всю стопку, он брал книгу справа и смотрел ее подробнее, хотя и довольно быстро. Вообще-то он искал в книгах собственные мысли, чужих мыслей его старость уже не вмещала, она и свои-то теряла не по дням — по часам.

Из отложенных вправо его притянула «Фрески эпохи Когусё», плохо изданная народно-корейская книга с картинками в размазанных цветах. (В самом деле — Когурё, но то ли опечатка, то ли корейцам произносимее звук с-с-с вместо р-р-р. И в самом деле — стало добрее.) Что это за эпоха и кто такой Когусё, Иван Евгеньевич не знал. Это его не касалось, но вот картинки из этой книги были до смешного велики, и все они были про Ивана Евгеньевича.

Они писались когда-то на белом, теперь серовато-желтом фоне. Безо всякой композиционной задумчивости, как рисуют дети — много-много всего в одном углу и ничего в другом. Были там иероглифы-резюме, и только они Ивана Евгеньевича раздражали. Не потому, что он их не понимал, а потому, что навсегда понял — слова наливаются в жизнь по какой-то путанице, как в корвалоловую склянку наливают яд. А вот сами рисунки...

На этих рисунках не присутствовали люди. Люди отсутствовали. Вернее так, люди только что ушли. От них, ушедших, и оставались те свободные поля. Человек здесь только что стоял или сидел, а вот взял зачем-то и ушел. Отлучился.

Иван Евгеньевич громко вдруг выдохнул. Вот как один к одному, вот как сошлось. А он сразу и понял — это не случай, это так его ведет, это уже сегодня два раза его повернуло и открыло — не зря ему эти фрески стали приятны, так они были к нему и именно сейчас.

А были это простые предметы, которые и сами по себе симпатичны, но художник еще отдавал скамейкам-тарелкам живые, людские ручки-ножки, глазки, носы и даже некоторые неприличные части тела. И вот же, вот куда привело — как только отходит человек, из предметов проявляется живое. Эта мысль Ивана Евгеньевича давно развлекала. Он даже иногда неожиданно поворачивался, чтобы застать предметы врасплох. И что-то такое видел или ему казалось, или просто очень уж хотел, а получалось, что видел — все едино.

Но вот он перевернул страницу и ахнул как-то чисто по-дамски: ладно там домашние предметы, все же к ним прикасается человек, что-то от него переходило к ним, но на этой картинке были уже капли дождя. Падало много-много капель, и у каждой лицо и тоненькие ручки. Куда уж неживее — дождь, вообще неизвестно откуда берется и куда пропадает, а нате вам — глазки и ручки! Иван Евгеньевич тихонько-уверенно-счастливо засмеялся, склоняясь к картинке, и очень напоминал сейчас

своего соседа армянина в психушке, тот так же радостно хихикал, когда удавалось собрать одну сторону кубика Рубика.

Кстати, об этом кубике. В нем собрать можно одну, две, три, четыре и шесть сторон. Только пять нельзя — такая заковыка.

Иван Евгеньевич понял сейчас, что приближается к становой мысли, что сейчас соберет именно пять сторон. И даже, ух, может быть, это будет смысл его собственной жизни. Он медленно закрыл книгу и затаился, чтобы напасть на мысль из-за угла. Но она сама напала на него раньше и получилось — неожиданно. Испугала.

С первого взгляда так, нахрапом, банальность и плоскота. Но была запятая, какой-то сбой, сюрпризик, который пускал вдруг по старому телу Ивана Евгеньевича мурашки ужаса и счастья. А мысль эта была такой: уходя, включите свет.

Макетчиком Иван Евгеньевич стал из вялого тщеславия. После лечения он сидел-сидел и надумал — если уж я могу буквы и даже слова, то, наверно, смогу и вещи. Под окном часто ставили мотоцикл «Иж-Юпитер», вот Иван Евгеньевич и решился. Начал скромно. Весь, уменьшенный в десять раз, мотоцикл он смастерил из дерева, бумаги и проволоки, только две детали создал, с проникновением — заглушку на бензобак и фару. Надо сказать, что десятикратное уменьшение поначалу было выбрано только для легкости подсчетов, а оказалось потом глубоко важным и философским даже. Так вот — заглушка и рефлектор. Проще простого — взять латунь, вырезать кружочки, отникелировать — готово. Но Иван Евгеньевич постановил сделать ровно в десять раз меньше, так сказать, во всех смыслах. А это значит, что на заглушке, скажем, винтовая резьба, миллиметровый изгиб и даже боковой спил уже тягнутся с подкованной блохой. Но тут только начало — это же и латунь тоже должна быть в десять раз мягче, легче, и никель — все-все в десять раз. Ага! Вот тут-то и начинаются самые тупички, но и самый интерес для настоящего художника.

Иван Евгеньевич пошел прямо — засел за учебники по металловедению, чего-то жег, искрил, плавил — сделал. Правда, латунь была зеленой, а никель желтоват. Но это было точно в десять раз.

История вышла знакомая — мотоцикл был плох. Он разваливался, распадался, как та первая табличка с проживанием. Все деревянное и бумажное, хотя и сделано было с величайшим тщанием, казалось грубым и посторонним, но посторонними были как раз эти две блестящие детальки. Иван Евгеньевич же был доволен. И часто вглядывался в свое отражение на блестящей заглушке. И что-то ему там открылось такое, что он сразу взялся за этот дом, квартиру, комнату. Нет, он, конечно, справлял и рутинную работу, разные там заводы и микрорайоны, ракеты и трактора, но главной было — жилье. И тоже решил, что все-все здесь будет не просто маленьким, а из мира, который в десять раз меньше.

Там дальше пришел и счастливый смысл десятки. Ведь пальцев было именно столько. И на руках — десять, и на ногах — десять. Может быть, где-то тут крылся смысл живого. Ведь даже число, любое, поделенное на десять, не пропадало, не разваливалось, а оставалось прежним, только меньшим. А раз живое может быть замешано на десятке, то и другое живое должно быть во столько же раз меньше. Впрочем, сегодня после книжки он понял, что эта математика хороша, но недостаточна. И этим самым впервые признался самому себе, что сотворить хочет именно — живое.

Иван Евгеньевич после мотоцикла закопался в чужих знаниях, и его интерес был огромен ноосферно. Создать всё в десять раз менее твердое, легкое, тепло-электро-проводимое, горячее, долговечное, прочное — надо же было напрячься. Начал он с

дерева. Соорудил парничок, электрифицировал его и посадил бук, маленькие семена, и устроил для этих семян в десять раз быстреею жизнь. За месяц в парнике проходили и лето, и осень, и зима, и весна. Умерло все. Сразу и конец.

Иван Евгеньевич обиженно разозлился на консервативную природу, которая тупо стояла на самом начале его бега. Бросил. Но, как та рвотная мелодия, это привязалось, на переходе ко сну он пересчитывал, перебирал, перекладывал и просыпался с зеленым еще от счастливого сна решением, но тут же и понимал — мнимо. А потом просто перетер еще и землю, ослабил лампочку и тепло. Многие семена не выдержали, но те, что остались — приспособились. И через двадцать месяцев вылезли деревца — карликовые, с малюсенькими фиолетовыми листьями, вовсе даже на бук не похожие. Тогда Иван Евгеньевич на это не обратил внимания, как и с зеленой латуны. Радовался своему перепрыгу. И сразу стал делать мебель. Глину для фарфора, — а он сам лепил и обжигал фарфор, — измельчал до невозможности. Труднее пошло с тканью. Тонкая, она никак не ткалась, не выдерживала грубости станка. Пришлось мастерить и сам станок, и искать волокно паутинное. Клей он готовил из косточек мышей, новорожденных, еще розовых. Они, эти косточки, были в меру тонки, клей получался в меру вязок. Именно в ту самую меру.

Но когда первые материалы были готовы и даже Иван Евгеньевич что-то начал складывать, копируя большой мир, пошла такая раскоряка: все ломалось, рвалось, валилось, билось и горело ясным пламенем. Не помогали тонкие инструменты, бездыханная осторожность работы, не помогало ничего, даже любовь, даже ненависть.

Помогло только отчаяние. И в этом темном духе Иван Евгеньевич набрел, что и в форме предметов должна быть своя логика — вспомнился странный бук и желтый никель, — своя логика, другая, а неудачи его — только указатель на правильный, верный путь. И логика эта была не в нашей жизни, а... (пауза) в жизни тех, кто будет, ну, как бы, представим, помечтаем-пофантазируем, станет жить в этой комнате.

Иван Евгеньевич в первый раз оперно хохотал над этой мыслью. И во второй, и в девятый... А потом назвал их десюнчиками. В этой паточной ласкательности было два смысла — броня самонасмешки и привкус чужого невкусного обеда. И конечно, невкус был важнее, там и была лазейка. Ведь тут и себя надо было перетереть в десять раз. И любовно смириться с чужим. И тут, как просыпалось. Он их попробовал представить и — представил. Иван Евгеньевич даже привлек к себе так называемый духовный мир десюнчиков. Странно помогло ему в этом прежнее дело. Его теперь радовала каждая догадка про них, даже самая пустяшная (он не придумывал, а именно угадывал), и уже работал для них, адресно. И все стало клеиться, строиться, собираться, сбиваться.

Но до сегодняшнего дня все это была веселая, лукавая игра, а сейчас, разглядывая фрески эпохи Когусё, эти живые капельки, он и пришел, пришел (был приведен?) к тому, что — сегодня.

На улице громынуло и потемнело. Потом полил дождь, и люди разбежались по квартирам. Иван Евгеньевич посмотрел в окно, когда во дворе никого не осталось. Горел костер, хлестала вода, но костер не гас. Саженьцы уже торчали из земли в каком-то продуманном порядке, подтверждая линейку улицы. А куст, похожий на туманный взрыв, снесли, и теперь он горел на костре, сжимая в последней надежде свои упакованные в пух листочки. Недоброшенная в костер, парилась от жары картонная коробка. Какая-то это была знакомая коробка, за что-то в памяти она цеплялась и даже тревожила Ивана Евгеньевича, поэтому он отвел от нее свой взгляд.

Был еще у Ивана Евгеньевича телефон. Когда-то давно этот аппарат его мучил, потому что не звонил. Иван Евгеньевич, бывало, ждет звонка, а звонка нет. Он поднимал трубку — работает, гудит, а не звонит, хотя давно должны были. Он, конечно, мог позвонить и сам, но с телефоном сложились отношения и, позвонив, Иван Евгеньевич замельчал бы. А хотелось быть нужным, хотелось, чтобы звонили, чтобы его номер отыскивали в записной книжке, чтобы этот номер обводили жирным кружком как важный. Или даже — он так мечтал — помнили наизусть. Чтобы шло автоматически: Иван Евгеньевич — 7-12-33.

Но все-таки он был торопыга, Иван Евгеньевич, он чаще все-таки звонил сам. О, только собирались тебе звонить, ты куда пропал?.. Словом, телефон его извел, поэтому, когда прибавилась семерка, он не стал никого оповещать. Он обиженно затаился, и телефон перестал звонить вообще. Нет, было иногда, но по ошибке. А как от этих ошибок бросалось сердце — кто-то разыскал, кому-то нужен!.. Нет, никому-то ты, Иван Евгеньевич, не нужен, никто тебя не ищет, говорил он себе с мудрой, все понимающей и даже всех прощающей улыбкой. Потом привык. Не сразу, по утрам еще бывало плоховато, но постепенно, потихоньку, полегоньку.

И вот сейчас, когда Иван Евгеньевич пустил свои руки летать над макетом и коротко клевать хрупкие вещи мира десюнчиков, телефон зазвонил. Иван Евгеньевич даже не сразу сообразил, что это телефон. Поднял трубку, и ему сказали:

— Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я хотел у вас попросить прощения за то, что один раз ударил вашу собаку.

— Здравствуйте, — сказал Иван Евгеньевич. — Что?

— Я один раз ударил вашу собаку...

— Вы ошиблись номером.

Положил трубку и подумал, что сегодня, как в плохой пьесе, вокруг него сгущаются всякие посторонние события и ошибки и страшно хотят его развлечь. Впрочем, это мелькнуло краем, и он не ответил, почему и зачем.

А перерубленная звонком мысль шла так: когда человек отворачивается или уходит — вещи живут сами по себе, у них там какое-то шевеление, нетерпение, может быть, ожидание. И тогда приходит человек. Если есть вещи, обязательно появится и человек. Нет, не хозяин. Просто вещей так много, что уже они сами могут же кого-то дожидаться-создать. Вот до этого момента все придумалось давно. И тоже было сначала смехотворным, но горячо дало Ивану Евгеньевичу под дых и качнуло глаза. Для проверки, он долго над мыслью измывался, но чем сильнее старался найти в ней изъяны, тем больше открывал всяких прелестей, всяких зазывных моментов, холодных, дальних, манящих дорог и, ну ладно, сознаемся — славы. И тогда он эту мысль полюбил, женился на ней, как женятся на хохотушке, привык, никогда ей не изменял и начал делать для нее вот эту комнату, ну, пусть опять посмеется... Опять зазвонил телефон. Иван Евгеньевич даже развеселился и поднял трубку, и услышал на этот раз старушечий голос, который спросил:

— Добрый день. Ивана Евгеньевича можно?

— Ивана Евгеньевича? — спросил Иван Евгеньевич, и только подумав и сообразив, что Иван Евгеньевич — это именно он, ответил странно: — Минутку.

Ничего, впрочем, странного. В самый момент звонка руки и мысль Ивана Евгеньевича направлялись к какому-то месту в квартире десюнчиков. А звонок сбил. А место было глубинно-важное, смысловое было место. И теперь надо было вернуть — какое? Поэтому он отложил трубку, обернулся к столу и стал вспоминать. Инструменты уже лежали на своих вечных местах — он клал их в гнезда

механически — и ничего подсказать не могли. А Иван Евгеньевич только помнил, что место было важное, в самом приближении было место.

— Да, слушаю, — сказал он в трубку, раздраженный беспамятством.

— Не узнаете? — спросила старуха.

Иван Евгеньевич узнал. Он потому и не смог вспомнить, что сразу узнал. Он спросил глупо:

— Ты откуда звонишь?

— Я рядом, — сказала она. Она так раньше никогда не говорила, хотя он всегда так по-дурачки спрашивал. Голос у нее очень постарел — сколько лет прошло в прошлое. Но это была она. Она! Иван Евгеньевич так и кричал внутри себя. Кричал, а не кричалось. Никакого эха не было. Радость была, но совсем от другого. Было предчувствие чуда, была спокойная уверенность, что вот оно, что приблизился в притиск.

— Я приеду, если хочешь, — сказала она осторожно. — Или ты все еще обижаешься?

Вот здесь, сейчас он мог применить любой из придуманных диалогов — мягкий, жесткий, мечтательный, слезливый, простой, добрый. Но он стал говорить неизвестным ему тоном и голосом, бодряческим каким-то, совершенно, впрочем, не фальшивым:

— А который час? Девять? Мгм... Так-так-так, дай-ка я соображу... Ну подъезжай. Ты знаешь, куда?

— Буду через минут двадцать.

Ту-у-у-у...

У Ивана Евгеньевича свело сердце. На короткую секунду, но куда-то вниз, к неприятности. Но он вернулся к столу и сразу вспомнил, где остановился, куда сейчас пойдет работа. Это связалось — короткая боль и короткий путь к концу дела.

Улица доживала. Под парниковым ее навесом сошлись трамваи и один за другим, встык покатались бесшумно в темноту. Кто-то шептался у почтовых ящиков, а потом заныла пружинной и бухнула дверь подъезда, за ней вторая, но уже громче, как отрубило. Еще подребезжал лифт, но и он умер на верхних этажах.

Иван Евгеньевич собрал в бумажный кулек пыль со стеллажей, ссыпал ее в некое подобие кофемолки и включил тихий мотор. Он мельчил огромную нашу пыль. Он делал ее в десять раз меньше. Но это была еще не сама цель, а только последние штришки перед окончательной подписью. Внутри себя Иван Евгеньевич смотрел на часы. С момента звонка отпало десять минут. Ровно десять. Нет, это замечательная цифирка, словно приглашающая к веселому бегу — обруч и палочка, как парочка, Карась и Одарочка, день и ночь, мать и дочка, чка, чка, чка...

Мотор пел тонко, все завывая голосок, все поднимаясь и поднимаясь, как кишки, печенка-селезенка и что там еще внутри Ивана Евгеньевича, что тоже разом вошло в резонанс с моторчиком, сжалось и поднималось своей вибрацией все выше и выше. Иван Евгеньевич выключил моторчик. Дал пыли разэлектризоваться, сам при этом дрожа электрически, ссыпал пыль теперь уже из кофемолки в кулек. Она должна была вот-вот прийти, вот-вот ввинтится в высковольность квартиры голый звук звонка. Иван Евгеньевич не выдержал ожидания и сцепил старческие свои зубы. Он достал всерок, медленно развернул кулек с микроскопической пылью и стал плавно развеивать его по комнате, но вдруг все бросил, кинулся к выключателю и погасил свет. И сел в кресло. И сказал шепотом что-то такое уж безысходное, что и повторять не хочется.

Потом она звонила, потом звала, потом она ушла.

Иван Евгеньевич странно улыбался в темноте, ерзал в кресле, порывался даже встать и открыть, но не встал и не открыл. Только уже когда она ушла, вздохнул-выдохнул и расцепил зубы. Что-то мешало ему сидеть. Какое-то было неудобство. Он пошарил за спиной и долго вытягивал к себе помеху... Это был поводок, кусок засохшей кожи с железными кольцами. Иван Евгеньевич даже не спросил себя — откуда здесь такие вещи? Он только заранее знал — ему это нужно не было — и выбросил поводок в мусорное ведро. Свет не включал — а вдруг она не ушла, вдруг стоит. Не было никакого злорадства, никакого удовлетворения мстительности, была невозможная совершенно усталость и густое раздражение, как бывает от непонимания другими наших привязанностей и отвязанностей. Такое, знаете, настойчивое непонимание, назойливое непонимание, непонимание как таковое...

А она и в самом деле не ушла. Стояла прямо на сгоревшем костре, но не замечала этого. В темноте светились ее икры. За ней на универсальном магазине зажглись ядовитые буквы и оказалось, что это «ВЕРСАЛЬ ИН». Она увидела, как Иван Евгеньевич включил наконец свет.

У нее была истина, которая вела ее по жизни и ни разу не обманула — никогда ничего не бывает поздно. Надо только не рвать концы с кровью, оставить их, положить на землю, а потом, если понадобится, снова поднять. Снова взять никогда не поздно. Жизнь кругами, все вернется, только не рвать с мясом и кровью.

И вот она стояла и ждала и смотрела в окно. Конечно, она знала, что у Ивана Евгеньевича никого нет. Так еще интереснее, почему же он не открыл? Что он там делает в своем квадрате? Она подошла поближе и поднялась на цыпочки.

Сначала ей показалось, что Иван Евгеньевич пишет плакат, такое у него было лицо. Она знала это лицо, проживающее мучительно каждую букву и слово, но тут все было резче и больнее. Ивана Евгеньевича дергало и крутило, он проживал такую муку, не буквы, не слова и даже не фразы, муку и муку, которая может называться только — жизнь.

Она влезла на приступку, она уже не боялась, что он ее увидит. Она была старая и боялась только смерти, да и то только потому, что не знала ее, не знала, можно ли там что-то вернуть, или это одно, где бывает поздно. Надеялась, что и там можно поднять, но все равно боялась.

А Иван Евгеньевич просто испугался. Поэтому и проживал сейчас все предметы маленькой комнаты, хотя знал, что это только так — лачок, притычка, дерганье за логическую ниточку — вроде должно тронуться, — а уже догадываешься, уже знаешь, что тянуть надо совсем другое, бессмысленное, нелогичное, страшное. Вот он и испугался, вот взялся за привычно-успокаивающее, брал эти маленькие предметы и обживал внутри себя: стол отдельно — деревянной мукой, чашки, блюда отдельно — фарфоровой, подушки — пуховой и шелковой (что-то касанием правил в этих предметах), остальную мебель, свечи, двери, стены, люстру и паркет — стеклянной, восковой, каменной, железной мукой. И да, предметы уютно старились, свыкались и могли уже принять. Но — никто не шел. И тогда надо было закончить мысль до конца, а вернее, начать ее с начала. А мысль эта — вы помните — уходя, включите свет. И опять Иван Евгеньевич испугался. Но уже не так сильно, а с привкусом удивления — мне уйти? И бесконечная простота внутри сердца согласилась и покрыла испуг мысли и оставила только вопрос ожидания.

Боже, думала она, а где же, Господи, р-р-радость твор-р-рчества? Где же минуты ис-с-стинного вдохнове-ения? Зачем люди мучаются? В какую пустоту и какие сокровища они выбрасывают своей мукой? Зачем курят они мертвое зелье и пьют ядовитое вино? Зачем не спят ночами и плачут в плечо своим жестоким возлюбленным? Зачем стыдятся сделанного? Зачем всё вообще, если нет за это вознаграды? Никакой! Что за бес или ангел их ведет? Кто дергает у них в голове мокрые волоконца, кто это? Не может же сам человек обрекаться на такое! Ведь вот он сидит и смотрит зарезанным взглядом на свое дело, а счастья нет. И возможно, будет война. И дети плачут, и подростки злятся, и юноши взрезают себе вены, и женщины красят лицо, а мужчины падают под колеса грузовиков, а старухи дерутся до крови в сумеречный час отхода ко сну. Зачем?

Она была глупа, поэтому задавала такие вопросы. Но она же видела муку Ивана Евгеньевича, которого со вчерашнего дня считала своим. А своему она такого не желала.

Потом с полки упала книга. Она упала медленно. Она летела и летела на пол. Можно было даже успеть прочитать — «Фрески эпохи Когусё».

Она отвлеклась на эту книгу, увидела в ней смешные картинки без людей, поэтому не успела заметить, когда Иван Евгеньевич умер.

А он умер и только силой тяжести держался за столом. Пустые глаза смотрели на комнату и все равно еще чего-то ждали.

Иван Евгеньевич умер и думал, вот я умер, и ничего не случилось. Никто ко мне не идет и не спрашивает, что я сделал такого, чтобы меня причислять или проклинать. Нет ни верха, ни низа, ни света, ни тьмы. И я никуда не иду и никого не вижу. Только стол, комнату на нем, старика, глядящего на эту комнату, и какую-то женщину за окном с белыми глазами. У нее зеленый венец.

Когда-то мне представилась картина, что я построил на нашей посторонней улице огромные очки, чтобы в эти очки входили люди и машины. А теперь они выходят из моих глаз и растаскивают мою жизнь, теперь я не один такой себе Иван Евгеньевич, теперь я многие.

Пожухла и пропала голубая крыша.

Я отворил дверь и вошел в комнату. Моя комната просторная, чистая, светлая. Чистота — залог здоровья. Сейчас придут мои друзья, и у нас будет дружеская беседа, тихая, душевная, умная.

А вот и я пришла. Здравствуй, дорогой муж. Крепкая семья — ячейка государства.

Я улыбаюсь навстречу ей.

Я улыбаюсь ему. Я сажусь к столу, и он наливает мне чай. Он добрый, сильный и справедливый.

Я наливаю ей чай, она красивая, нежная, добрая.

Я пришел со своей супругой, я хочу поговорить по душам. Здравствуйте, дорогие друзья.

Наш друг пришел со своей женой, мы будем угощать их чаем. Угощайтесь, вот чай, сахар, печенье. И давайте вести тихую душевную беседу.

Как у вас красиво, какая просторная, чистая, светлая комната. И вы оба тоже красивые, добрые, надежные. В человеке все должно быть прекрасно.

Да, да, я согласен.

У тебя замечательные друзья, щедрые, мудрые, справедливые, я знала, что у тебя должны быть такие верные друзья.

Какая у вас замечательная мебель, удобная, уютная, красивая. У нас будет еще лучше.

Да, я согласна, у нас будет еще лучше. Человек рожден для счастья, как птица для полета.

Очень вкусный час, крепкий, ароматный, душистый.

Замечательный чай.

Чай просто великолепный. Чай — бодрящий напиток.

А какая чудная посуда, тонкая, изящная, элегантная.

Элегантная, да, можно так тоже сказать.

Какие чашечки, какие ложечки, блюдечки, -чки, -чки...

Вы любите смотреть на небо?

А ты любишь смотреть на небо?

Я люблю смотреть на небо. Это романтично — смотреть на небо.

И мы любим. Какая большая луна. Луна — спутница влюбленных.

Далекая луна.

Холодная луна.

А я еще хочу сказать, если позволите, конечно, — мертвая луна.

.....

Да, можно так тоже сказать.

Конечно, мертвая. Чуть-чуть похожа на голову.

Да, на мертвую, холодную голову.

Именно мертвую, холодную, далекую.

Я не люблю смотреть на небо.

И я не люблю.

Мы не будем больше смотреть на небо.

Я никогда не смотрю на небо.

Там ничего нет.

И ничего не может быть. Знания — сила.

Если что-то и было...

То теперь умерло.

Да.

Конечно.

Я тоже согласна.

Главное, что мы вместе.

Да.

Конечно.

Я тоже согласен.

А это самое главное. В дружбе — наша сила.

Я тебя люблю.

А я вас люблю.

Мы любим друг друга. Дорогой, выключи свет.

А Бог умер!

Ивана Евгеньевича нашли через неделю. Пришли милиционеры в натруженных кителях и сломали дверь. У него было съедено лицо. Сначала подумали, что это крысы, но потом кто-то вспомнил, что у мертвого была собака, наверное, она проголодалась, бедная. Но собаку не нашли, поэтому и говорили потом разные глупости, дескать, Иван Евгеньевич съел себя сам.

Люди трогали маленькие предметы на столе, и многим было страшно, словно они прикасаются к живому Ивану Евгеньевичу, который сидит внутри и управляет молекулами дерева, фарфора, хрусталя, камня...

Хотели сообщить детям, но не нашли.

Илья Оганджанов

Беспроеигрышная лотерея

Рассказ

I

Солнце еще не взошло, и в воздухе разлит серый призрачный свет. Спросонья не сразу и поймешь: вечерние или предзвездные сумерки. В бывшем красном уголке, где днем отдыхают слесари и механики, стоит тяжелый спертый запах — смесь табачного дыма, перегара и мужского пота. На низких жестких топчанах ворочаются и сопят Рома и Жорка. Передо мной на старом советском конторском столе с тремя выдвижными ящиками и тумбой — словно туманное пятно — раскрытая на чистой странице кожаная тетрадь в клеточку. Стол покрыт исцарапанным оргстеклом. Под стеклом лежат счастливые автобусные билеты, клочки бумаги, исписанные корявым нетвердым почерком управляющего автосервисом — имена и телефоны клиентов, и где-то раздобытый Жоркой календарь с полуголой блондинкой, страстно прижимающей к упругой загорелой груди серебристый стартер. На углу пристроились три недопитые пивные бутылки, полная скрюченных окурков пепельница, ловко сработанная из крышки карбюратора, и общепитовская тарелка с прямоугольником ржаного хлеба, напоминающим грязную губку, с бледно-розовыми обветренными по краям полумесяцами докторской колбасы и ломтиками российского сыра в мелкую дырочку, будто пробитыми компостером. Засиделись вчера позже обычного, я и не заметил, как задремал за столом, подперев кулаком щеку.

Спасибо Роме, не то пришлось бы ночевать на улице...

Когда Жорку с треском выгнали из общаги «за систематическое злостное нарушение внутреннего распорядка», мы не нашли ничего лучшего, как заявиться сюда. Я, правда, поехал больше за компанию. Накануне опять повздорил с матерью и в сердцах так хлопнул дверью, что посыпалась штукатурка.

Добирались долго. Сначала на метро, в самый час пик. Проскочили турникет по одному жетону. Втиснулись в переполненный душный вагон и протолкались в середину. Спрессованная бесформенная людская масса покорно тряслась в такт движению поезда. Не знаю, как Жорка, а я чувствовал себя чужим среди этих погруженных в тягостное молчание людей. Было неловко за свою праздность и глупые мечтания о какой-то иной жизни.

Оганджанов Илья Александрович родился в 1971 г. в Москве. Закончил Международный славянский университет, Литературный институт им.А.М.Горького, Московский государственный лингвистический университет. Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Урал», «Сибирские огни» и др.

От Текстильщиков ехали на автобусе, на заднем тряском сиденье, обтянутом засаленным, протертым до поролона, вонючим дерматином. И глядя в запыленное окно с засохшими дождевыми разводами, не верилось, что эти Коммунистические проезды и аллеи 25 Октября, застроенные бесконечными хрущевками, приведут нас к беспечальному светлому будущему.

Мы вышли на конечной и потащились по узкой, плотно утоптанной тропинке вдоль глухого бетонного забора бывшей промзоны. Тропинка была густо усеяна окурками, точно стреляными гильзами, пивными пробками, похожими на короны поверженных лилипутских царьков, и смятыми пакетами от чипсов. Пакеты мертвенно шуршали на освежающем вечернем ветру.

У запертых железных ворот нас обляяла стая бездомных дворняг. Их остервенелые хриплые голоса звучали дико, первобытно. Собаки скалились, но напасть не решались. Возможно, их отпугивала высокая, худая, словно крепкая жердь, фигура Жорки.

Мы забарабанили кулаками в ворота, и металлический грохот заставил собак отступить. Щелкнул засов, заскрипели петли, и к нам вышел тучный брюхатый вахтер. Рябая одутловатая ряха лоснилась, как намащенный блин, и по распухшему малиновому носу и оплывшим щекам кирпичного цвета разбегались иссиня-лиловые змейки лопнувших кровеносных сосудов. Зычным окриком он шуганул собак.

Жорка путано, сбивчиво объяснял, куда нам надо попасть. Выслушав, вахтер неохотно попятился, освобождая проход, и вяло махнул в неопределенном направлении, просипев низким утробным голосом: «Туда».

Разбитая асфальтовая дорога с торчащим посередине куском арматуры вела к настежь распахнутым воротам пустого ангара. Рядом стоял погрузочный кран. Его увесистый крюк на длинном тросе угрожающе застыл в вышине над покореженной узкоколейкой. Поодаль громоздилась кроваво-бурая груда металлолома. За ней шли какие-то цеха, безмолвные, с шеренгами замерших станков, затянутых серым сукном пыли и паутиной.

Несколько цехов было переоборудовано под пошивочные мастерские, склады, шиномонтаж и автосервис.

К этому автосервису Рома прибилсь с первого курса. Поставлял богатеньких клиентов, пригонял на разборку дешевые машины, мог достать любую деталь и вообще что угодно. А завалив сессию, обосновался тут капитально. Шмотки кое-какие перевез. Домой лишний раз ходить было рискованно — могли нагряться с повесткой из военкомата. Управляющий не возражал: «Ночуй, заодно и посторожишь», — и делал вид, будто не замечает появления во дворе сомнительных иномарок. Рома перебивал на них номера и продавал в регионы. Ему постоянно нужны были деньги — на лекарства и на сиделку для парализованной матери. Он принялся играть — то ли в покер, то ли в двадцать одно — с какими-то авторитетными людьми. И поначалу все шло как по маслу, пока он не спустил крупную сумму и не влез в долги.

Отдавать было нечем, а не отдать нельзя. К нему наведывались двое крепких, коротко стриженных парней в тренировочных костюмах. Они пощелкивали деревянными четками и смачно чавкали жвачкой: «Сроку тебе — неделя. Потом пеняй на себя... Наш тебе совет: не телись, отправляй мать в богадельню и продавай хату».

О Роминой беде в сервисе прослышали быстро: да ты-то сам как поступил бы все равно жалко парня может бошки им поотрывать как бы тебе чего не оторвали тимуровец хренов это ж отпетые отморозки легко вам рассуждать холостым балаболам а когда жена дети. Сговорились скинуться, кто сколько может. Присоединились и мы.

— Не повезло Ромычу, — протянул Жорка, вынимая из кармана потертых ливайсов свернутые трубочкой купюры. И сочувственно улыбнулся своей белозубой обезоруживающей улыбкой: — Судьба-злодейка.

Чтобы Рома из гордости не отказался, Василь Петрович, электрик, по-отечески опекавший его, затеял дурацкий турнир: «Кто попадет ножиком с десяти шагов десять раз кряду вон в тот тополь у ворот — получит солидную прибавку к жалованью», — гремел под сводами мастерской старческий прокуренный голос, будто консервная банка, привязанная к хвосту обезумевшего облезлого кота. Этих денег, конечно, не могло хватить, но хоть что-то... А ножи Рома бросал отменно, это все знали.

Хищно осклабясь, он тщательно выцеливал, замахивался, плавно отводя за ухо согнутую в локте рыхлую руку, и метал складной ножик. Лезвие втыкалось глубоко, с мягким стуком, оставляя на палевой коре темные узкие сочащиеся ранки, и рукоятка, в которой виднелись спиралька штопора и горбик открывалки, дрожала, неприятно дребезжа. Я всякий раз невольно съеживался.

— Где так наловчился?

— Да нашлись учителя... И потом мужик должен все уметь в жизни, вдруг пригодится. Это везунчику Жорке можно ни о чем не беспокоиться. Предки упакованы. По заграникам мотаются. С детства тряслись над ним, пылинки сдували. В институт запихнули, квартиру обещали купить и место теплое подыщут. Только диплом получи. А он, вишь ли, самоутверждается. Работу нашел! Но и тут шоколадно устроился: час по мастерской с кофеем поваландается, лясы со слесарями поточит и пойдет хозяина своего облапошивать. И нос еще воротит, когда я у толстосума какого-нибудь новую детальку махну на бэушную. Чистоплюй хренов! Тут крутишься день и ночь, как белка в колесе...

И с остервенением бросал нож. И его тень, будто вычерченная углем на припекающем июньском солнце, вздрагивала, как от порыва ветра.

Работал Жорка возле вещевого рынка в спорткомплексе ЦСКА. Продавал жареные сосиски. По две штуки порция, на картонной тарелке. Плюс кусок отсыревшего ржаного хлеба, красная лужица кетчупа и пластмассовая вилка в придачу.

Заявлялся к двенадцати — продавцы и покупатели как раз успевали проголодаться. Доставал из старенького отцовского дипломата купленные по дороге два кило сосисок: «Ровно двадцать две штуки, всего-то одиннадцать порций, никто и не заметит, а от Мамеда не убудет», — и воровато подсовывал их в холодильник, к хозяйским. Затем не торопясь надевал замызганный халат с высоко закатанными рукавами, включал гриль и с детским любопытством наблюдал, как вращаются и, нагреваясь, скворчат замасленные стальные цилиндры жаровни. И наконец открывал окно палатки.

Особого барыша уловка с сосисками не приносила. Да и деньги у Жорки водились — родители давали на карманные расходы. Просто спортивный интерес.

Этого Мамеда, хозяина сосисочной, я видел пару раз. Я тогда подвизался продавать лотерейные билеты на цеэсковском рынке. Бубнил в громкоговоритель заученную на инструктаже фразу: «Американская беспроигрышная лотерея, не проходите мимо, и удача вам улыбнется». И как-то в обед заглянул к Жорке — перекусить.

На раскаленной асфальтовой площадке, прямо перед парковкой, у высоких стоячих столиков жались челноки. Опершись локтями о круглые липкие столешницы, они сосредоточенно обмакивали горячие сосиски в кетчуп, торопливо шумно жевали и жадными глотками тянули из горла теплое пиво. И на их красных от загара, крепких шеях страшно двигались каменные кадыки.

Жорка выдал мне двойную порцию.

— На-ка, подкрепись, продавец счастья. Фирма угощает!

Я едва успел пристроиться со своей тарелкой между упитанным нечесаным бородачом в тельняшке, напоминавшим заблудившегося в городе походника, и лысоватым очкариком, таким вундеркиндом-неудачником, в наглухо, до подбород-

ка, застегнутой клетчатой безрукавке, как на стоянку въехал белоснежный «мерседес» с тонированными стеклами.

Из машины вышел коренастый рослый джигит. Нос свернут, уши расплющены в лепешку, как у борцов-вольников. Он смерил взглядом челноков и услужливо открыл заднюю дверь. Оттуда высунулись короткие толстые ноги в лакированных остроносых ботинках, следом выкатился студенистый живот с прилипшей к нему гавайской рубашкой и заколыхался между полами малинового двубортного пиджака. В довершение появилась загорелая лысина и весело заблестела на солнце.

С Жоркой они говорили недолго. Мамед размашисто жестикулировал, поигрывая массивным браслетом на запястье, похлопывал Жорку по спине пухлой пятерней с перстнем-печаткой на безымянном пальце, раскатисто смеялся, разевая рот и обнажая два ряда крупных золотых коронок. Жорка понимающе кивал, чуть скривив свои капризные женственные губы.

Их свел Рома. Одно время Мамед тоже промышлял «левыми тачками», но быстро «поднялся» и ушел в «легальный бизнес». Рома все собирался обратиться к нему, попросить в долг. Но Мамед просто так не одалживал. Он был человек жестких правил. Ты мне — я тебе. Око за око. Зуб за зуб. Услуга за услугу. А какую услугу оказать Мамеду — Рома пока придумать не мог.

Второй раз Жорка сам привел Мамеда ко мне.

Я стоял у входа на рынок, возле продавцов пива и газировки. Самое выгодное место, особенно в выходные и на праздники. Народ, выкатя зенки, валит за покупками и, нагруженный, заморенный, плетется обратно. И достаточно кому-нибудь клюнуть на мои завывания по ненавистному охранникам громкоговорителю, раскошелиться и начать судорожно стирать монеткой или ногтем покрытое защитным слоем игровое поле, как тут же соберется группа любопытных, и среди них непременно отыщутся желающие «рискнуть на фарт». Тем более удовольствие недорогое: доллар за билет.

Мамед всем видом давал понять, что он здесь по делу, не то что эти «мэшочники». Говорил с акцентом, путая падежи, растягивая, почти распевая гласные, и старательно артикулировал исковерканные слова. За его спиной, скрестив на груди руки, застыл телохранитель с расплюснутыми ушами, уставив куда-то поверх голов свой печальный орлиный взор.

— В казино рулетка играл, блэкджек играл, однорукий бандит тоже, спортлото ише было... Беспроигрышный латарейя — нэ играл. Как так беспроигрышный? Обамануть миня рэшил?! Сматри-и, пажалеэшь... Мамеда нэ проведешь. Кито миня на мизинец обамануть хатели — давно зэмла лэжат. Мой чэсть дароже дэнэг! Ничто ни жалею, читобы обаманщик найти и башку атрэзать. Вот видишь: пилэмя-я-ник мой. У ниго в багажник бита есть, безбольная, — такой спорт армениканский. Он ею как ударяет — все сиразу правду сознаются говорить. Понял? Ну чито, и типэр будешь сказать, твой латарейя беспроигрышный?!

— Конечно, беспроигрышная. Это же американская штукавина, а у них все честному. Сами попробуйте: каждый четвертый билет выигрышный.

Система была простая. Лента лотерейных билетов — сто штук, разделенных перфорацией, чтобы удобней отрывать. Из каждых четырех — один выигрышный. Так что, если брать четыре подряд, что-нибудь да выгорит. Выигрышных билетов двадцать пять: тринадцать по доллару, шесть по два, три пятидолларовых и по одному — десять и двадцать долларов. Итого: семьдесят долларов призового фонда. Еще десять — распространителю, то есть мне, и остальные двадцать — прибыль владельца. И никакого обмана. «Граждане сами оплачивают и свой проигрыш, и свой выигрыш», — нравоучительно замечал, выдавая мне новую порцию билетов, «старший офис-

менеджер Альберт», как было написано на пластиковой табличке, приколотой к кармашку его отглаженной голубой рубашки, туго стянутой на ворота серебристым, переливчатым, словно чешуйчатым, галстуком.

Обычно десять и двадцать долларов выпадали где-то в начале или в самом конце. Янки, похоже, не отличались особой изобретательностью. При определенной доле внимания несложно уследить, сколько и каких выпало выигрышных билетов. Для выпускника математической школы — задача элементарная. И если в ленте последние шестнадцать билетов, а десяти — и двадцатидолларовые не попадались, можно без малейшего риска вскрывать остаток самому, у американцев ведь все по-честному.

Жорка знал об этой моей хитрости и попросил дать выиграть Мамеду:

— Хочу задобрить его, чтобы взял меня в серьезное дело.

Мои убытки Жорка обещался возместить. Деньги мне были нужны. Я копил на французские духи, Большой театр, ресторан и такси...

Она жила на станции метро Аэропорт, в писательском доме. Аэропортовская девочка, как называли живших в этом районе дочек советских поэтов, писателей, редакторов толстых журналов и прочих литературных деятелей.

Окна ее комнаты на первом этаже выходили в уютный дворик с тенистыми кленами и каштанами, изогнутыми лавочками и маленькой детской площадкой. Там в песочнице всегда валялись какое-нибудь забытое ведро, совок или формочка. И от их вида почему-то становилось тоскливо и неприятно.

У метро я покупал букет бордовых роз в жутко шуршащей прозрачной обертке. С колотящимся сердцем пробирался дворами к ее дому. Просовывал букет в открытую форточку и выжидал — не отдернется ли занавеска...

Шансы мои, по уверениям Жорки, были нулевые.

— Сам посуди, кто ты и где она. Ну погуляла она с тобой разок для разнообразия, сходила в народ. А дальше — извини. Кадр ты бесперспективный.

— И она это прекрасно понимает. Пади, не провинциальная дура, — пуская колечки дыма, припечатывал Рома.

Но что я мог с собой поделывать? Я стоял перед ее окном в бессильной надежде, что сейчас откроется занавеска и выглянет она — мило припухшая ото сна, в черном шелковом халатике с вышитыми золотыми драконами, наспех наброшенном на острые плечи, его полы разошлись и чуть топорщатся на груди. Она укоризненно покачает головой. Откинёт со лба растрепавшиеся соломенные волосы и с нарочитым недовольством вытянет из форточки букет. И рукава халатика приспустятся, обнажив на миг ее худые гибкие руки. Она уткнется носом в раскрытые бутоны. Глубоко вздохнет. Изумленно поднимет ресницы, словно только что проснулась. Привстанет на цыпочках и, по-птичьи вытянув шею, с жаром прошепчет в форточку:

— Какой же вы несносный! Но за цветы спасибо...

И задернет занавеску.

Лотерейная контора располагалась в полуподвальном помещении ЖЭКа. Просторная комната без окон освещена голубоватым светом люминесцентных ламп. Шелестят бумаги, дребезжат настольные телефоны, открываются и закрываются бесчисленные картонные коробки. За выстроенными в два ряда старыми списанными школьными партами сидят немногословные коллеги Альберта. К ним то и дело подходят ссутулившиеся посетители, что-то принося и что-то получая взамен. Наверное, тоже лотерейные билеты или что-нибудь в этом роде.

Выверенными мелкими движениями, как у часовщика или маникюрши, Альберт раскладывает по пачкам зеленые банкноты: один, пять, десять, двадцать долларов.

Перетягивает резинкой стопку выигрышных билетов (их непременно надо было забрать после выплаты на месте призовых, чтобы потом обменять у Альберта на доллары). Голова низко склонилась над партой, и в темных прилизанных волосах, от макушки до покатога лба, белеет ровная дорожка пробора.

Я даю ему сто долларов залога и беру ленту билетов. Он в очередной раз занудно инструктирует меня: что должен говорить и как должен вести себя профессиональный лотерейщик, который хочет чего-то добиться в своем деле. Выдает захватанный сиплый громкоговоритель и бесцветным ледяным голосом отчеканивает:

— И пожалуйста, не забудьте, как на прошлой неделе, сохранить выигрышные билеты. А то останетесь без денег. Здесь не благотворительный фонд. У нас строжайшая отчетность.

II

Спать не хотелось. Я закрыл бесполезную тетрадь и убрал ее в нижний ящик стола. Сквозь зарешеченное окно пробилась янтарная солнечная полоска. Она проползла по выцветшему потертому бархату поникшего Трудового Красного Знамени и потянулась к засиженной мухами Доске почета. С черно-белых фотографий, отретушированных до кукольного глянца, окаменело таращились ударники и передовики производства. Кто-то подрисовал им разноцветными фломастерами рожки, усы, козлиные бородки и ослиные уши, и от этого они выглядели потерянными и беззащитными, будто разряженные детдомовцы в шутовских масках на праздничном утреннике.

Осторожно ступая по вспученному линолеуму, прибитому к полу мелкими загнутыми гвоздочками, я вышел из комнаты в полутемный ремонтный зал с пустующими подъемниками и эстакадой. Пахло машинным маслом, сварочной гарью и лежалой резиной.

Я наспех умылся над грязной раковиной. Обжигающая ледяная вода с шипением, перекрученной струйкой вырывалась из медного краника с разболтанным пластмассовым вентилем и раскатистым звоном оглашала безжизненный зал. Бодрый, будто и не было бессонной ночи, путаных жарких споров и бесплодного бдения над чистым листом бумаги, я шагнул во двор.

От яркого света больно глазам. Я прикладываю ладонь козырьком ко лбу и, почти задыхаясь от какого-то необъяснимого переполняющего меня восторга, плотаю сладко ранящую утреннюю свежесть.

У ворот автосервиса высится пирамидальный тополь. Его верхушка раскачивается в головокружительном небе, серебристые с изнанки листья подрагивают, словно мерцая, и робко перешептываются на ветру. Как он попал сюда из своих южных широт? Как прижился на этом усеянном болтами и гайками дворе? Среди раскуроченных кузовов, погнутых проржавевших дисков, пробитых канистр и грязных тряпок, которыми слесари обтирают почерневшие, промасленные, будто неживые руки?.. Кажется, это какая-то ошибка. И сейчас все исчезнет. Повеет влажным соленым ветром, и вдалеке откроется и грозно задышит море. И круто забирая выше и выше, будет виться и петлять узкая улочка, залитая палящим солнцем. И мы с родителями идем по ней в поисках комнаты. В горячем воздухе разлит приторный аромат акаций и бугенвилей. Из окон тянет запахом жареной рыбы, тушеного лука, помидоров, баклажанов и вареной кукурузы. К морю спускаются отдыхающие, парами и компаниями, загорелые, в шортах, купальниках, шлепанцах, с надувными матрасами и перекинутыми через плечо цветастыми полотенцами. Пригибаясь под тяжестью двух чемоданов, отец упрямо тянет нас вверх, от дома к дому с табличками «СДАЕТСЯ» на

заборе. Мама послушно семенит за ним, оборачиваясь ко мне с немой мольбой в глазах. И я изо всех сил стараюсь не отставать, еле волоча стертые до крови ноги в сандалиях, купленных в «Детском мире» на вырост...

В стволе тополя торчит нож. Я выдергиваю его, отхожу на десять шагов, прицеливаюсь и бросаю. Но, как всегда, мимо.

День выдался удачный. Изрядно подгулявший сибиряк купил сразу сорок билетов — «Москва же — сорок сороков», — сунул их в карман не по сезону жаркой кожаной куртки и, пошатываясь, исчез в толпе. Следом скучающая мадам неопределенного возраста, на шпильках устрашающей высоты, в каплевидных зеркальных солнцезащитных очках и в платье с чересчур откровенным вырезом, короткими толстыми пальчиками отрывала по билету «на женское счастье» и перламутровым ноготком стирала игровое поле, и так дошла бы до конца ленты, если бы не смурной бомж, с настойчивой галантностью облапивший ее за расплывшуюся талию. Потом была компания нерешительных прыщавых юнцов с крашеной блондинкой в джинсовой вареной мини-юбке, после первого проигрыша они закурили, купили пива и, насупленные, уселись в сторонке на корточках; девица тоже присела, высоко заголив матовые гладкие ляжки, и, отхлебнув из горла, стала взасос целоваться с кудлатым парнем, нагло кося на меня мутным глазом. Застенчивый азиат, выиграв свой же доллар, крепко зажал его в смуглом обезьяньем кулачке, и в зрачках его вспыхнул дикий безумный огонек. Тетка в криво надвинутой на лоб соломенной шляпе с обвислыми полями выпаливала: «Э-эх, сынок, где наша не пропадала, давай-ка еще билетик!» Какой-то правдолюбец, отойдя на безопасное расстояние, кричал, что это одно надувательство и он будет жаловаться, и сердито подтягивал лоснящиеся на коленках мешковатые штаны. Приплясывая и барабаня, ходили кругами блаженные кришнаиты, спеленатые в летучие хламиды до пят, и елеинными голосами уговаривали купить Бхагавадгиту. Охранники привычно грозились разбить о мою голову громкоговоритель...

К полудню билеты закончились. Я пожалел, что взял всего одну ленту, и поехал за новой партией. По пути заглянул к Жорке. Палатка была закрыта. Наверно, проспал. Я торопился и решил, что бог с ним, с обедом, к вечеру зайду за Жоркой, тогда и поем.

Но и вечером в палатке никого не оказалось. Жара спала, и умиротворяюще веяло прохладой. Я устало прикрыл веки и подставил лицо слабому ласковому ветру, с довольством сунув руки в карманы, оттопыренные от выигрышных билетов и смятых долларов.

За спиной послышался царапающий шорох метлы. Дворничиха обычно принималась за уборку до закрытия рынка, тогда ей кое-что перепало из брошенных бракованных вещей.

— Привет, тетя Клав. Не видела, Жорка был сегодня?

— Был да весь вышел...

— Ушел что ли уже?

— За им Мамед приезжал. И этот евоный амбал нашего Жорика с разбитой мордой из палатки за шкирок выволол и в ихний месредес зашквырнул.

Ленинградский проспект стоял в пробке. Машины ревели и сигналили, почти не двигаясь с места, зажатые в могучих тисках сталинских многоэтажек. «Как же так, как же так?» — повторял я, точно мантру. Ведь об этих Жоркиных неучтенных одиннадцати порциях знали только мы трое...

Над крышами домов разливался багровый закат. Небо тихо гасло, и громады кучевых облаков покрывались лилово-фиолетовыми трупными пятнами. Я невольно ускорил шаг. Надо было еще придумать, где переночевать.

Дружба на вырост

Юрий Нечипоренко, Сергей Седов

Сказки на два голоса

Несколько маленьких сказок я написал еще в 90-е. В прошлом году состоялся Всероссийский фестиваль детской книги, посвященный сказке, — и я по случаю присочинил еще десяток. Так как дело это было для меня необычное, обратился за помощью к членам нашего клуба детских писателей «Черная курица» — предложил сочинить свои в том же духе. К моей радости, известный сказочник Сергей Седов откликнулся на призыв и тоже написал десяток сказок, беря порой мои начала и создавая свои продолжения. Некоторые темы отыграны нами обоими, другие сказки рифмуются на уровне идеи, посылы, приема. Читателю решать, детские это сказки или взрослые и как соотносятся миры разных авторов.

Может быть, вы и сами сочините что-то похожее?

Ю.Н.

Юрий Нечипоренко

Человек, который светился

Жил-был человек, который потихоньку светился. Днем это было незаметно, а к вечеру становилось все виднее, что лицо его, и руки, и шея — все светилось в темноте. Не так сильно, как электрическая лампочка, однако же достаточно, чтобы, например, можно было рядом с ним книжку почитать.

Нечипоренко Юрий Дмитриевич — прозаик, арт-критик, художник, культуролог. Родился в 1956 году в г.Ровеньки Луганской области. Закончил физический факультет МГУ, доктор физ.-мат. наук. Главный редактор журнала «Электронные пампасы», директор Всероссийского фестиваля детской книги. Лауреат премий «Ясная поляна», «Серебряный Дельвиг», «Заветная мечта» и др., автор книг о Гоголе, Ломоносове и Пушкине для подростков. Президент Общества друзей Газданова. Давний автор «ДН».

Седов Сергей Александрович — детский писатель. Родился в 1954 году в Москве. Окончил отделение педагогики и психологии факультета начального обучения Московского педагогического института. Переменил несколько профессий — был учителем младших классов, дворником, натурщиком, педагогом-организатором в ЖЭКе. Автор многочисленных книг и сценариев мультфильмов. Лауреат премии «Заветная мечта» и премий на кинофестивалях мультипликации. В «ДН» публикуется впервые.

А когда он раздевался, свету становилось еще больше — оказывалось, все тело его светилось матовым лунным светом. И по ночам все его боялись, никто не хотел с ним оставаться: страшно становилось от такого сияния, а выключить его никак нельзя было. Вот человек этот и жил один, в гости не ходил, и к нему никто не приходил.

В конце концов оказалось, что совершенно напрасно он светится всю жизнь, без пользы.

Человек, который потерял свое лицо

У одного человека лицо было странным каким-то: словно приклеили его плохо, оно все время топорщилось, трепалось, как флаг на ветру, или ходуном ходило ни с того ни с сего, как будто кто-то невидимый на нем выплясывал. Этого человека с танцующим лицом никто понять не мог, потому что лицо его все время какие-то кренделя выписывало — так что впору было закрывать его маской, за которой бы ничего не было видно. Как будто его собственное лицо было лишним. И так оно у него разболталось, распрыгалось, что однажды упало вниз — как лист осенний...

И остался этот человек совсем без лица. Так и говорили: «На нем лица нет». А ему даже понравилось — все оставили его в покое, ну нет лица и нет.

Человек с клейкими руками

Жил-был человек с клейкими руками.

Он приклеивался ко всему, чего ни касался.

Потому его одевали другие люди, обували другие люди и кормили другие люди.

Так и прожил всю жизнь это человек, как ребенок.

Хорошо, что мысли его были свободны и ни к чему не приклеивались.

Он мог думать о чем хотел, тем более что все время у него было свободным, потому что он ничего делать не мог.

Стал человек этот крупным мыслителем.

Он даже выступает часто по телевизору, может быть, вы даже видели его.

Там же руки почти не показывают и делать ничего не надо: сиди себе спокойно и вещай, что хочешь.

Только надо, чтобы это нравилось тем, кто тебя обувает, одевает и кормит.

Иначе они перестанут это делать.

Зеркальный человек

Вере Винниченко

Жил-был блестящий человек, который блистал и сверкал так, что из него искры сыпались! А если к нему подойти поближе, то можно было заметить, что все тело его было зеркальным и отражало полностью весь мир, только было это зеркало не плоским, поэтому мир отражался криво и то, что было большим в мире, в нем казалось маленьким, а маленькое казалось большим! Так что маленьким людям рядом с ним было приятно, они себя чувствовали на высоте!

А большие люди его чурались...

Но ему-то это и надо было: он любил блистать среди тех, кто был поменьше и попроще, и терпеть не мог всех, кто в чем-то превосходил его.

Поэтому его любили дети и терпеть не могли взрослые.

Сергей Седов

Зеркальный человек

Жил-был блестящий человек, который блистал и сверкал, блистал и сверкал, блистал и сверкал. Всегда, везде и во всем. За ним ходили толпы фанатов и поклонниц. Вокруг его дома постоянно дежурил полицейский полк, иначе бы дом давно разобрали по кирпичику.

Блеск блестящего человека с годами не тускнел, а наоборот, становился все ярче, число его фанатов росло — и не в арифметической, а в геометрической прогрессии!

И вот в один ужасный день это число превысило критическую массу, которую могли сдержать лучшие телохранители западного побережья, и фанаты наконец-то добрались до тела своего кумира. И тут оказалось, что поверхность его тела была зеркальной!!! (Именно поэтому наш герой любил выходить на люди при ярком солнце, а в пасмурную погоду и в телестудиях требовал непрерывно освещать себя мощными 1000-ваттными прожекторами.)

Не будем подробно рассказывать, с какой страстью фанаты отрывали от своего кумира кусочки зеркала — вы и сами можете себе это представить. Скажем только, что через каких-то две с половиной минуты наш блестящий человек потерял весь свой блеск и абсолютно перестал сверкать. Нечто подобное случилось с пирамидой Хеопса. Она когда-то тоже сверкала на солнце так, что ее было видно из созвездия Ориона, а теперь это просто небольшая серая гора.

Юрий Нечипоренко

Человек-пропасть

Один человек был похож на пропасть: всякий, кто подходил к нему близко, падал в него и уже не возвращался. Или, даже точнее, он был похож на море — потому что все окружающие впадали в него, как реки впадают в море. Если об этом человеке заходила речь в какой-то компании, то все уже только о нем и говорили весь вечер.

Но иногда этот человек начинал бушевать — когда там, внутри него, собиралось много людей, которые в него впали, они его переполняли, он выходил из берегов, его штормило...

В общем, бывало так, что выбрасывало всех впавших в этого человека людей — и они разбегались во все стороны в страхе и мучениях.

Но в хорошую погоду все так любили в него впасть, и купались в нем, как в теплом море...

Сергей Седов

Человек-море

Жил один человек. Вроде бы обычный. Но на самом деле, он был не человек, а море.

И в нем многие купались. Друзья, близкие, вовсе незнакомые. Людям нравилось, что не нужно ехать на курорт, тратиться. Наш человек не требовал денег, да и вообще не обращал внимания на тех, кто в нем плавает. А плавали десятки, сотни, иногда даже тысячи.

Вода была всегда теплая, погода хорошая. Случались, конечно, шторма, но редко. И все было хорошо.

Но однажды какой-то пловец, по фамилии, кажется, Куприянов, не вернулся из нашего человека!

То ли волной накрыло, то ли ногу свело....

Жена Куприянова подала на человека-море в суд. Было долгое разбирательство. В конце концов ему дали три года условно и запретили быть морем.

Юрий Нечипоренко

Своенравные ноги

У одного человека ноги совсем не слушали голову и делали все, что хотели. Как будто для них была командиром какая-то другая голова.

Например, хочет человек книжку почитать, на диване полежать — берет книгу, а ногам, наоборот, тут взбредет потанцевать... Вот он, как дурак, по комнате с книгой и кружит.

Или того хуже: пойдет он в школу, а ноги внезапно захотят в футбол поиграть и начинают мяч по коридору гонять, и голова никак не может с ними сладить...

Приходилось голове все время прислушиваться к ногам: так связь у них была односторонней, и голова учитывала все прихоти ног.

И жил этот человек ужасно несуразно: все дела делал на бегу — не успевал с кем-то встретиться, два слова сказать, как своенравные ноги уносили его дальше.

Так он всю жизнь бы и промучился, если бы не нашел другого человека, который стал его ногами командовать.

Вот это было счастье!

Надо сказать, что тот другой человек был девушкой из их же класса — вот человек и женился на этой девушке, и с тех пор все проблемы у него пропали. Только приходилось всюду ходить вместе — а то ноги начинали нервничать, волноваться и опять убегали к своей хозяйке!

Сергей Седов

Самостоятельные ноги

Жил один человек. Вроде бы нормальный. Только ноги у него были слишком самостоятельными. Не слушались головы. Делали что хотели, а не то, что нужно было этому человеку. Несладко ему приходилось. Прямо посреди делового разговора перед подписанием контракта он мог вдруг вскочить с места и побежать сломя голову неизвестно куда, нарушив все корпоративные приличия.

Однажды он встретил на презентации девушку — стройную (90-60-90), высокую, красивую, умную, с прекрасным характером. Человек хотел пойти за ней, но увы... Ноги повели его в какой-то переулок, совсем к другой девушке. Она была полненькая, глупенькая, страшненькая. Да и характер еще тот! Но ноги все ходили и ходили за ней. Пришлось нашему герою жениться на этой девушке.

Они жили долго, счастливо и родили 14 детей.

Юрий Нечипоренко

Человек с тихим голосом

Жил-был человек с негромкими голосом.

Когда вокруг собирались его друзья, он говорил очень тихо.

Потом еще тише, тише и тише.

И все прислушивались к нему.

Стояла абсолютная тишина, такая огромная тишина, что казалось, уже были слышны мысли.

И всем очень нравилось то, что они слышали. Они говорили потом: как мудро говорит наш друг! Какой он умный!

Но когда начали выяснять, что же он сказал, то стали спорить.

Потому что каждый слышал свое.

И всем казалось, что он каждому говорил именно то, что человек хотел услышать.

Вскоре они перестали спорить — и жили уже со своими мыслями.

Потому что человек с тихим голосом побуждал их думать самих, а не слушать других.

За то его все и любили.

Сергей Седов

Человек, который говорил

Один человек все время говорил и никогда не слушал. Говорил, говорил — сам с собой, конечно. Потому что его тоже никто не слушал. Кто же будет слушать такого человека, который сам никого не слушает?

Вот он так говорил, говорил сам с собой, а какая-то девушка на остановке возьми да и спроси его насчет трамвая.

Если бы он отвлекся от разговора с самим собой, услышал бы девушку, то они бы месяца через три поженились и сын бы у них родился, Никита, который, между прочим, через 24 года стал бы двадцать четвертым чемпионом мира по шахматам, вернул бы шахматную корону в Россию, где она, конечно, и должна находиться, мы же понимаем.

Но человек, который все время говорил, не отвлекся, не услышал и не женился, так что шахматная корона теперь неизвестно когда в Россию вернется. Да и вернется ли вообще, неизвестно.

Юрий Нечипоренко

Важная дама

Одна важная дама дружила только с теми, кто еще важнее ее.

И не замечала менее важных.

Так она поднималась все выше и выше — и теряла старых друзей, потому что они все оказались неважными.

Но вот она достигла головокружительной высоты — и оказалась в компании дам, еще более важных, чем сама.

Однако они быстро с ней разобрались: ведь они тоже поднялись так высоко, потому что дружили только с более важными.

Она сама оказалась для них неважной.

Так у нее не осталось друзей: ни новых, ни старых, ни важных, ни неважных — совсем никаких.

Сергей Седов

Новые дети

Один человек любил все новое.

На Новый год просто с ума сходил — не мог все не поменять: ботинки, костюм, машину, квартиру, но главное, жену и детей.

Жена все понимала и не спорила, дети тихо размазывали слезы по щекам и бубнили что-то про поход и океанариум.

— Ну конечно, — задержавшись на пороге, говорил наш человек, — раз обещал, пойдем — и в поход, и в океанариум, вы же знаете, дети для меня — это святое, о новом адресе — сообщу.

Он выходил на улицу налегке, без старых вещей и тут же на улице встречал женщину, новую, но не слишком молодую, а как правило, разведенную или вдову. И между ними мгновенно вспыхивало чувство (такой был человек).

Они стояли посреди улицы и смотрели друг на друга, смотрели... Постепенно вокруг вырастала толпа из бывших жен и детей. Все ведь знали о его новогодней привычке.

— Он вас бросит через год, — сообщали бывшие новой.
— Бросишь? — спрашивала та.
— Угу! — честно кивал наш герой с огромной любовью глядя на новую любовь.
— Ну ладно, — вздыхала та. — Хоть год, а мой. Это все твои? — показывала на несколько десятков окруживших его детей.
— Мои! — с гордостью отвечал человек.
— А у меня трое, — говорила женщина.
— Трое новых детей! — Наш герой с великой нежностью обнимал новую жену. — Пойдем, — говорил, — хочу поскорее с ними познакомиться...

Юрий Нечипоренко

Ловец падающих листьев

Маргарите Сосницкой

Жил-был человек, который любил ловить листья на лету...
Ему было жаль их до слез — что такая красота падает наземь.
Дома он собирал ворох листьев, зарывался в них — и засыпал.
До следующей осени.

Сергей Седов

Неуловимые лани

Жил один человек. Ловец неуловимых ланей.
Любая лань, — говорил он, — может считаться неуловимой до тех пор, пока я ее не поймал.
Другие тоже иногда ловили неуловимых ланей, но в качестве хобби, наш же человек занимался этим постоянно. Такое было у него призвание. Ловить неуловимых ланей. И он был настоящим мастером своего дела.
Поймав очередную неуловимую лань, он вешал ей на шею маленький, но громкий колокольчик. Это означало, что лань больше не является неуловимой и ее уже не нужно ловить.
Ловец неуловимых ланей и сейчас ловит неуловимых ланей. Конечно, его очень трудно застать за работой. Будучи ловцом неуловимых ланей, он и сам стал практически неуловим. Но недавно его показали по телевизору. Он дал интервью, в котором сказал, что мечтает поймать когда-нибудь последнюю неуловимую лань и войти в историю.
Но мы думаем, что это ему вряд ли удастся. Потому что количество неуловимых ланей постоянно растет. Они хорошо размножаются. К тому же убивать их нельзя. Только ловить и отпускать, ловить и отпускать, ловить и отпускать — так написано в Большой Красной Книге.

Юрий Нечипоренко

Сказка ночных колышков

Ночные колышки переиначивают нашу жизнь. Они торчат в поле, и каждую ночь их переставляют. Вначале они образуют, если смотреть сверху, восьмерку, а потом нижний круг разрывается и образуется девятка, потом они все расступаются — и уже получается шестиугольник с хвостом. И так далее...

Кто переставляет колышки — непонятно. Не сами же они прыгают с места на место? Но точно известно, что каждую ночь они по-новому выстраиваются. И тот, кто попадает в поле с колышками, мало что понимает. Зато видит: в поле с густой темной травой торчат колышки — и чуть мерцают. То есть светятся неярко и попеременно. Не так вспыхивают, как светлячки, и не так горят, как свечи или бенгальские огни, а все же посверкивают.

Эти колышки что-то закрепляют, что-то ограничивают и огораживают, связывают. В зависимости от этого человеку что-то днем позволено сделать, что-то у него получается, а куда-то вход воспрещен, и он туда не попадает, как ни стучи...

Может, по этим колышкам надо палатки ставить, к ним паруса привязывать, или на них сети развешивать для просушки, или по ним огород разбивать? Теплицы, парники, клумбы? Непонятно.

Но то, что они нас держат и нами распоряжаются — это точно.

У каждого человека есть такое поле из колышков, и некоторые колышки для разных людей общие. Такие люди граничат друг с другом и встречаются днем.

Вот и все, что нам удалось выяснить про колышки.

Никто на этом поле не бывал, и дорогу туда найти невозможно.

Как же мы про это знаем?

А так просто.

Знаем и все.

Может быть, вы знаете больше?

А уж эти колышки про нас знают все.

Сергей Седов

Снежный человек

Жил-был Снежный человек, большой и наверное добрый.

Про него много рассказывали, но толком ничего не было известно. Как он живет, чем питается, что делает целыми днями? Он совсем был неизвестен науке. И ученым всего мира это страшно не нравилось.

Вот собрались они на конгресс и решили во что бы то ни стало найти снежного человека, да хорошенько его изучить в лабораторных, конечно, условиях. Но сказать легко, а поди найди его без больших — то денег! Поиски в Гималаях дорого стоят. Вот пришли ученые всего мира к одному богатому миллиардеру и говорят: так, мол, и так, дай нам парочку миллиардов на это дело. А богатый миллиардер тоже был себе на уме.

«Дам, — говорит, — вам, так и быть, парочку миллиардов, но только, чур, у меня

условие. Хочу быть первым, кто со Снежным человеком сфоткается. Но ежели кто другой с ним селфи раньше меня сделает, засужу вас на веки вечные. Будете на моих рудниках в Антарктиде на большо-о-ой глубине нездоровой пищей пожизненно питаться». И протягивает им договор с печатями.

Засомневались было ученые всего мира, стоит ли соглашаться на такие условия. С одной стороны, страшно, а с другой — так хочется изучить, наконец, Снежного человека в лабораторных условиях! И что же вы думаете? Победила, конечно, жажда познания. Она всегда в науке побеждает. Подписали договор, наняли лучших специалистов—силовики, разведчиков, звероловов, экстрасенсов наисильнейших — да и схватили Снежного человека на северо-западном склоне Джомолунгмы.

Привезли пленника в секретную лабораторию, поместили в бокс без окон, без дверей, чтобы не дай бог кто-нибудь не сфоткал его прежде богатого миллиардера. А сами стали ждать, когда тот прилетит, чтоб потом уже сразу взяться за изучение.

Долго ли, коротко, прилетел миллиардер, встал перед боксом у кнопочки. А ученые всего мира за его спиной сгрудились. Вот нажал миллиардер ту кнопочку. Одна стенка у бокса в сторону отъехала. Смотрят все, а внутри-то никого нет. Только растеклась посреди бокса большая лужа из самой обыкновенной воды.

Гневно глянул миллиардер на ученых со всего мира, обозвал обманщиками, пообещал, что скоро вернется, да не один, а со своими злыми адвокатами, — и улетел на личном самолете.

А ученые стоят вокруг лужи и плачут: «Как же мы могли так ошибаться, думали, Снежный человек только называется снежным, а он, оказывается, на самом деле был снежный! И не было в нем никаких белков, жиров, углеводов. Одна только вода в замороженном состоянии. Что же нам теперь делать?»

Бедные ученые! По всей видимости, их ждала незавидная участь, но... К ним пришла одна девочка. Простая русская девочка. По имени Изабель. Имя, конечно, довольно странное для русской девочки, но это бывает. Так вот, Изабель на чистом русском языке сказала ученым, что знает один секрет и если они хотят увидеть Снежного человека, то должны придумать, как превратить воду из лужи снова в снег. Но так, чтобы не потерялась ни одна мельчайшая капелька!

Ученым со всего мира, конечно, не доставило большого труда решить эту задачу, и вскоре в боксе с искусственно пониженной температурой на месте лужи лежал довольно толстый слой снега.

Строго приказала Изабель ученым всего мира выйти из бокса, задвинуть стенку и не подглядывать.

Прошло два часа. Затаив дыхание, стояли ученые у кнопочки и впервые в жизни ждали чуда. Только оно могло теперь спасти их репутацию. А беспощадный миллиардер тем временем уже приближался к ним сзади вместе со злыми адвокатами.

И вдруг стенка бокса отодвинулась, и все увидели Изабель и ... Снежного человека!!! Не было никаких сомнений. Это был именно он. И у него было прекрасное настроение. Он улыбался, махал всем рукой, источая взглядом доброту и любовь. Как замороженные, смотрели на него ученые всего мира, когда они с Изабель, взявшись за руки, проходили мимо. Беспощадный миллиардер мгновенно превратился в милого и доброго миллиардера. От нахлынувших чувств он даже забыл про селфи. Снежный человек сам взял его смартфон, обнял миллиардера и сфоткал их обоих. А потом они летели в миллиардерском самолете. Изабель с миллиардером о чем-то весело болтали, а Снежный человек сидел в большом холодильнике и медитировал. А потом в дверь холодильника постучали. Это была Изабель. Она сообщила Снежному человеку, что

они пролетают над Гималаями и ему пора. Прощание было очень трогательным. Из глаз девочки вытекло несколько слезинок, Снежный человек подхватил их своей рукой, заморозил и навсегда оставил в себе. А потом он внимательно посмотрел на миллиардера и что-то ему сказал телепатически — или миллиардеру показалось.

А потом Снежный человек долго и медленно опускался на парашюте прямо в гималайские снега.

Что же касается миллиардера, то ему не показалось. Снежный человек сказал, что они еще встретятся. И они действительно встретились. Через три года. Миллиардер тогда уже не был миллиардером, он раздал все свои деньги на научные исследования, а сам стал монахом в гималайском монастыре. Вот как-то сидел он зимой ночью в горах на пронизывающем ледяном ветру без рубашки и даже без майки, накрывшись мокрой простыней — и вдруг к нему подошел Снежный человек и согрел в своих объятиях.

А теперь про секрет Изабель.

Надо сказать, что этот секрет знает не только Изабель. Если честно, его знают все дети. Ведь все лепят снеговиков. И каждый снеговик на самом деле Снежный человек. Вы спросите, почему же они тогда не ходят, не бегают, не прыгают? Думаете, не могут? Еще как могут! Просто не хотят привлекать внимание людей с научным складом ума.

Дружба на вырост

«На земле всё хорошо»

Детские писатели многонациональной России

Федеральное агентство Роспечать осуществляет обширную программу поддержки национальных литератур. Уже вышла «Антология поэзии народов РФ», вызвавшая огромный интерес читающей публики. В ней стихотворения более чем двухсот современных национальных авторов даны на языке оригинала и в переводе на русский (см.: «ДН», 2017, № 4). На очереди — разнотематическая «Антология детской литературы народов РФ». Стихи, проза, пьесы, переложенный, переосмысленный фольклор, — собранные вместе, помогают понять, что люди могут иметь разную национальность, принадлежать к разным конфессиям, вообще быть язычниками или атеистами, жить в разных климатических условиях, но везде и всюду им нужны любовь и дружба, они ценят честность и верность, они восхищаются храбростью и смекалкой. И если человек «другой», это не значит, что он чужой и враждебный, это значит, что он особенный и интересный. Наша антология, во-первых, просто увлекательная книга, во-вторых, безусловно, заметное культурное явление в России, в-третьих — целая энциклопедия, большое поле изучения для филологов, этнологов, социологов и даже, может быть, политологов и чиновников... Если бы, управляя российскими регионами и принимая важные решения, политики иногда заглядывали в подобные книги, они бы имели представление о том, чему учат своих детей такие несхожие народы, какие они хранят нравственные ценности, присущие их национальному характеру.

На страницах «ДН» мы публикуем переводы пьесы и стихов из готовящейся к печати «Антологии».

Алёна КАРИМОВА, поэт, переводчик,
ответственный редактор Антологии детской литературы народов РФ

Аминат Абдулманапова

Даргинская поэтесса, прозаик, публицист. Родилась в 1946 г. в селении Харбук Дахадаевского района Республики Дагестан. Заслуженный работник культуры РД. Народный поэт Дагестана. Член Союза писателей России, Союза журналистов РФ. Лауреат множества литературных премий. Живет в г. Махачкала.

Спор

Поспорил маленький Шамиль
С соседкой Раисат:
— Взрослее ты, но старше я —
Так мама говорит моя!
И даже ростом выше я.
Вот видишь, Раисат!

Но Раисат, но Раисат
Так просто не сдалась:
— Да все соседи говорят,
Я раньше родилась!

Шамиль того не признаёт.
Шамиль на цыпочки встаёт:
— Я выше — посмотри!
Мужчина старше вас всегда.
— А разве ты мужчина, да?
— Да, что ни говори!

Я — это знает весь народ —
Свалю и тигра с ног!
Но с громким лаем из ворот
Вдруг выскочил щенок.

И сам собой решился спор:
В испуге от щенка
Бежит Шамиль к себе во двор,
Спасите смельчака!

Перевод с даргинского Валентины Твороговой

Султан Шадиев

Ингушский поэт, прозаик. Родился в 1937 году в г. Орджоникидзе (ныне Республика Северная Осетия — Алания). Член Союза писателей России и Союза журналистов РФ. Живет в г. Сунжа (Республика Ингушетия).

Про телёнка и щенка

В весенний солнечный денёк
Бродил по лугу,
Одинок,
Зевающий спросонок,
Скучающий телёнок.

Но тут примчался на лужок
Весёлый озорной щенок
И, увидав телёнка,
Его облаял звонко.

Телёнок выставил рожок:
— Уйди! Ведь забодаю. —
Щенок ответил:
— Эй, дружок,
Да я с тобой играю!
А ну, попробуй, догони!.. —
И друг за дружкой они
По лугу бегать стали,
Покуда не устали.

И вдруг глядят:
А где же луг?
Вокруг растут морковь, и лук,

И помидоры, и салат.
Друзья во все глаза глядят:
— Мы оказались вроде
В хозяйском огороде...

А тут и бабушка идёт,
Кричит сердито:
— Вот народ! —
Размахивает палкой:
— Я посадила огород,
А им топтать не жалко! —

Ей вторит маленький Мурад:
— Телёнок, ты попался!.. —
А тот и сам уже не рад —
Так, бедный, напугался.

А где щенок?
Сбежал в кусты
И спрятался, хитрюга.
Читатель мой, скажи:
А ты
В беде оставишь друга?

Перевод с ингушского Сергея Вольского

Тахмираз Имамов

Азербайджанский поэт, публицист. Родился в 1957 г. в селе Митаги-Казмаляр Дербентского района Республики Дагестан. Переводил произведения дагестанских поэтов и писателей на азербайджанский язык. Живет в г. Дагестанские Огни.

Мама печёт хлеб

Ах, как разгорается аппетит,
Когда наша мама хлеб печёт!
Не замечаю, как время летит,
Когда наша мама хлеб печёт.

Птицы — и те прилететь спешат
К нам в большой и красивый сад.
Здесь поют они дружно, в лад,
Когда наша мама хлеб печёт.

Круглая яма с углём — тендыр —
Для меня словно целый мир.
Становится вкусным обычный сыр,
Когда наша мама хлеб печёт.

Я приглашаю в наш дом гостей —
Всех соседей и всех друзей:
«На хлебный запах идите скорей!» —
Когда наша мама хлеб печёт.

Радость птицей летит по свету —
Сегодня печалиться повода нету:
Я готов накормить всю планету,
Когда наша мама хлеб печёт.

Перевод с азербайджанского Талии Шарафиевой

Таныспай Шинжин

Алтайский писатель, поэт, исполнитель и исследователь фольклора, народный сказитель. Родился в 1936 г. в селе Улегем Ойротской автономной области. Член Союза писателей России. Живет в г. Горно-Алтайск.

Я — плотник

Я — плотник что надо, Загар — по плечу. Топор, как баллада, Когда наточу,	На лезвии солнце Ломаёт лучи И наземь роняет — Ещё горячи.
Лихим перестуком — Своим языком Окрест повествует, Что строится дом.	Смолою стекает По смуглой спине Искрящийся пот Так, что щёкотно мне.
Сосновый, кондовый, С высоким крыльцом, С резным по карнизу Ажурным кольцом.	Я — плотник что надо: Удар — так удар. И строить дома Дан мне предками дар.
Я — плотник что надо, В мозолях рука. Топор как награда, Есть силы пока.	Так, чтобы был Каждый день свет в окне, — И людям отрада, И радостно мне.

Перевод с алтайского Николая Черкасова

Дулгар Доржиева

Бурятская поэтесса. Родилась в 1943 г. в селе Хилгана Баргузинского района Бурятии. Член Союза писателей России и Союза журналистов РФ. Народный поэт и заслуженный работник культуры Республики Бурятия. Живет в г. Улан-Удэ.

Ёлка

Думал я ужасно долго,
Кем мне быть на этой ёлке.
Мне хотелось зареветь.
— Белкой будь, — сказал Гэрэл.
— Зайкой будь, — сказал Ринчин.
Засмеялась Шалсама
и сказала: «Ты — медведь!»

Белкой быть я не хотел.
Зайкой быть мне нет причин.
Будь медведихой сама,
Шалсама.
Почему-то вам бы только
ха-ха-ха да хи-хи-хи.
Буду солнцем я на ёлке
и прочту свои стихи.

Перевод с бурятского Евгении Коробковой

Николай Абрамов

Вепский поэт, журналист, литературный переводчик (1961-2016). Родился в деревне Ладва Подпорожского района Ленинградской области. Член Союза писателей России и Союза журналистов РФ, член правления Международной ассоциации финно-угорских писателей. Заслуженный работник культуры Республики Карелия.

На печке

В доме окна побелели,
На дворе — мороз и ветер.
Нам своей не жалко лени,
Мы тепло печи приветим!

Дремлет кошка на лежанке,
Я тюфяк пристроил рядом:
Мы слезаем с печки жаркой,
Только если очень надо.

Я ружья отца не трону,
Пусть храпит медведь в берлоге.
Лишь мурлыканье по дому
Да слепое солнце бродит.

Я весь день читаю книжки...
Да — веселью, нет — заботе.
Шебуршат под полом мышки,
Прячет наша кошка когти.

Дрёма нас качает точно,
Тронул зыбку сон весенний.
Карандашик мой наточен —
На полёт стихотворенья.

Перевод с вепского Олега Мошников

Вера Шуграева

Калмыцкая писательница, поэтесса. Родилась в 1941 г. селе Цекерта Улан-Хольского района Республики Калмыкия. Член Союза писателей России, народный поэт Республики Калмыкия, лауреат Республиканских премий, заслуженный работник культуры РК. Живет в г. Элиста.

Дом чабана

Хотите	В жару
Узнать вы,	И в холодный туман —
Где дом чабана?	Кочует с отарой
Он там,	Отважный чабан,
Где степная	И всюду,
Лежит сторона,	Куда б ни пошёл
Где высь голубая	Он пешком,
Без дна и без края.	Находит,
Где кружат орлы	Как это ни странно,
И звенит тишина,	Свой дом!
Где ярко сверкает	Ведь дом чабана —
Трава золотая	Это вольный простор,
И бродят отары —	Да небо,
Там дом чабана!	Да звёзды,
Всё лето —	Да жаркий костёр.

Перевод с калмыцкого Игоря Мазнина

Виктор Рычков

Коми-пермяцкий поэт. Родился в 1959 г. в деревне Трошево Кудымкарского района Пермского края. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа. Живет в г. Кудымкар.

Молоток

«Ток да ток, ток да ток...» —
Стучит у папы молоток.
Почему ж в руках у Сени
Ни уменя, ни терпенья?

Пробку вбить в бутылку надо.
Дзинь! — летят осколки градом.
Гвоздь забить в скамейку хочет —
Бьёт по пальцам что есть мочи,
А пока рукой трясёт,
Тут же ногу ушибёт.

Плачется отцу сынок:
— Ой, дерётся молоток!

Перевод с коми-пермяцкого Валентины Телегиной

Вася Вейкки

Кто кошке глаза и хвост дал

Пьеса в шести действиях

С карельского. Перевод автора

Действующие лица:

Юмал — бог.
Укко — муж.
Акку — жена.
Сын.
Дочь.
Первая мышь.
Вторая мышь.
Третья мышь.
Кошка.
Заяц.
Медянка.
Гадюка.
Лиса.
Зайцы.

Действие первое

Берег озера. На пригорке возле леса стоит большой дом. В этом доме живет *Юмал*. Он выходит на улицу. В руках у него молоток и ведро. *Юмал* достает из ведра две-три звездочки и молотком прибивает их к небесной тверди, рядом с другими. Между звездами бог помещает светлый месяц.

ЮМАЛ. Ну вот вроде бы и все. Вчера выпустил на волю зверей, птиц да змей. Позавчера в озеро отпустил рыбу. Поживу еще немного на земле, погляжу на жите-бытье да и пойду к себе домой — на небеса.

Вася Вейкки (наст. фам. Василий Савельевич Иванов) — карельский поэт, прозаик, переводчик, журналист родился в 1958 г. в деревне Онкулица Олонецкого района Карельской АССР. Пишет на ливвиковском диалекте карельского языка стихи, а также на русском стихи и прозу. Заочно окончил Ленинградское арктическое училище и факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Произведения публиковались в журналах «Север», «Carelia», «Kiriina», «Karjalan heimo» (Финляндия) и др. Живет в Карелии. В «ДН» публикуется впервые.

Юмал возвращается в дом. Неподалеку от дома резвятся *зайцы*. Из-за кустов на них хитро поглядывает *лиса*. Но она боится *Юмал-бога*, поэтому не решается тронуть зайцев. Из лесу слышится голос кукушки. На другом берегу озера виднеется маленький домик. В нем живут *Укко* и *Акку* с двумя маленькими детишками — *дочкой* и *сыном*. Оттуда доносится звонкое петушиное кукареку.

ЮМАЛ (на крыльце). Скоро солнышко встанет. Надо звезды и месяц до вечера в дом убрать. А когда буду на небе жить, тогда пусть они о себе сами заботятся.

Юмал собирает звезды, снимает с небесной тверди месяц и заносит все в дом. Над лесом медленно поднимается красивое красное солнышко.

Действие второе

Дом *Укко*. Возле печки с чугунами и ухватом суетится *Акку*. За столом молча сидят мальчик и девочка: ждут, когда мать накормит их завтраком. Из горницы выходит *Укко*.

УККО. Сегодня хороший день будет. Смотри, какое с утра солнышко красивое... Послушай-ка, хозяйка! А испекла бы ты пирогов!

АККУ Испечь-то могу, да вот только не знаю, куда из чулана мука пропадать стала... Вчера еще было десять мешков. Утром пошла в чулан — набрать муки. Гляжу, а там мешка не хватает.

УККО. Ну, пропал один мешок. Пироги все равно испечь можно. Когда стемнеет, пойду в чулан караулить муку. Может, поймаю вора.

АККУ. А вдруг вор днем ходит муку воровать?

УККО. А днем пусть дети муку охраняют. Мне надо сети в озеро кинуть. *Юмал* всегда кормить нас не будет. Вчера, когда я на тот берег ходил, он сказал мне, что, как только звезды и месяц доделает, немного еще поживет на берегу озера да и уйдет на небо. У него на небе дом. Поэтому, женушка, надо мне теперь самому о хлебе насущном заботиться. Придется добывать и мясо, и рыбу, и другую еду...

АККУ. Если *Юмал* покинет землю и уйдет на небо, как же мы без него жить-то будем?

УККО. Без бога не останемся. *Юмал* велел мне его образ сделать и каждый день молиться — утром и вечером.

Укко выходит из дому. Берет сети и идет к озеру. *Акку* остается дома. Она накрывает на стол, кормит завтраком детей.

СЫН. Мама! А *Юмал* хороший человек?

АККУ. *Юмал* не человек. *Юмал* — это *Юмал*. Это бог! Без него не было бы ни вашего отца, ни меня.

ДОЧЬ. А мы с братом были бы?

АККУ (со смехом). И вас не было бы. Ешьте скорей да идите в чулан муку караулить, вора ловить. Слышали, что отец сказал?

СЫН и ДОЧЬ (одновременно). Слышали!

Действие третье

Дом *Укко*. Вечер. Солнышко садится за горизонт. *Юмал* зажигает в небе звезды и месяц. Дети уже спят. *Укко*, сдвигая посуду на край, встает из-за стола.

УККО. Так ты говоришь, днем дети вора в чулане не видели?

АККУ (со вздохом). Не видели.

УККО. Приготовь мне свечу. Пойду на ночь в чулан. Может быть, и поймаю там вора...

Акку достает из шкафчика свечу, подает мужу.

АККУ. Ты думаешь, вор муку будет воровать, когда у тебя свеча горит?

УККО. Ну, я же не дурак! Пока не услышу вора, свечу зажигать не буду. Свеча нужна мне для того, чтобы лучше разглядеть вора, когда он придет.

Укко берет свечу и уходит с ней в чулан. *Акку* укрывает детей одеялом, гасит в комнате свечу, ложится спать.

Действие четвертое

Чулан. Возле мешков с мукой на лавке лежит *Укко*. Он нарочно похрапывает: пусть воры думают, будто заснул мужик. Немного погода слышно, как кто-то скребется. Затем кто-то тоненьким голоском пищит: «Пи-пи-пи!» Это три *мышки* на цыпочках крадутся мимо спящего хозяина.

Первая мышь. Чего это сегодня хозяин в чулане спит? С хозяйкой, что ли, поругался?

ВТОРАЯ МЫШЬ. Чего им ругаться? Я думаю, из-за того здесь хозяин спит, что хозяйка обнаружила пропажу муки. Но ведь заснул, горемыка. Умаялся за день...

ТРЕТЬЯ МЫШЬ. Говорила же я, рано еще идти за мукой. Надо было дожждаться, когда *Юмал* на небо жить уйдет.

ПЕРВАЯ МЫШЬ. Кто тебе сказал, что *Юмал* оставит землю?

ТРЕТЬЯ МЫШЬ. Я подслушала его разговор с человеком на том берегу.

ВТОРАЯ МЫШЬ. Уйдет, так пусть уходит. Нам-то чего бояться? *Укко* один, а нас много.

ПЕРВАЯ МЫШЬ. Заканчивайте разговор! Тише, а то проснется хозяин. А до утра надо бы муку до гнезда донести. Зима будет долгая. Всем нам будет голодно без муки.

Одна мышь подходит к мешку с мукой, развязывает его, ложечкой набирает муку из мешка и перекладывает в маленькое ведерко. *Укко* резко открывает глаза, быстро поднимается с лавки и зажигает свечу.

УККО. Теперь-то я знаю, кто у меня муку в чулане ворует! Больше не будете воровать! Попались!

Мыши разбегаются в разные стороны.

Действие пятое

Большой дом *Юмала*. У дверей стоит *Укко*, тихонечко стучится. Дверь открывается, и из дому на улицу выходит *Юмал*. *Укко* кланяется ему до земли.

ЮМАЛ. Здоров ли ты, человек?

УККО. Я-то здоров. Большое тебе спасибо за жизнь нашу!

ЮМАЛ. Что же тогда привело тебя ко мне? По глазам вижу, попросить у меня чего-то хочешь.

УККО. У меня в доме под полом поселились воры. Целый мешок муки из чулана украли.

ЮМАЛ. И кто же ворует, скажи мне, человек?

УККО. Мыши воруют.

ЮМАЛ. Ладно, человек! Сейчас иди домой. Эта беда еще не беда. До вечера я что-нибудь да придумаю.

УККО. Так ведь без муки на зиму мыши оставят!

ЮМАЛ. Иди домой, иди. В течение дня я сделаю для тебя кошку. Ночами будет охранять твою муку. Ты только не забывай ее кормить.

УККО. А чем кошку кормить надо?

ЮМАЛ. Самая лучшая еда для кошки — это рыба и молоко. Иногда давай ей мясо. Можешь кормить сметаной, супом. А теперь иди домой. Жди дома. К вечеру будет у тебя помощник.

Укко уходит домой. *Юмал* остается один. Он начинает делать кошку. Находит спину, живот, голову, лапы. К голове приделывает ушки, усы. Затем *Юмал* на какой-то момент задумывается, что-то ищет. Хватается за голову.

ЮМАЛ. Где же мне для кошки глаза и хвост найти? Погоди-ка! Кажется, когда я делал медянку и гадюку, по ошибке дал им лишнего. Гадюка получила второй хвост, а медянке лишние глаза достались.

Юмал вдыхает в кошку жизнь. Кошка оживает.

ЮМАЛ (*в сторону*). Ты смотри, какая Кошка хорошая получилась!.. (*Кошке*.) Послушай-ка меня, Кошка! Сейчас у тебя пока нет хвоста и глаз. Без глаз и без хвоста жить нельзя.

КОШКА. И как же я тогда жить буду?

ЮМАЛ. Ты, Кошка, иди в лес. Там найдешь Гадюку и Медянку. Скажешь им, что я велел дать тебе глаза и хвост. Хвост пусть отдаст Гадюка. У Медянки возьмешь глаза. Эти глаза очень хорошие. По ночам будешь видеть, как днем.

КОШКА. Как же я в лесу без глаз найду Гадюку и Медянку?

ЮМАЛ. В лес тебя отведет Заяц. Заяц покажет тебе, где живут Гадюка и Медянка. (*Кричит в сторону*.) Заяц! Зайчик! Иди сюда!

Из лесу прибегает Заяц.

ЗАЯЦ. Зачем звал, Юмал?

ЮМАЛ. Возьми Кошку за лапу и отведи ее в лес. Покажешь, где живут Гадюка и Медянка.

ЗАЯЦ. Все будет сделано!

КОШКА. А отдадут ли Гадюка и Медянка мне глаза и хвост?

ЮМАЛ. Отдадут, отдадут! Идите, дети мои, в добрый час. Скажи Гадюке и Медянке, что это я велел отдать глаза и хвост.

КОШКА. А из лесу мне куда идти?

ЮМАЛ. Сюда приходить не надо. Пойдешь на другой берег озера. Там живут Укко да Акку с двумя детишками. Будешь у них чулан от мышей сторожить. Мыши у мужика муку воруют. Укко за это тебя будет кормить и молочком поить.

Действие шестое

Заяц держит *Кошку* за лапу, они вместе идут в лес. Сразу же находят жилище *Гадюки* и *Медянки*: они живут друг против друга и лежат каждая на своей лужайке — греются на солнышке.

ЗАЯЦ. Здравствуйте, змейки!

МЕДЯНКА. Здравствуй, Заяц! Чего это ты по лесу бегаешь? Такой сегодня день хороший — лежи да грейся! (Кошке) А ты кто?

КОШКА. Я Кошка!

ГАДЮКА. Подойди поближе, Заяц!

ЗАЯЦ. Не подойду, боюсь. Нас с Кошкой к вам отправил Юмал.

ГАДЮКА. Тогда другое дело. Чего же он от нас хочет?

КОШКА. Юмал сделал меня только сегодня. Но для меня у него не нашлось глаз и хвоста. Господь сказал, что, когда делал вас, случайно одной отдал две пары глаз, а другой — два хвоста. Юмал велел у Гадюки взять хвост, а у Медянки — глаза.

МЕДЯНКА. Правду говоришь. Мне Юмал дал лишнее...

ГАДЮКА. А мне хвост не нужен...

КОШКА. Так дадите мне глаза и хвост?

ГАДЮКА. Раз Юмал велел отдать, значит, отдадим.

МЕДЯНКА. Конечно, отдадим! Нам лишнего не надо.

Гадюка принесла из своей норы хвост и отдала его *Кошке*, а *Медянка* отдала глаза. Приложили глаза к *Кошкиной* голове — глаза ожили. Пришили хвост — *Кошка* на радостях хвостом завиляла. Поблагодарила *Кошка* *Зайца*, *Гадюку* и *Медянку* и сама отправилась на другой берег, где жили *Укко* да *АККУ* с двумя детишками. Идет и песенку поет.

КОШКА.

Мыши любят из чулана
воровать-таскать муку;
только радоваться рано,
нагоню на них тоску.
Бог работу мне подкинул:
от мышей муку хранить!
Есть к работе этой стимул —
будут там меня кормить.
Тра-ла, тра-ла, тра-ла, тра-ла,
будут все меня кормить.

Кошка подходит к домику *Укко*. В небе зажигаются первые звездочки. Из большого дома на улицу выходит *Юмал*.

ЮМАЛ. Теперь, думаю, на земле все хорошо. Пойду-ка я сегодня домой — на небеса. Пусть Укко да Акку не забывают меня. Тогда все у них будет хорошо.

Андрей Грицман

«...и мне приснился стих»

Первые стихи я начал писать в школе, лет в пятнадцать. Но их даже вспоминать не хочу! К сожалению, помню некоторые строки и строфы, и самому становится стыдно. Я еще тогда «не родился», не прорезался. Я вырос в интеллигентной среде с особым отношением к стихам, — отец дружил с Самойловым и Слуцким. То есть я был в поле облучения классиков, страшно было подойти к этому делу, называемому Поэзия, и думаю, что это не позволило мне прорваться самому раньше. Не было еще «судьбы поэта» («Всё есть в стихах, и то, и это, / но только нет судьбы поэта, // Судьбы, которой обречён, / за что поэтом наречён» — Самойлов). Но оказалось, что благополучные советские московские детство и юность не отменяют «судьбы поэта». Но тогда — «дикости» не хватало. («Дикое мясо» Мандельштама).

Всерьез пошло после двадцати, когда жизнь стала обтесывать и я почувствовал, что появилось *право на стихи*. Кроме того, я считаю, что мне «не повезло»: как-то не случилось юношеской компании, где читают друг другу только что написанное, не наслушался сакраментального: «старик, ты гений», и тому подобное. Из этого глуповатого общения всегда что-нибудь выходит. Ты не один.

Я не верю во все эти разнообразные утверждения: «писать стихи после тридцати смешно»! или «и только возле сорока вдруг прорывается строка» (Самойлов). Рецептов тут нет. Мы знаем массу примеров и раннего цветения, и раннего отцветания. Стихи — это состояние души. Душа молчит, а потом обретает язык. Или возбуждённо бормочет, сбиваясь на стихи, а потом надолго замолкает. Каждый «практикующий стихотворец» это знает. Создать грамотное стихотворение, пользуясь большим опытом и репутацией (то есть уверенностью в себе), — не проблема. Это хорошо известно на примерах шестидесятников и советских поэтов. Да и в наше «смутное время».

Я считаю, что первое настоящее стихотворение пришло, когда мне было лет двадцать пять, то есть поздно. Но это было странное и настоящее. Я спал, и в середине ночи мне приснился стих:

И он узнал, что смерть не пустота,
не одиночество, а негатив былого,
хранящий только общие места
после того, как сказанное слово
покинуло холодные уста.

Вот так и приснилось — слово в слово. Я проснулся, сел за стол, записал, лег и уснул снова. Так у меня бывало потом несколько раз в жизни. Но, к сожалению, несколько стихов пропало: было лень вставать или болел с перепоя и т.п. Потом вспоминалось, что это были хорошие стихи. И даже помнил о чем, но ритм был потерян, и пытаться восстановить невозможно — как гальванизировать мумию.

Вот, кстати, мое недавнее:

Я проснулся, забыл две строчки.
А потом нахлынула муть с панталыку.
Так подумаешь, а что проку, не проще ли?
Вести, хлопоты, как из ведра с дыркой.
.....
Я бреду от холмика к холмику,
И не видно на расстоянии
В дымке утренней того облика.
Что-то там мерцает за облаком,
А приблизишься — медленно тает.

Мой первый стих по-английски появился, естественно, гораздо позже, после нескольких лет жизни в Америке, и тоже случайно («стихи не пишутся, случаются»). Я спорил о чем-то со знакомой, у которой английский — родной язык: об эмиграции, перемещении душ, о «перемещенных лицах» (DP), и у меня появилось стихотворение, как бы доказывающее мою точку зрения. У меня это вообще не редкая ситуация — когда я в разговоре или в споре не могу логически что-то доказать, мне естественнее написать стих, метафорически доказывающий мою правоту. Каждому из поэтов знакомо это — когда получается, знаешь, что ты прав и чувствуешь большую внутреннюю силу. Средневековое *magister dixit!* Ну а потом снова возвращаешься чёрт знает куда («когда б вы знали, из какого сора»).

Тот стих куда-то пропал, но помню название — «Плывущие сердца» (Floating hearts). И это случайное событие дало мне силу. 27 лет назад. С тех пор я пишу и по-английски, и нашел свой голос, свою интонацию.

Душа обжилась на новом месте и заговорила на другом наречии, более естественно отражающем ландшафт жизни, ритм, звуки и запахи. Билингвальных поэтов русских мало, всего несколько. Но в Америке, в этом «плавильном котле», появилось немало двуязычных авторов, которые построили новый дом на этих берегах: испаноязычные, китайцы, много авторов из Восточной Европы и т.д.

Я никогда специально не выбираю, на каком языке написать вещь. Это происходит само собой, в зависимости от обстоятельств. А исповедь души практически непереводаима. Разве что на какой-то «третий» язык. На котором, видимо, и говорит поэзия.

Анатолий Цирульников

Поцелуй юкагирки¹

Записки путешественника

Мой доктор, обыкновенно спокойно и весело воспринимающая мои дальние побеги из Москвы, в этот раз решительно воспротивилась — Северный Ледовитый океан в декабре показался ей чересчур. Я решил заручиться поддержкой профессионалов и позвонил Дмитрию Шпаро, знаменитому путешественнику, не раз бороздившему эти просторы. «А почему именно в это время года? — спросил Шпаро, заметив, что был там не в декабре, а в начале марта, но это, в общем, то же самое. — Погода неустойчивая, можете попасть в самое пекло». Слово «пекло» применительно к холоду, услышанное из уст опытного путешественника, меня отрезвило. «Поезжайте весной», — посоветовал он. Но весной что-то не заладилось, и осенью тоже, и когда ровно через год, в то же самое время, в декабре, снова выпал шанс, я понял: сейчас или никогда.

Зачем я ехал на Ледовитый? А я и сам не знаю. Тянуло что-то. Без этой необъяснимой тяги человека к неизведанному путешествие не обходится. Но это одна сторона дела. Другая сторона была вполне рациональной, поскольку я отправлялся не в свободное плавание, а в экспедицию. А всякая экспедиция имеет цель и замысел...

Школа обращается к жизни

Я кочую по России без малого лет сорок, а последние годы занимаюсь тем, что называется «социокультурная модернизация образования». Слово «модернизация» мне категорически не нравится по причине заболтанности. Да и вектор страны направлен в другую сторону. Но как бы ни называть: речь о другом взгляде на образование и его возможности.

Анатолий Маркович Цирульников — ученый и писатель, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор. Автор оригинальных трудов по истории школьных реформ, этнокультурным проблемам образования, развитию инноваций, проблемам сельской школы; основатель ряда новых направлений в науке, в том числе социокультурного подхода к развитию образования в регионах. Лауреат премии Союза журналистов России (2004) и ряда центральных изданий, в том числе журнала «Знание—сила» (2016); книги автора отмечены как лучшие работы по развитию современного образования (2004, 2006, 2008). Постоянный автор «Дружбы народов», лауреат специальной премии нашего журнала «От Урала до Дуная» (2010).

¹ Фрагменты книги, которая готовится к печати.

Одна возможность такая: перестать школе заглядывать в рот ведомству, гоняться за рейтингами и баллами, а обратиться к жизни. Стать одним из способов решения жизненных проблем людей. Опыт показывает, что это возможно.

В срединной Якутии, в Таттинском улусе, есть село Баяга. Обыкновенная школа там соединилась со школами народных мастеров. В результате возникли маленькая гостиница, служба такси, центр прикладных ремесел — начала складываться нормальная инфраструктура деревни.

Другой проект, большего масштаба: «Дуальное обучение в условиях добывающей промышленности». Немецкая модель соединения теории с практикой, образования с работодателями. В Германии это хорошо отлажено, российские начальники съездили — тоже захотели. Но у нас — специфика. Россия — сырьевая страна, живет добычей ископаемых, в большой степени вахтовым методом. Однако вахта — не только метод, но и мировоззрение. Мировоззрение временщика: «После меня — хоть потоп».

До недавнего времени в Якутии и других районах Севера к алмазам, золоту, газу, нефти коренное население не допускалось. Объяснялось это «особенностями менталитета» — дескать, какая работа, если весной на охоту тянет. Теперь ситуация вроде изменилась. Согласно Программе социально-экономического развития республики предусмотрено открыть 150 тысяч рабочих мест для местного населения.

Казалось бы — решение. Но дело в том, что коренное население со своими традициями, ценностями, укладом жизни, попадает на ту же вахту, и эта «машина» превращает их в тех же временщиков.

Чтобы этого не случилось, в немецкую модель нужно внести русскую поправку — гуманитарную составляющую, экологическую культуру, правовые основы — то есть изначально формировать проект как *социокультурный*, что мы и пытаемся сделать.

Еще один яркий пример неожиданного разворота образования к жизни — проект «Железнодорожная школа».

В Мегино-Кангаласский улус Якутии недавно пришла железная дорога, ответвление БАМа, называется АЯМ — Амуро-Якутская магистраль. И с ней вместе — не только надежда на новые рабочие места и более дешевые товары, но и острые проблемы. С появлением «железки» и мегапроектов по энергетике, переработке полезных ископаемых население района в ближайшие годы вырастет в два-три раза. Резко увеличится миграция с других российских территорий и из ближнего зарубежья. Вероятно, обострится криминогенная обстановка, возможны эпидемии. Райцентр из села с традиционным укладом перенесется в стоящий на семи ветрах поселок новоселов, возникнет опасность разрушения национальной культуры.

Но в данном случае произошло удивительное явление. Незадолго до прихода железной дороги учителя, жители района, провели анализ ситуации: той, что есть, и той, что может возникнуть. Появилось несколько проектов: «Создание политехнического полигона сети школ, расположенных вдоль железной дороги», «Программа поддержки молодых педагогов в условиях поселка с быстро меняющейся экономикой», «Дорога дружбы» (создание воспитательной среды в условиях разных культур и национальностей).

Иными словами, образование стало опережать внешние хаотические социально-экономические перемены!

Не нарушая Белого безмолвия

А теперь посмотрим, что в Арктике. Оленёкский эвенкийский национальный район, по краю ходят промышленники. Но пока еще здесь «Белое безмолвие», как у Джека Лондона. Четыре населенных пункта, расстояние между ними — от 300 до 600 км. Умирает родной язык ...

Однако люди включились в работу, и в каждом поселке сложился свой проект. В Оленьке начали даже не со школы — с детского сада. Воспитатели стали ездить по стойбищам; старинные игрушки практически не сохранились, но они описывали их со слов старожил, соединяли осколки, воссоздавали старинные игры и игрушки и осовременивали их. И через эти игры и игрушки начали восстанавливать родную речь. Детский сад превратился в центр возрождения эвенкийского языка и национальной культуры.

В другой части улуса, куда мы добирались на железном корыте, прицепленном к снегоходу «Буран», родилась идея кочевой школы. Жизнь эвенков-оленьков — вечное кочевье. А дети и родители хотят быть вместе. Школы-интернаты, заполонившие северные просторы до Берингова пролива, обрывают связь поколений малочисленного народа. Но и оставить детей в кочевье нельзя, они должны учиться. Решение лежало где-то посередине.

Мы соединили стационарную школу с кочевой, половину учебного года дети находятся в поселке, в обычной школе, а полгода — в домиках на маршруте или кочуя вместе с учителем. В данном случае им оказалась жена бригадира оленьков. Учительница начальных классов для маленьких, тьютор для подростков и помощник для старшеклассников, у которых возникли «индивидуальные маршруты» — образовательные программы разного профиля (вовсе не обязательно оленьководческого, есть ребята, которые специализируются в дизайне, журналистике). Плюс новые информационные технологии (там, где есть интернет).

В поселке, где работает Ленская золотодобывающая экспедиция, создали дуальное обучение, а еще в одном открыли агрошколу, благодаря которой традиционное для якутов, но утерянное в этом районе коневодство начало возрождаться (с помощью оленьководов-эвенков!).

А потом живущие здесь русские, евреи, якуты, эвенки все эти узлы связали в сеть — и родился проект «Сетевая модель муниципальной системы образования как средство образовательной поддержки социально-экономического развития района». Название тяжеловесное, но смысл в том, что можно что-то сделать, не нарушая Белого безмолвия.

С такими проектами улучшения жизни с помощью образования мы уходили все дальше за Полярный круг и вот добрались до Северного Ледовитого. Может, и здесь что-нибудь придумаем? Тем более, что существуют международные проекты — «Учитель Арктики» и «Школа Арктики». Есть идеи использования «цифровой педагогики», даже там, где скайп зависит от погоды, где интернет неторопливый, как местное население.

Может быть, использовать кейсы с инструкциями? Или радио, которое применили, как мне рассказывал когда-то норвежец Пэр Дюлон, в ходе школьной реформы на островах Индонезии? Разные могут быть решения, если не высасывать проблему из пальца, а идти от жизни. Нужен анализ жизненной ситуации.

А для этого необходимо вжиться в Север. Окунуться в полярную ночь. Если тут

не жил, что ты можешь советовать взрослым и детям, большую часть года не отличающим дня от ночи? Для этого наша экспедиция...

Испытание термобельем

Перед отлетом в Арктику, еще в Якутске, мой друг и вечный спутник по экспедициям Николай Иннокентьевич Бугаев¹ провел эксперимент. Побегали мы немного по рынкам в поисках утепления. А заодно испытали термобелье: в московском универмаге сказали — замечательное, рассчитано на сорок градусов.

В Якутске туман, снег... На градуснике немного меньше сорока с ветром, и бегали мы недолго. Но результат был очевиден: несмотря на водку и горячую еду, холод не выходил из груди всю ночь. Спас домашний шерстяной платок, в который жена умоляла меня заворачиваться целиком.

Я бывал в Якутии в разное время года и при минус 45, когда солнечно, сухо и безветренно, чувствовал себя отлично. Но тут понял, что должны были ощущать Амундсен и его спутники. А ведь это было лишь начало, еще не Заполярье.

Теперь без домашнего шарфа и купленных на рынке в Якутске верблюжьих штанов гигантского размера (Бугаев сказал: в самый раз, и действительно, их можно было натянуть до горла), верблюжьих же наколенников, а также маски с прорезями для носа и глаз (а вот это, как оказалось, было лишним) я не сделаю ни шагу...

Академик Виктор Маркович Тихтинский-Шкловский, директор Центра патологии речи и нейрореабилитации, руководитель соответствующего направления работы Минздрава, знающий Север не понаслышке, взял с меня слово собрать данные по больницам. «Дорогой мой, узнайте все — число коек, расстояния между больницами, как добираются на транспорте...» У него за здешнее население болела душа. В куда более мягких краях России только семь процентов выпускников школ здоровы. Да и то, заметил Шкловский, «относительно здоровы». А тут Крайний Север.

Райцентр Аллаиховского улуса, поселок Чокурдах, куда мы летим, в переводе означает, просветил меня Бугаев, «кремневый», «место, где есть кремень». «Скоро так светло не будет, — “обнадежил” он. — Я там жил в детстве. Время было такое — укрупняли, разукрупняли, моим родителям места в срединной Якутии не нашлось, и они отправились к Ледовитому океану. Там я и учился...»

В нашей экспедиции, помимо Бугаева и меня, еще Александра Егоровна, Шура Габышева, курирующая в Институте развития образования проект «Школа Арктики». Мама двоих детей, скромная, вежливая и на редкость, как оказалось, выносливая женщина.

Крепко мы застряли в аэропорту, четвертый раз рейс откладывается. Шура посмотрела в интернет: в Аллаихе туман. Начинается настоящая якутская зима — с морозами, туманами, ветрами...

¹ Про него я столько раз писал в разных книжках, что скажу только: в Якутии это человек номер один. Мыслитель, педагог, лидер общественно-педагогического движения, двигатель нововведений, душа и организатор всякого умного дела, поэт, филолог, кочевник, античиновник и — удивительное дело — в настоящий момент первый заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации учителей.

Высокие метели

Утром со второй попытки взлетаем в насквозь промороженном самолете. «АН-10 — самый надежный самолет арктических линий». Высота пять тысяч метров, время в пути три часа десять минут, разница во времени с Якутском два часа, с Москвой — восемь.

В небесах нас человек тридцать. Восход. Полоска зари. Много озер, зимой у них еще более причудливые очертания. Метель метет неожиданно высоко, прямо под нами. Оказывается, на земле мы видим только ее нижнюю часть, «поземку». А вообще метели бывают высокие.

Мутно, картина внизу смазалась. Поднимаемся за облака. Полтора часа спустя начинаются горы, поросшие лесом в подножиях и в ложбинах, и голые снежные вершины. Еще светло. И никакой тебе метели. Мы летим на северо-восток, прямо в полярную ночь. Но почему же все день и день, где же ночь? «Ха, — говорит Бугаев, — кто из нас физик?» Он имеет в виду мою прежнюю специальность — когда-то был учителем физики. Впрочем, нетрудно сообразить: наверху нет ночи. Ночь — внизу.

До посадки полчаса, вдруг в заледенелом самолетике объявляют: Чокурдах не принимает по метеоусловиям, сядем в другом районе, на Белой горе. Ничего нельзя предвидеть заранее. Погода меняется, от этого зависит маршрут.

«Вы же читали Амундсена, Нансена, — говорит Бугаев. — Экспедиции на Север часто не выходят. Сезон готовятся, всё, отправились, а погода не пускает — и возвращаются. Так что вы не первый. Радуйтесь: новый, Абыйский улус узнаем».

После прочел в интернете, куда мы тогда сели. Колымская низменность. Район, соседний с «нашим». Территория — 69,4 тыс. км², река Индигирка, 12000 озер. Преобладает лесотундра. Численность населения 4196 человек: якуты, русские, эвены, эвенки... Районный центр — Белая гора.

Муть. Только река петляет, выделявая кренделя. Опять высокие метели. Вспомнилось популярное советское кино: хор народной песни, заблудившийся на просторах отчины, — то он у белых медведей, то у оленеводов, то на палубе военного корабля. «Весенней ночью думай обо мне, осенней ночью думай обо мне и зимней ночью думай обо мне...»

Самолетик раскачивается, как качели. Пассажирка родом из Чокурдаха сообщила: «Раньше у нас были зимы теплые и пуржистые, а теперь холодные и туманные». Набросал с ее слов медико-педагогическую карту района: в поселке Чокурдах — две школы и больница, до Русского Устья 120 км, до Оленегорска 130 км, до Бёрёляха по воде 420 км. В Русском Устье — амбулатория, в остальных поселках фельдшерские пункты. Добраться, случись что, можно лишь вертолетом. «Я здоровый человек, — сказала местная жительница, — но на “Буране” ездить отказываюсь».

Но и вертолет может не спасти. Из Среднеколымска, где находится вертолетная база, до Чокурдаха два часа лёта, плюс — до поселка. Пока сделаешь заявку, пока что... Парня, был случай, придавило, не спасли. «Как люди бедные живут в поселках? — вздыхает попутчица. — Овощей нет, о фруктах молчу. Но живут. В основном народ в Чокурдахе. Хотя и тут мало продуктов, частный магазин закрыли. Живут, пока живы старики. Старики умрут — молодежь уйдет».

«Оленегорск — холодный поселок, — добавляет побывавший там до меня Бугаев. — Очень холодно в трехэтажных домах, где живут эвены. И никто не

беспокоится: ничего, мол, они к холоду привыкли в чуме. В Оленегорске есть кочевая школа. А оленей нет. Беженцы появились — учителя с востока Украины».

Приземлились на Белой горе, где еще нет полярной ночи, посидели несколько часов в маленьком деревянном аэропорту с одной комнатой и полетели дальше. Наконец сели в Чокурдахе, в темноту. По радио сообщают: «Приготовьте паспорта. Вы прибыли в погранзону».

Боятся, что на собаках в Америку уедем, что ли?

Энциклопедическая справка

Аллаиховский улус (район), расположен на северо-востоке Якутии, за Северным полярным кругом. Занимает дельту Индигирки на побережье Восточно-Сибирского моря. Площадь территории: 107,3 тыс. км². Расстояние до Якутска наземным путем — 2700 км, водным — 2800 км, воздушным — 1290 км.

Многочисленные притоки и озера. Нельма, чир, омуль, осетр, муксун... Население — 2764 человека (по данным 2014 г.). Якуты, русские, в том числе русско-устыинцы, эвены, два процента юкагиров, украинцы, эвенки, чукчи... Традиционные промыслы — рыбалка, оленеводство и охота. 7 небольших населенных пунктов, разбросанных друг от друга на больших расстояниях. Месторождения олова, золота, самоцветов, огромные запасы мамонтовой кости. В 2009 году на высоте девяти метров от уровня моря, в двух метрах ниже кровли берегового склона был найден «хромский мамонт» (мамонтёнок Хрома). Погиб в 6-7 месяцев. Длина полтора метра, вес 100 кг.

«Ужас!»

Ночуем в частной гостиничке с «золотым» (белым с позолоченными краями) унитазом. На первом этаже живут хозяева, на втором расположились наша экспедиция и два врача, прилетевших из Якутска обучать первой медицинской помощи медсестер, рыбаков и оленеводов. Программу предложили французы, организация «Врачи мира». Профессора-медика зовут Гагарин Владимир Иннокентьевич. Эндокринолог, консультант республиканской больницы, говорливый и очень строгий для подчиненных и пациентов доктор с отличным чувством юмора, повторяющий через каждое слово: «Ужас!» С ним — методист, молодой преподаватель якутского медицинского колледжа Егор Кривошапкин. Улус в республике лидирует по сахарному диабету. Приехали выяснять — почему.

Поговорили о состоянии отечественной медицины. Я вспомнил, как в одной из лучших московских клиник во время операции на сердце (мне сделали местную анестезию) услышал диалог хирурга с медсестрой. Врач распорядился подключить какой-то аппарат, а она отвечала: «Да он сломанный». «Как сломанный?» — удивлялся хирург. «Совсем сломанный», — уверяла сестра. В этом месте анестезиолог мягко «выключил» меня, чтобы я не прислушивался к рабочим моментам.

В ответ Гагарин поделился другой историей из «золотого фонда» отечественного здравоохранения: если в больницу пойдет жена заведующего, ей предоставят гибкий французский шланг. А если посторонний — дадут глотать толстый. Профессор спрашивает медсестру: ты чего другим не даешь гибкий? — «Ну, — отвечает та, — если всем давать, он же порвется».

То же самое с инсулином и французским лекарством того же назначения, без

которых не выживет диабетик. Французское лекарство не для всех. На карте больного делают пометку «ОВ» — «особое внимание» к данному пациенту. При этом пишут карандашом, чтобы можно было стереть.

Хотя были и есть еще доктора, спасающие людей в ночи...

Мокровский

Он был родом из Вологды, отец — известнейший врач, организатор здравоохранения, мама — сестра милосердия. Закончил в Ленинграде мединститут и в тридцатом году уехал в Якутию. Работал на полюсе холода в Верхоянске, затем добился назначения в Аллаиху. Но прежде чем ехать к месту новой работы, добыл средства, заготовил и сплавил по реке лес для строительства больницы. Было у Мокровского твердое намерение — построить в Заполярье больницу.

Сохранился дневник молодого доктора.

«Предложили срочно выехать в Мому для ликвидации паратифа. Параллельно с лечебной работой сделал плот в 260 бревен. Поясница разломлена, бревна в плоты пришлось вязать самому, раньше никто плотов по Индигирке не сплавлиал». Около Зашиверска плоты разбились вдребезги. Местное население помогало вылавливать плывущие бревна и вязать их снова. И так происходило неоднократно.

Доктору Сергею Павловичу Мокровскому в те времена было двадцать с небольшим лет. Что-то влекло его в эти суровые края.

Больницу строили люди, большинство из которых до этого не держали в руках плотницкого инструмента. С шести утра доктор тесал бревна, пилил доски, разбирал занесенные илом плоты, а с одиннадцати лечил больных. Год спустя — немногословная запись: «Больницу построил. Досталось чертовски трудно...» Клиника по тем временам вышла великолепная: четыре просторные палаты, операционная, родильное отделение, амбулатория с аптекой.

В книге «Русское сердце Арктики» старожил Алексей Чикачев вспоминал, что доктор был от природы человеком разносторонне одаренным. Выучился говорить по-якутски и эвенски. Приручил волка по имени Эгоном (в местном краеведческом музее сохранилась фотография молодого врача в обнимку с волком). Ездил самостоятельно в отдаленные урочища на оленях, в собачьей упряжке. В трудную минуту шел на помощь людям, невзирая на пургу и полярную ночь. Недавно еще был жив человек, которому Мокровский когда-то сделал операцию, удалив раковую опухоль на щеке. О врачебном искусстве доктора ходили легенды, он был и хирург, и терапевт, и акушер-гинеколог, и фтизиатр, и психоневролог. Его авторитет у населения был непререкаем.

Мокровскому не было тридцати, когда он погиб — нелепо, от случайного винтовочного выстрела. А вокруг больницы вырос поселок, ставший райцентром.

Разговоры за самоваром

Кстати, в детстве Бугаев жил на улице Мокровского. Польских фамилий в этих краях вообще было немало. Политесыльные: знаменитый геолог Черский; автор первого якутского словаря Пекарский, этнограф и писатель Серошевский... Золотые имена в культуре. Спустя многие десятилетия, в наше время, власти не захотели ставить памятник полякам, которые так много сделали для Якутии. Старый памятник

развалился, а новый в Якутске не поставили из-за санкций. Глупые, мелочные власти. Куда деваться от всего этого? Зато на Ледовитом, где белые медведи, уже строят военные базы. Не нужен власти народ на Севере, да и вообще не нужен.

Русская история — мифы и иллюзии. Вечные вздохи о золотом веке в прошлом. О Северном морском пути. О бортах, прилетавших за рыбой и завозивших в поселок продукты, — в магазине, говорят, персики были, как в Москве. Сейчас по Северному морскому пути суда не ходят, а недавно построенный в Чокурдах рыбзавод большую часть года простаивает. «Теперь за рыбой в основном приезжают командировочные», — рассказывал хозяин нашей маленькой гостиницы за чаем, кипящим безостановочно, круглые сутки, в электрическом самоваре. К чаю подавались бутерброды с икрой из ряпушки, белорыбицы — этого добра, недоступного в других местах России, тут ешь — не хочу.

В доме натоплено, даже чересчур, но пар костей не ломит, за окном — минус пятьдесят. Белые с золотом унитаза и умывальник ласкали глаз. Только вот из горячего крана шла черно-бурая вода от дымящей кочегарки...

Граница нерушима

Но утром вода была почти белой. И снег за окном белел. Полярная ночь, оказывается, не черная, а сероватая, со звездами над головой. Горела тоненькая полоска утренней зари. Были видны Нептун — яркая звезда, которой я раньше никогда не наблюдал, и Луна со всеми своими кратерами.

Зашли всей компанией в Управление образованием, к заведующей Любви Дмитриевне Щелкановой. Она рассказала про местные достопримечательности. Аллаиховский улус начинался с Аллаихи. В шестидесятые годы ее как неперспективную деревню ликвидировали, а «твердый, как кремь», поселок Чокурдах разросся и стал райцентром.

Сейчас в улусе пять населенных пунктов, поправила Любовь Дмитриевна Википедию. Чокурдах, Русское Устье, где живут люди, называющие себя русско-устынцами, эвенский Оленегорск, якутский Нычалах (Быянныр) и смешанный якуто-эвенский Чкалов — Бёрёлях, что можно перевести с якутского как «село волчье». А юкагиры — везде, размытые.

В Чокурдах детская юношеская спортивная школа и школа искусств с филиалом в Оленегорске. В наслегах¹ при школах садики, в райцентре — три. Две трети населения района живет здесь. Большинство молодежи уезжает.

«Но по сравнению с другими улусами вдоль южного побережья Северного Ледовитого океана, — заметил Бугаев, — здесь больше остаются».

«Одиннадцать человек, молодых, приехали из других улусов, — рассказала Любовь Дмитриевна. — Мы ждали с Украины, но без документов погранзаства не пропустила. Поэтому, за исключением одной семьи, приезжих украинцев нет, только оседлые».

В 70—80-е годы население района было вдвое больше. Крупный поселок, четыре воинские части, порт. Кто-то за туманом ехал, кто-то за рублем. В начале шестидесятых тут была одна из лучших посадочных полос в Заполярье.

¹ Наслег — низшая административная единица Якутии.

История этих мест сходна с другими. Старожилы помнят село Ожогоино, откуда с пересадками можно было долететь до Харькова. Помнят поселок Крайний — там добывали олово, в Похвальном был прииск, жили люди в юкагирском селе Ойтунг... Сколько же сел, поселков исчезло по безалаберности и глупости с карты Севера!

Школьная картинка сейчас такая. 491 ученик, из них в райцентре более 300. 34 ученика в Устье, 32 — в Оленегорске, 23 — в Берелях, 8 — в Нычалах. В целом — снижение: несколько лет назад было 523, а до этого — 700, за десять лет число учеников сократилось наполовину.

В райцентре построили современный рыбзавод, но работает он только летом, во время путины. Набирают на сезонную работу женщин для ручной обработки рыбы. А так — лишь бюджетная сфера, магазин. В Русском Устье — рыболовецкая община. Есть охотники на песца, но сбыта нет.

Прежде были звероферма, колхоз, пушные фермы в поселках. Сейчас — доходят слухи до Северного Ледовитого — опять вроде возвращают советское. Холодные, ледяные волны прилива и отлива...

От погранзаставы осталось два бойца, проверяют в аэропортике документы: не залетел ли в эти благодатные края американский шпион. Чтобы из Якутска добраться к родственникам на юг улуса, в Оленегорск, Нычалах, требуется вызов из северного Чокурдах. «Если бы эти два пограничника, — по секрету сообщила мне Любовь Дмитриевна, — знали, что вы едете в поселки, потребовался бы вызов оттуда».

Но дело налаживается, страна встала с колен и оправилась. Вышел указ главнокомандующего о создании полярных войск и новой воинской специальности — «полярный стрелок». И стрелки уже, говорят, имеются на одном из островов в сторону Тикси. «Граница нерушима, — твердо сказал Бугаев, — мы вам Северный полюс не отдадим!»

Вышли из Управления образования и пошли по улице, закутанные с головы до ног, мимо солдатских казарм, в одной — теперь магазин.

На кочах, на «ветках», на ихунах

Зашли погреться и обогатиться культурой в уникальный Музей природы тундры и охотничьего промысла, который основал местный краевед Дмитрий Алексеевич Лебедев. В середине 70-х была одна комната, которую заполняли тем, что приносили жители. Они и до сих пор приносят — котлы, чугуны неизвестно какого века. Когда берег рушится, находят мамонтовые бивни, рассказала потомок основоположника музея Любовь Лебедева. Протяженность территории района с юга на север 1000 км, с запада на восток 400 — много чего найти можно.

Узкая, выдолбленная из ствола лодка — «ветка». На фотографии основатель музея плывет на ней по реке. Каждый год школьники с преподавателем отправляются в экспедицию, живут, как предки, в балаганах¹, обрабатывают рыбу, таскают воду и топят старинную печь — это не этнография, многие и сегодня в этих краях так живут.

Но связь с внешним миром поддерживается. На полевую практику приезжают студенты из Якутского университета. Проходят научные экспедиции: голландцы два года здешние края изучали. Научная станция «Чокурдах» Института биологических

¹ Одно из значений слова «балаган» — якутская юрта.

проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН исследует тундровые почвы — вечная мерзлота здесь меньше оттаивает.

Немало знаменитых путешественников прошло по этим местам.

Первые русские приплыли на лодках-кочах четыреста лет назад, спасаясь от погромов Ивана Грозного. Четверть века спустя, при другом царствовании, до новых земель добрался казак Иван Ребров со товарищи. «Земля юкагирская полна народу. Очень много рыбы. Очень много людей на собачьих упряжках...» — писал посланник царя. В конце девятнадцатого века здесь прошла экспедиция барона Э.В.Толля, свято верившего в существование большого материка Арктиды — Земли Санникова. На борту шхуны «Заря» находился молодой лейтенант, будущий адмирал Колчак.

В начале двадцатого века в Русском Устье появился ссыльный эсер В.М.Зензинов. Он прожил здесь девять месяцев, потом уехал в Америку и написал там замечательную книгу «Старинные люди у холодного океана». О говоре русско-устынцев сообщил: «Это, несомненно, русский язык, но XVII, а может быть, и XVI века».

После революции здесь оказался удивительный человек, кругосветный путешественник Г.Л.Травин, приехавший к Северному Ледовитому в 1929 году на... велосипеде. Судя по сохранившейся фотографии, был человек красивый, светлый, местные говорили: «Бог спустился на белом коне» (правда, велосипед у него был малиновый).

Сковородка с оладушками

Люблю маленькие музейчики в забытых богом землях. Чего в них только нет.

Часовенка, построенная из приплывшего материала. Дети и женщины, рассказывала сотрудница, вылавливали из реки крюками деревья, крупные стволы шли на постройку, мелкими отапливали жилища.

На этой реке в XVII веке стоял многолюдный город Зашиверск, погубила его оспа.

Подробная история здешних мест не написана, только фрагменты. Никто точно не знает, когда появились здесь первые люди. Откуда пришли юкагиры, а за ними эвены, якуты, русские...

Район образовался в 1931 году. На фотографии в село Нычалах завозят лошадей и рогатый скот. В селе Чкалове Бёрёляхского наслега сохранилось и поныне знаменитое «кладбище» мамонтов. Близ сел Ожогоино, Шаманово, Хайагастах находились сталинские лагеря. Когда людей выпустили, села ликвидировали.

Речушек и озер здесь много больше, чем людей. На что похожа тундра? Один якутский писатель сказал: представьте себе огромную сковородку, на которой жарится много оладушек. Живут люди на этой сковородке.

Розовая чайка

С середины ноября чуть показывается багровое солнце. «И когда оно поднимется, в конце января, — рассказывает Любовь Христофоровна, — мы отмечаем праздник цветения тундры. Очень быстро меняется погода. Летом платье наденешь, а может снег выпасть». И в снегу — голубика, шикша, самая северная на свете морошка...

Тут есть местность, где произрастает древнейшая лиственница, крученая, нека-

зистая. В ресурсном резервате изучают белого журавля — стерха, здесь он гнездится, а зимует в Китае. Утки разные: очковая гага, чирок, черный гусь, казарка... Тундровые зайцы и волки, очень крупные. Турухтаны, тюлени. Белый песец, которого русские довели до Тихого океана. Белая сова — хаар эбэ, «снежная бабушка» по-якутски. На стене музея — огромная шкура белого медведя, забредшего с океана, под ней мы сфотографировались.

В завершение осмотра — атрибуты охотничьего промысла. Черкан (ловушка) для горностая. Собачья упряжка. Американский винчестер и русская берданка, дореволюционная. Длинный женский якутский нож, действующий как рычаг... Запомнилась почему-то розовая чайка.

«Она розовая, — пояснила Любовь Христофоровна, — только когда живая».

Все хорошо, когда живое. Этот музей — о живой тундре.

Собачьи ботинки

Едем в Русское Устье. Мы с Бугаевым на нартах, а Шура Габышева на снегоходе, за широкой спиной нашего проводника Евгения Стрюкова. Женя — человек серьезный, работал в МЧС. В Управлении образования отвечает за ОБЖ — не столько за учебный курс, сколько за реальную безопасность живущих в районе детей и взрослых. Свою точку зрения на этот предмет Евгений выражает так: «Где-то по дороге к нам Конституция Российской Федерации теряется: нет пожарной части в улусе, нет полиции, нет грузопассажирского транспорта».

Поэтому — на нартах.

В Москве интернет обманул с прогнозом погоды, сообщил, что в Устье у океана — около нуля. Оказалось — далеко за 40, да на «Ямахе», да с ветерком! Хорошо, что в последний момент в Якутске купил те самые верблюжьи штаны на двухметрового человека, натянул их на грудь. Евгений принес валенки, легкую куртку от ветра и комбинезон — вот и все обмундирование. Хозяин гостиницы одарил тулупчиком со своего плеча, но без пуговиц. Я запахнул тулуп, а Бугаев лег на меня, выполняя роль застежек.

Евгений завел мотор, и мы поехали в полярной ночи в каком-то ведомом только ему направлении. Я лежал и чувствовал, как меня постепенно охватывает и пронизывает холод. Ощущение холода складывается из температуры воздуха и скорости ветра. Температура была под пятьдесят, а скорость... Как ни берег нас Евгений, «Ямаха» шла не меньше сорока-пятидесяти километров в час, в итоге выходило минус 60-65°.

Скоро стал подмерзать и бывалый экспедиционер Николай Бугаев. Валенки его размера не нашлось, и, чтобы согреться, он стал поднимать ноги и постукивать друг о друга своими замечательными ботинками на собачьем меху, которые здесь явно подкачали. При этом он сползал с моего живота, тулупчик мой распахивался, и обжигающий ветер проникал внутрь. Я хлопал Бугаева по спине, он приподымался, я быстро запахивал тулупчик, и мой спутник валился на меня снова. Так мы перемещались в пространстве.

Холод незаметно погружает в дрему. Но ненадолго. Кроме подпрыгивающих ботинок Бугаева, обнаружилась еще одна милая подробность. Маска-башлык, которую я нацепил по совету товарища, оказалась роковой ошибкой. Возникший от дыхания пар конденсировался, превращаясь в лед, скоро мой нос и прорези для глаз обросли слоем льда толщиной в два пальца. Боясь, чтобы не улетели рукавицы, я

пытался сбивать его, их не снимая, но лед нарастал снова. Я понял, что бороться бесполезно, расслабился и отдал себя в руки providения. Мы приближались к океану, и вскоре я увидел красоты полярной ночи — крупную соль звезд, низкий горизонт и оранжевую, как апельсин, луну на снегу.

Хранители уникальности

Приведя себя в порядок, мы вышли в коридор русско-устыинской школы, где нас ждали дети и учителя в нарядах XVI века и, как полагается, с хлебом-солью.

Сразу бросаются в глаза лица, которых в Русском Устье замечаешь два типа: русские, но такие, каких не увидишь уже нигде, кроме как здесь. И сильно «приправленные» якутскими и юкагирскими чертами.

Школа-девятилетка, в ней 34 ученика (еще 18 детей с двумя воспитательницами в детском саду). 23 школьных работника, включая учителей. Я всех переписал. Многие коренные, со старинными фамилиями: Шаховы, Киселевы, Чикачевы, Портнягины... А школьного директора Шкулеву зовут Христина Элляевна. С одной учительницей, оказалось, мы знакомы. Женщина небольшого роста, с умным, внимательным взглядом, Валентина Ивановна Шахова сказала: «Анатолий Маркович, мы встречались с вами на конференции и по вашему совету провели анализ социокультурной ситуации. Наши ученики в городе теряются (еще бы, подумал я, из XVI века — в XXI, но позже понял, что это ошибка, еще неизвестно, кто в каком веке), возвращаются назад. Вы сказали тогда, что у каждой школы должна быть своя изюминка, найдите, мол, свою стратегию. Мы постарались и победили на конкурсе улуса: вначале наш сад «Звездочка», потом школа. Нас выдвинули на конкурс РЭП — региональных экспериментальных площадок. Мы поняли, что школа существует не сама по себе, а именно в социокультурном пространстве».

Маленький коллектив собрался в учительской, и Валентина Ивановна, используя проектор, компьютер, графики, сделала презентацию, из которой я понял, что они, живущие на краю света старинные, «досельные» люди, прекрасно все знают и понимают. Уж не меньше, чем московские с их гигантскими учебными комплексами, проглатывающими — без переваривания — десятки садов и школ.

Из анализа Валентины Ивановны становилось понятней, куда мы попали. Расстояние до Якутска — 2780 км наземным путем. От Чокурдаха по тундре 80 км, по воде — 120. В селе 150 жителей. Рождаемость низкая. Очень мало молодежи. Очень много — за тридцать, за сорок, холостых. Естественный прирост с минусом.

Ну и в школе соответственно: первый-третий классы объединили — одиннадцать детей. В шестом классе один ребенок. Низкая педагогическая грамотность родителей. Ежедневные заботы о выживании. Неполные семьи с единственным ребенком. Привычная картина современной сельской школы. Привычная, да не совсем.

«Я, — комментирует рисунки и графики Валентина Ивановна, — работаю в школе с семьдесят первого года, тогда все учителя были приезжие, а ученики говорили только на местном языке. Строгий инспектор приехал, и половину детей признали умственно отсталыми. Меня и других учителей заставили соответствующие справки писать. У наших тогдашних учеников от всего этого осадок остался. Конечно, не убили, здороваются. Но только потом стало ясно, что местную уникальность надо сохранять. Чтобы ребенок и не потерялся в современном мире, и в то же время сохранил свою особость».

Есть у вас сердце?

Тут такие учителя, что никогда не откажутся от работы — до двух, до трех часов ночи могут работать, используя информационные технологии. Вот только...

«У нас очень холодно в школе, когда ветер дует, — говорит Валентина Ивановна, кутаясь в цветастую шаль. — Половина здания заморожена из-за того, что нечем платить за отопление. Детей у нас мало. Вот полздания и заморозили».

Эй, кто-нибудь, кричу я теперь с этих страниц, вы, господин президент, председатель Русского географического общества, и вы, господин премьер-министр, любитель новых технологий, вы, министры образования и финансов, парламентарии, сенаторы, бизнесмены! Есть у вас сердце? Приезжайте на Северный Ледовитый, где половина здания школы заморожена, и сходите в туалет, единственный на всю школу, он как раз в той, замороженной части.

Презентация продолжается, на экране образовательные запросы разных групп населения. У части детей, участвующих в олимпиадах, высокие запросы, учительницы стараются помочь. У родителей запрос один: чтобы в школе было всегда тепло. А у учителей запрос на нормальные условия работы и жизни.

«Мы, пожилые учителя, хотели бы, чтобы льготы были не только у молодых. В поселке — увидите утром, когда светлей станет — дома построены в начале восьмидесятых годов. Квартиры крохотные: тридцать—тридцать три квадратных метра, а в них семьи с детьми живут. Там страшный холод, вода замерзает, строганина не оттаивает. Хотя бы один дом к юбилею построили!»

Очень большая очередь на жилье на Северном Ледовитом.

Шоковая заморозка

Сидим в учительской за новым круглым столом («Мы грант выиграли на конкурсе», — сообщают учительницы). «Новую модель школы нам надо», — говорят они. Провели исследование, обнаружили расхождения в представлениях «об ученике, учителе и семье в новых условиях». А что за условия? — спрашиваю. Условия жизни, — отвечают. Каким наше село будет через 10—15 лет? Ну, кто же это знает? Вон, берег рушится, не унесла бы Индигирка в Ледовитый всё село...

Инфраструктура здесь более развита, чем в среднерусской деревне: община «Русское Устье», коммерческий оптовый магазин, фельдшерско-акушерский пункт, школа, детсад «Северянка», библиотека и хлебопекарня, котельная, дизельная электростанция (ДЭС), почта. «Наше село, — говорят учительницы, — единственное сохранило почту. Правда, она не всегда доходит».

Да и с остальным непросто. В конце сентября привозят грузы в обмен на рыбу. За доставку (школьной мебели, например) надо заплатить двести тысяч. Откуда взять? А еще грузчики...

Крана — ни большого, ни маленького — в Русском Устье нет. «Наши мужья на руках тащат рыбу, — говорит Валентина Ивановна, — а высота берега, мы измеряли, 11-12 метров. Обзваниваем всех: мужчины, идите на разгрузку. Иногда община даст свободный день, и они бегут с работы. Это очень тяжело. Остеохондроз, все болит».

Здесьняя рыболовецкая община — одна из крупнейших в Якутии, для Русского Устья она — всё. Мужское население на девяносто процентов — охотники и рыбаки.

Обеспеченность семьи напрямую зависит от улова. Есть рыба — будет зарплата. В этом году рыбы нет. Но, допустим, заработали. А ведь надо купить «Ямаху», запчасти, теплую одежду, снасти... Работать рыбаком — света белого не видеть. Тем не менее молодые ребята с семьями приезжают в общину — поучиться и поработать на участках, закрепленных за опытными рыбаками. Так что сказать, что старинное, с шестнадцатого века существующее предприятие — угасающее, никак нельзя, наоборот, оно на пике своего развития.

Вот охота — исчезла. Охотников единицы. Белые песцы расплодились. «Вчера по поселку бегали», — сообщил молодой учитель, мастер-золотые руки, как его тут зовут, Александр Прокофьев.

Сколько же получают в общине? — интересуюсь у жен рыбаков. Отвечают: в среднем в месяц — 30-35 тысяч. А в магазине в Чокурдах маленький кусочек маргарина — 800 руб. Бутылка водки — мало ли что случится, — почти две тысячи. В Русском Устье ее не продают.

В общем, рыба — всему голова. Спасибо главе общины Сергею Алексеевичу Суздалову — заботится о рынке сбыта. «А новый рыбзавод в Чокурдах?» — «С ним связи нет. Он частный. Наша рыба идет самолетом в Якутск. А насчет рыбзавода давно поднимали вопрос — чтобы был *здесь*. Летом пятнадцать минут — и рыба дрябнет, никакая юкола¹ не получится. Сделали двадцатитонный холодильник с “шоковой заморозкой”. Ряпушку заморозили. Шоковая — не шоковая, а вкус уже не тот».

Мы выглядим хорошо в своих костюмах

Живет Устье, старое поколение передает опыт новому. Муж Валентины Ивановны приходит в детский сад, рассказывает малышам, как ловить рыбу. Школьники уже рыбачат с родителями, учатся коптить.

Бабушка Варя пишет стихи, добрые сказки. У Натальи Прокопьевны супруг и сын проводят конкурс семей — стрельба по тарелочкам. Летний лагерь «71-я параллель» находится далеко от поселка, на рыбацком участке, детям там нравится.

«Спасибо за внимание», — говорит учительница Валентина Ивановна и заканчивает презентацию их жизни.

Я думаю о том, что не сходятся две картинки Русского Устья: та, что на туристической пропагандистской открытке, отпечатанной в Москве, и другая, картинка реальности, о которой рассказывают жители.

На столичной картинке — диковинка на Северном Ледовитом. Заехали с центрального телевидения, пялятся: «У вас тут община, что ли?» Искали мужиков с бородами. Хотели увидеть XVI век. Русско-устыинцы смеются (они ведь выходят в интернет), мы не обижаемся, — говорят, — может, это и хорошо, реклама нам на пользу. Но проблем куча: обваливается берег, растут овраги. Девушек не хватает, — смеются учительницы.

Их спрашивают: что вам дал Год Арктики? Дал что-то, да одним годом дела не поправишь.

За пределами Русского Устья в основном интересуются историей, к которой у самих русско-устыинцев большие вопросы.

¹ Юкола — сушено-вяленое мясо рыбы.

«Последние годы, — рассказывают учительницы, — нас связывают с Великим Новгородом. Утверждают, будто мы оттуда, сбежали, мол, от Ивана Грозного, приплыли сюда в XVI столетии. Но эта связь установлена не нами. А нам оттуда, из Новгорода Великого, указывают: костюмы у вас неправильно сшиты, и платья не те, и праздники... А у нас есть вологодские, архангельские, поморские — разные версии. Почему мы должны переделывать? Мы очень хорошо выглядим в своих костюмах. Наши прабабушки их носили».

Версия русско-устыинцев подкрепляется научными фактами. По данным, например, известного исследователя Гурвича, в 1652 году на Индигирке оброк уплатили 142 человека, которых называли индигирщики (русско-устыинцы). Среди них были устюжане, вятичи, усольцы, холмогорцы, новгородцы и чердынцы, то есть народ «и оттуда, и оттуда».

«А насчет новгородцев... мы не против, но почему только они? Приехали к нам, построили часовенку летом — по всем программам телевизора показывали. Но не в ту сторону поставили дверь, надо было на западную, а они — на восток, и крест неправильно развернули».

На ночлег экспедицию «повалили», как говорится по-местному (уложили спать), в кабинете культуры. Ночью проснулся: шарф, в который закутался, липкий. Со сна не разобрал. Включил свет — все в крови, капает на пол. Это с моих отмороженных щек и носа — видно, скovyрнул во сне.

Выбрался в школьный коридор и потопал на кухню, оставляя кровавый след. Умылся из рукомойника. Посмотрел на себя в зеркало: ну и рожа! Взял швабру и вымыл пол. Возвратился на раскладушку, тут проснулись мои спутники, поглядели на меня с интересом. Евгений достал какие-то тряпки, перебинтовал: ничего, сказал, пройдет. Только не трогайте, скоро кожа шелушиться будет, а потом вырастет новая.

Утром пришли учительницы на уроки, поглядев на меня, сказали: «Наши мужчины все такие. Здесь этим никого не удивишь». Остается признать случившееся «поцелуем юкагирки». Так именуют тут первую из четырех степеней обморожения. Правда, потом выяснится, что у меня вторая. Ну, значит, крепко поцеловала.

Библиотеке морок не страшен

Сельского библиотекаря, в прошлом учителя русского языка, зовут Татьяна Куприяновна Суздалова. Фонд сельской библиотеки — три с половиной тысячи книг, не считая периодики. «Я в основном работаю с детьми. Мы с учительницей Полиной Ивановной создали кружок для первого—третьего классов, чтобы приучить к чтению. Читаем, слушаем диски, ставим спектакли. Взрослые читатели приходят редко. Рыбаки бывают, ну, как придут, груду книг наберут — и до следующего лова. Что берут? “Сельскую новь”, “Рыболов”, детективы. Женщины — женские романы...»

В сельской библиотеке открыли литературный салон. Несколько раз в год с участием детей и родителей отмечают юбилеи, чаще всего Пушкина и Лермонтова. Ставили с детьми Толкина, «Гарри Поттера». Было время, интересовались Драгунским.

Интернет работает хорошо, но в сетях не сидят сутками напролет — много дел. Спортом занимаются. Исследуют: была программа «Шаг в будущее», и Петя Чикочев защитил проект по зодчеству, а Яша Щербачков — по охоте.

«Когда я вела в школе русско-устыинскую культуру, книг о ней не было, мы сами

рассказывали», — говорит Татьяна Куприяновна, показывая исследовательские проекты и доклады учеников — они все здесь, в библиотеке, подготовлены.

Показывает кукол, они замечательные, сделаны вместе с детьми, наряжены в традиционную русско-устыинскую одежду (позже я увижу ее на учительницах). Женская обувь из оленьей ровдуги (оленьей замши) называется «окляны», мужская — «обутки». У мужчин косоворотки подпоясанные, широкие кушаки, в XVI—XVII веках надевались на рубаху, а у женщин — блузки с двумя полосками, платок, бусы длинные. «У меня дедушкин кушак остался, — говорит миловидная Татьяна Куприяновна, — обычно девушки дарили своим женихам, вышепечивали — разукрашивали то есть».

Шаровары были двух видов: короткие, с длинными меховыми обутками, и длинные, зауженные книзу, шились из камуса и носились с плеками — короткими обутками. Подшивались кожей или «щеткой», которая у оленей между копыт. Был еще малахай — фасон пришел с севера России: внизу малахая пыжик — молодой олененок, или вывороток, новорожденный. Головные уборы носили и женщины, и мужчины. «Это все натуральное, моя мама шила», — показывает Татьяна Куприяновна кукольные наряды: камусные рукавицы, «плеки» на ноги, коротенькая, с длинными штанами, верхняя одежда — «дундук» (эх, был бы на мне в дороге такой дундук, горя бы не знал, подумал я).

«Вот полосочки на фартуке, на платье, зачем они? Пришли же сюда люди из Новгорода, Архангельска, из разных мест, а по этим узорам, по полосочкам, можно было узнать, откуда ты родом, сколько в семье детей — да много чего. Но в Устье не было ни тканей, ни ленточек, и со временем все забывалось».

«У ваших детей есть проблемы с чтением?» — спрашиваю библиотекаря. Она показывает книгу: Павел Санаев. «Похороните меня за плинтусом». «Одна девочка прочитала и говорит: а вы читали? Интересно. Ребенок посоветовал — я мигом прочла...»

Есть лекции Лотмана, есть Платонов...

Что там в пасти?

В двух часах от Устья расстилается океан, его в это время не разглядеть. Но мы все же съездили на двух «Буранах», налегке, без нарт, поглядеть на рыбалку и охоту. Доехали с Романом Петровичем Чикачевым до его «пасти» — нехитрого изобретения XVI века: ловушка с рыбной приманкой; когда зверь залезает спереди или сзади, бревно падает и придавливает его, до смерти — если тяжелое. Пасть, к которой мы добрались, оказалась пустой.

Но обычно у охотника, рассказал Роман Петрович, пастей бывало штук триста, и он их постоянно объезжал. Сейчас на двоих охотников, которые кооперируются, пастей около сорока. Поехали подальше — поглядеть на подледную рыбалку, во льду делают проруби и протягивают через них невод. Некоторые ловят сетями, таких рыбаков называют «сетики».

Поездили по рыбакам, невидимым в полярной ночи, — улов был мал. В одном месте Сергей Иванович Портнягин, молодой симпатичный начальник ДЭЗ, ловил рыбу для себя. На снегу лежали чир, два муксуна, три чукучана — добыча невеликая и для среднероссийского рыбака незнакомая. Но тут прямо при нас стал он тянуть невод и вытянул... по-моему, самую лучшую на свете рыбу — нельму. Килограммов на тридцать!

Сфотографировал я его с невиданной добычей. Попробовал сам удержать за жабры — не справился.

Едят нельму в разных видах, начиная со строганины, а из муксуна делают издревле рыбный хлеб — «тельно». Рецепт приготовления такой: берут лежалый сутки муксун, чистят, отделяют шкурку от тельца, перемалывают (сегодня — на мясорубке), чтобы получился фарш, раскатывают кусок побольше, поливая водой, мнут лопаткой, а потом руками, как тесто. Скатывают в шар. И жарят на сковородке в собственном соку — отдельно кожицу и по пятнадцать минут каждый бок. Целый час жарят. В холодильнике полежит — и можно подавать на стол. «Хлеб», конечно, своеобразный. Но другого в XVI веке у пришельцев из Руси не было, а русский человек без хлеба, как известно, жить не может.

«Тельно» дошло до наших времен, а иные рыбные блюда канули в прошлое. Но если судить по заработкам рыбака и бюджетника, рецепты времен Ивана Грозного могут скоро оказаться полезными.

Игра в бирюльки

Первоклассник Сережа Черемкин («Компьютерный гений», — представила его учительница) помогал мне фотографировать. Запечатлеть было что.

В классе, заменяющем зал, собрался народ. Все красивые, праздничные — и детсадовские, и школьники, и учительницы в нарядах XVI—XVII веков. Показали фильм собственного производства о Русском Устье.

Слышится песня, голос тихий, душевный, глубокий: «Подо льдом река течет. Растет тальник...»

Мальчик ставит «щель» — это еще одна старинная ловушка, на куропаток. Пасти, капканы, неводы, сети...

В старину в обязанности женщин входило приготовление строганины. Учительница Галина Дмитриевна проводила мастер-класс: нарезала строганину, а дочка Ангелина помогала укладывать. Обычно ее едят, когда собирается много народу. «Одну строганину есть неинтересно, — поясняет для меня Галина Дмитриевна. — Сначала едят стружки, которыми обложено блюдо, а потом пупочки, брюшки, которые кладут в середину».

Мастер-класс завершается угощением всех присутствующих, включая детсадовских. Дают попробовать и рыбную кашу. После еды дошколята Гена, Тима, Нина и Кристина устраивают игры в «бирюльки». Подбрасывают кучу палочек и тыльной стороной ладони ловят.

Я тоже попробовал — не поймал. А еще говорят: «Это тебе не в бирюльки играть». А вы попробуйте!

Первоклассники Сережа, Ксюша, Риана и Эвелина загадывали загадки, а все присутствующие с удовольствием отгадывали.

Русско-устынская загадка очень своеобразная, северное мышление особое. Русско-устынская сказка — тоже. К сожалению, она утрачена, но мы, — говорят хозяева, — попытаемся показать вам сказку «Как собака себе друга искала».

Выходят на сцену герои этой старинной русско-устынской сказки: собака, заяц, лиса, волк, медведь, человек, и начинается представление. Заканчивается сказка тем, что ученики младших классов — собака и человек — говорят зрителям: «Ясно дело, что вдвоем-то оно сподручнее...»

Спасатель Стрюков

У нашего проводника, водителя-спасателя и отца пятерых детей Евгения есть идея, которую он усиленно проталкивает — создание спасательно-муниципальной службы. По его просьбе из республиканской службы спасения, где он раньше работал, в район три раза приезжали. Первый раз, когда девочка-третьеклассница пропала, замерзла неподалеку от Чокурдаха. Второй раз водолаза вызывал, когда вездеход провалился. И еще случай был, в пургу... Чтобы выиграть время, считает Евгений, в каждом муниципальном районе нужно иметь свою службу спасения. «Хочу, — говорит он мне, — создать СОБР — специальный отряд быстрого реагирования. Два спасателя, один медик, один бывший следователь из органов внутренних дел, бывший военный со знанием топографии, хорошо владеющий картой, чтобы по ней решать, по какому маршруту идти, — горы, тундра... Потом радист нужен, бывший вездеходчик-танкист, еще кинолог с собакой розыскной. Я хочу письменно все это изложить и послать письмо Путину, Шойгу, главе Саха, министру МЧС — чтобы в один день все могли прочесть. Почему Шойгу? Он может понять...»

Евгений Стрюков, по-моему, и похож на него — внешне и по складу характера: немногословен, решителен, четок и говорит похоже — тем же тоном. Этаким северно-ледовитый якутский Шойгу (каким тот был когда-то). «Когда военная техника списывается, у нее ходовая часть еще крепкая. И есть свои рации. Все это надо передавать в такие вот организации, — говорит Евгений, — в муниципальные службы спасения. А военнослужащих, которые мобилизуются в запас, брать работать на этой технике. Ведь они рано уходят на пенсию, еще здоровые».

Но Стрюков смотрит дальше: «А население, люди, если увидят, что МЧС, полиция и другие службы вместе работают, поймут, что это для них, и будут поддерживать власть».

По-моему, властям стоит прислушаться. Государственный человек — спасатель — Евгений Стрюков, и ход мысли, и действия у него государственные.

«Те же вертолетчики, — развивает он свою идею, — будут не зря топливо сжигать, а помогать. Разные ведомства, но государство-то одно. А то обидно слышать: санрейс, поэтому людей, которым нужно куда-то добраться, не берут. А тут дорог нет, зимой только на вездеходе проехать можно, а летом — только на моторных лодках».

Вот такой человек Евгений Стрюков живет на краю света и полон идей.

В Оленегорске, откуда он родом, практически пропали олени. Пригнали новое стадо, но олени уходят туда, откуда их вывели. А у Стрюкова мысль: взять стадо из одного района, а приплод оставить в этом. Потом из другого района, и тоже приплод оставить. И смешать. Если родился здесь — здесь и останется.

Вообще он хочет лет через пять (сейчас учится на юрфаке в сельскохозяйственном институте) стать главой района. «Не наслег?» — «Нет, — отвечает серьезно, хоть в тунгусских глазах усмешка, — я как Юлий Цезарь: если уж брать, то все».

Эх, если бы Стрюков действительно стал главой района! А еще лучше: услышал бы его бывший глава министерства чрезвычайных ситуаций.

Умные дети

Акиян — океан. Бьца — бьется. Вошемдесят — восемьдесят. Дира. Лягот. Сестой(шестой). Урохнется — упадет. Шередка — селедка, середна — середина...

Куча детских исследовательских работ.

Ученик местной школы Леонид Петренко:

«Русско-устыинцы в большинстве своем были неграмотными. Но встречались и грамотеи, хранившие церковные книги, которые передавались по наследству, и учившие своих детей чтению. Жители села знали шахматы и умели играть в них, о чем свидетельствует найденная шахматная фигура из моржовой кости».

Егор Петренко (руководитель — Шкулева Христина Элляевна):

«В октябре 2008 г. житель поселка Чокурдах Игорь Лебедев увидел на правом берегу реки Хрома высывающуюся из мерзлоты голову мамонтенка. В апреле 2009 г. он сообщил координаты специалистам Музея мамонта. Ученые определили время его обитания на земле».

Дарья Ивановская (научный руководитель — учитель биологии и химии Валентина Ивановна Шахова). «Влияние домов серии III-139 на состояние здоровья людей»:

«Время идет, а эти дома все еще стоят, и в них живут люди. Фенол по-прежнему находится в злосчастном утеплителе и продолжает негативно воздействовать на здоровье жильцов. Из 150 жителей села в фенольных домах проживает 41 человек, то есть треть населения».

Нюргуяна Перцева (руководитель — В.И.Шахова). «Древний Зашиверск»:

«Зашиверское зимовье было основано в 1639 г. енисейским сотником Постником Ивановым (Губарем). В 1915 г. в возрасте 105 лет умерла последняя жительница Зашиверска Мария Тарабукина. К концу XIX века город окончательно опустел. Он стал городом-памятником, городом-призраком».

Как сообщает ученик Никита Чикачев, несмотря на компьютерный век, «жители Русского Устья используют старые русские единицы измерения длины не только в пословицах и поговорках, но некоторые — мах, локоть, перст — в промысле и в быту».

Морок и надежда

Чтобы ощутить место, в которое попал, нужен хотя бы один ночлег. А лучше девять. «Девять ночлегов с воином, шаманом и кузнецом» — так называлась моя первая книжка о Якутии¹.

Русское Устье — долгожданное звено в цепи экспедиций, многих северных ночлегов, уготованных мне судьбой. Рано или поздно я должен был попасть сюда, в полярную ночь, и увидеть, что она разная. Темная и с просветом от полудня до двух часов дня, с северным сиянием, которое называют «огнями юкагиров», и белая — в морок.

О Русском Устье столько написано и снято, что боишься увидеть реальность, похожую на туристическую открытку, визитную карточку. Что ж, может, и визитка, только не той страны.

¹ Впервые опубликована в журнале «Дружба народов», 2003, № 5.

И не та школа, которую стало почти невозможно различить во тьме реструктуризации, оптимизации, ЕГЭ, рейтингов, фестивалей и хрен знает чего еще. А тут вот обыкновенная, деревенская, половина которой, где находится туалет, заморожена. Как же туда ходят маленькие дети? Прошу прощения за подробности, но после одной такой вылазки долго приходил в себя. Тут ко мне подошла техничка и сообщила по секрету, что в отапливаемой части здания есть комнатка для учительниц, там ведро... А чтобы помыть руки, сообщила добрая техничка, опустите — только очень осторожно — ручку вниз».

Кормились мы в одной из комнат, как узнал позже, из домашних запасов учительниц. Каждая приносила что-нибудь для экспедиции, в результате получался роскошный стол. В числе рыбных блюд подавались: соленая рыба, рыбный пирог, щерба-уха, барча, юкола, печень из налима — макса, строганина, сырая рыба — «сика», рыба фаршированная, пиржар, рыбный кавардак...

Так что этот вопрос, благодаря заботе учительниц и их мужей-рыбаков, был решен отлично.

Спали мы, трое мужчин, на раскладушках в теплой комнате — как уже говорилось, в кабинете культуры и искусства, на стене которого было написано: «Пауза это знак молчания». Давайте и мы возьмем паузу и поразмышляем. Вот что приходит на ум.

Для Русского Устья, которое исторически обрело свободу, пускай и такую, с замороженным туалетом, у Ледовитого океана, приближение к государству опасно. Это касается не только Устья. Чем ближе человеческое поселение, община, человек находится к государству, которое мы имеем, тем хуже для человека и поселения.

Государство, даже такое далекое от человека и поселения, как в России, ненасытно. Оно ничуть не изменилось со времен Грозного, поэтому не спешите в его объятия. Не просите пряника, не верьте посулам. Плывите на кочах, на новоманерных судах так далеко, как можете. Только на краю света и дальше человек может не опасаться ни опричников, ни нацгвардии, ни миссионеров, ни друзей, которые хуже врагов.

«Сюжет повторяется», — пробормотал я. «Про погоду, что ли, говорите?» — спросил лежавший по соседству на раскладушке Бугаев. «Про жизненные ситуации». «А, жизненные... — зевнул мой вечный спутник по кочевьям и добавил: — В срединной Якутии все же больше надежды». — «Почему?» — «Я же вам когда-то рассказывал, как Советский Союз Север льготами портил».

Я вспомнил Колымторг, вечную подсобку Гулага.

Но там же, на первом этаже холодной, неотапливаемой половины школы, находился еще и удивительный музей. Его хозяйка, маленькая тихая женщина Валентина Ивановна Шахова ввела меня в мир, где задолго до нас жили удивительные люди.

(Окончание в следующем номере)

Вера Харченко

Феномен Ахты: горы и люди

Для таких, как я, не особо сведущих в географии, поясняю: Ахты — горное село в Дагестане, на самом юге России, в приграничье. Я побывала там в ходе подготовки к форуму «Единение народов России», но рассказать хочу не о форуме, а о месте, где он проводился. Четыре дня пребывания в Ахты оставили столь осязаемое и полное неожиданностей впечатление, что, пока не поделюсь им, не отпустит.

Секрет добрососедства

Знаменательно, что для проведения форума выбрали именно Ахты, жители которого свою малую родину называют южной столицей России. Если взглянуть с высоты — с гор, где расположено селение, то воображению откроется земля с восхитительно разнообразным рельефом. Невдалеке, на севере — Калмыкия, засушливые просторы степей. А на юге — высокие, в четыре-пять километров, горы. Восточный берег омывается мощным Каспием. Это Дагестан, где собран целый каталог народностей, и каждая с уникальной, причем многовековой культурой. Здесь концентрированно, но мирно, бок о бок уживаются более ста пятидесяти из ста девяноста трех народов и народностей России.

Много лет преподавала я тему «Русский язык как язык межнационального общения», но только здесь, в Дагестане, почувствовала: русский язык — идеальный связной. Примечательно, что и за пределами России — в школах Армении — вновь ввели русский язык. Вынужденно ввели — иначе не получалось общаться представителям разных народов. И вот сейчас, на многонациональном юге России, слышу повсюду русскую речь.

Наша страна для остального мира — многовековая модель мирного сосуществования разных народов и концессий, своеобразный учебник под открытым небом. Одна из ярких страниц этого учебника — Ахты, небольшой населенный пункт, стиснутый горами и руслами рек Самур и Ахтычай, который исстари отмечен уникальным эффектом добрососедства людей разных национальностей.

В чем его секрет?

Узкие улочки Ахты плавно убегают вниз. Вечер. Мы видим коров, шествующих

домой, — не стадом, а каждая по отдельности. Какую растительность удалось им отыскать на каменных склонах? Горы-то, вся местность вокруг — «пятьдесят оттенков коричневого». Спрашиваю. Оказывается, это последствия чрезвычайно засушливого лета.

Нагоняем школьников. Идут по двое, по трое в белоснежных рубашках, блузочках, брюки и юбки черные, за спиной или в руках черные рюкзаки. Идут вдоль дороги из школы. Половина шестого, закончилась вторая смена. Почему я об этом пишу? Потому что удивила тишина, окружавшая детей. Не кричат, не замахиваются друг на друга рюкзаками или сумками. А я не могу забыть картинки, которые наблюдала в Белгороде, всего за неделю до поездки в горы. Первое сентября, и группки разболтанных, громко вопящих деток в воротах престижных школ. Наивное противопоставление? Оболтусы и хулиганы, наверное, есть везде — и в больших городах, и в малых селениях. Но и у нас-то в селе больше воспитанности и сдержанности. Однако Ахты показалось мне чем-то исключительным.

Объяснение я нашла день спустя на встрече со старейшинами Ахты и молодыми, инициативными людьми, после которой мне удалось познакомиться поближе с одним из аксакалов. Белая тюбетеечка, белая одежда. Спокойное, но бодрое, чисто выбритое лицо. Глаза такие, что не подойти было невозможно. Я многих людей встречала на своем веку, но мало кого с такими теплыми глазами. Именно теплыми, притягивающими. Подошла. «Как вас зовут?» — «Даниял».

У Данияла шестеро детей: пять сыновей и дочь, четверо внучат — еще совсем маленьких. Младший из сыновей — семикратный чемпион России по тяжелой атлетике, двукратный чемпион Европы, пару лет назад был на соревнованиях, как оказалось, в нашем Белгороде. Конечно, не только это меня заинтересовало. Спрашиваю о главном — о секрете добрососедства. Даниял отвечает просто: «Я мирю людей». — «Как же вам это удается?» — «Я спрашиваю сначала: "Ты не боишься Аллаха? А ведь он спросит тебя, когда *там* предстанешь перед ним: жил ли ты с соседями в мире, уважал ли их? С соседями — это даже еще важнее, чем как ты относишься к матери! С соседями можно и нужно уладить любой вопрос, даже если они не правы!"» Слова эти глубоко меня взволновали. Продолжаю расспрашивать: «А еще с чем к вам приходят?» — «Приходят супруги, имеющие разногласия по бытовым вопросам. И их мирю». — «А дети с чем идут?» — «А с детьми мы проводим отдельную "школу", собираем, беседуем».

Не отсюда ли тактичность и воспитанность молодых людей, которые так поразили меня в Ахты?

Сорок колен, вышедших из двух родов

Ступени крутые, но почему-то подниматься по ним легко, и поручни страхуют, когда набираешь высоту. А ступенек свыше восьми сотен. Путь к Гребню проповедей проходит мимо Джума-мечети, построенной в 657 году на месте поклонения единобожников дохристианского периода. Многое в Ахты, но прежде всего эта мечеть, конечно же, требует занесения в список объектов, охраняемых под эгидой ЮНЕСКО. По большому счету, не только крупные сооружения, но вообще любые артефакты надо спасать от уничтожения, а то в век информации скоро нечего будет и изучать. Ступенька, ступенька... Стараешься побыстрее подняться, чтобы успеть за группой, но и не можешь не замирать на каждой площадке между пролетами — такой открывается чарующий вид, непривычный для равнинного жителя. Испытываешь то, что, вероятно, ощущает птица, смотрящая вниз на скопление домиков, домишек, человеческих

гнезд, плотно-плотно прилепленных одно к другому, почти как ласточкины гнезда. Обзор с площадки охватывает триста шестьдесят градусов. И становится ясно, что именно горы, вставшие по окружности, и диктовали тесноту улиц и построек. Обширнейшая долина вся утыкана крышами домов, как подсолнух семечками.

Ветер, свежо, горы. Воздух чистый, скоро совсем стемнеет. Мечеть притягивает. Рядом с нами имам и его помощники. Рассказывают о традициях, но рассказывают интеллигентно, то есть тихо и, главное, ненавязчиво. Религия так естественно вплетена в повседневность, а повседневность так пропитана священным таинством веры, что нет необходимости агитировать, зазывать к себе под сень своей религии, как это делают сектанты.

Поджидая остальных, я вслушивалась в голос муэдзина, выводившего вечерний азан. Эта особая мелодия одушевляла пространство вокруг, напоминала о чем-то незнакомом, но высоком. Вид сверху как раз и даровал космически сильный эффект восприятия. Я видела замечательные мечети в Казани, в Бухаре, однако там они утопают в городской застройке, а эта мечеть, расположенная высоко в горах, воспринимается как уникальное сооружение. Ведь каково это, строить в горах?! Не только мечети, но и обычные дома. Какой это вызов человеческой воле, интеллекту, характеру!

А что сказать о террасах, которые примостились прямо на скалах и на которых выращивают знаменитые ахтынские яблоки. И в царской, и в советской России они поставлялись высшему руководству страны и на важнейшие государственные мероприятия. Когда-то в каталоге «Занимательная биология» отмечалось, что капуста выведенного в Ахты сорта, называемого «ахтынский белокочан», при небольших размерах достигала впечатляющего веса. Научно-исследовательский институт сельского хозяйства в Махачкале носит имя ахтынца Ф.Г.Кисриева, который большую часть жизни посвятил выведению новых сортов сельхозкультур и пород скота. Шерсть овец лезгинской тонкорунной породы испокон веков использовалась в ковроткачестве. Ахтынские ковры еще в древние времена заслужили всемирную славу. Жаль, что ремесло это сейчас угасает. В 1913 году в честь 300-летия Дома Романовых ахтынским мастерицам был заказан огромный ковер размером четырнадцать на семнадцать метров...

Внизу глава районной администрации Аслан Махмудович дарит нам большую книгу лезгинского эпоса «Шарвили». Настоятельно рекомендует прочесть: «Я и сыну перед сном читаю!» Вечером в гостинице (а темнеет здесь мгновенно, это юг) я стала неспешно читать и, естественно, сравнивать с русским эпосом. Наш былинный богатырь изначально хорош, а этого лезгина по имени Шарвили не столько даже жизнь, сколько окружение, те же соседи учат, воспитывают, наказывают, помогают и гордятся им потом. Невольно вспоминается, что написал об ахтынцах доктор Антон Никифорович Ефимов в январе 1899 года в письме к своей сестре: «Свято чтут они свои неписанные законы и искренне считают, что позор одного из них падает на каждого». Потому-то так трепетно в эпосе и относились к воспитанию национального героя.

Антон Никифорович хорошо знал тех, о ком писал. Он прожил рядом с ними в Ахты четверть века. По должности доктор был начальником санитарного управления Самурского округа, в его обязанности входило медицинское обслуживание гарнизона русской крепости, однако он добровольно взял на себя заботу о жизни и здоровье населения всех аулов округа, овладел лезгинским языком и исцелил тысячи горцев. Прочитать о нем можно в романе Кияса Меджидова «Сердце, оставленное в горах».

Истинное значение этого названия открывается лишь тем, кто видел суровость здешних гор. Начинаешь понимать, что Ахты — это плод мощных, наработанных культур, опыта, технологий выживания. Об этом прекрасно пишет писатель Василий

Голованов: «Здесь, в горах, все вдвое тяжелее, чем на равнине: водишь ли ты скот, строишь ли дом, добываешь ли топливо на случай холодной зимы — все здесь дается вдвое-втрое труднее. Надо в самом тяжком труде, который делает из человека упрямого, двужильного горца, видеть смысл жизни» («Дружба народов», 2012, № 4. С. 189).

Не все выдерживают жизнь в горах. Может быть, пересечение мусульманства и самобытных горских традиций как раз и обусловило, с одной стороны, миролюбие, терпимость ахтынцев, а с другой — их доблесть, достоинство.

Вспоминаю беседу с имамом Джума-мечети Хаджи-Абдулгашумом. Я спросила его о том, что волновало меня как женщину, как мать, как бабушку: сохраняется ли доньше древнейшее требование к женщине — родить столько детей, сколько Аллах пошлет? Сохраняется ли у горцев в наши дни многодетность, как было когда-то и у русских? Имам ответил: «Многодетность приравнивается к подвигу, и за нее прощаются многие грехи. Не зря же, согласно хадису, пророк сказал: “Рай находится под ногами ваших матерей”». У самого имама четверо детей. Выдал замуж трех дочек, подрастает сын. О своей стратегии имам говорит так: «Ахты состоит из сорока колен, вышедших из двух родов. Нельзя уделять внимание какой-то одной части общины. Надо, чтобы было как в семье, по справедливости».

Неизбежно разговор о том, что в наши дни препятствует многодетности, привел к обсуждению нищеты, охватившей далеко не один только Ахтынский район. Перерабатывающие производства позакрывались, в Ахты — ни одного банка, ни одного банкомата, до ближайшего отделения Сбербанка — более шестидесяти километров. Что это, намек на то, что следует уезжать из этих мест? А если они будут пустовать, кто станет хозяином этих земель? Какой народ, какое государство? Кто этому способствует?

Однако люди не покидают родных земель.

Наше национальное достояние

Из окна лоджии наблюдаю, как трое местных жителей возводят ограждение вокруг гостиничного комплекса. Старательно, молча, аккуратно цементируют и выкладывают кирпичи прямо под моим номером. Не было слышно не то что сквернословия, даже просто болтовни, резких слов. Труд как культура молчания. Потом двое сели передохнуть, закурили. Третий продолжал обмазывать раствором торчащую арматуру. Отдыхали недолго. И опять за кладку. Неторопливо, качественно. Вряд ли все трое много зарабатывают, обычная зарплата здесь — пять тысяч, от силы семь-восемь тысяч. Но какое-то достоинство чувствовалось в их работе.

Наверное, горцы — это все же особая порода людей.

Нам довелось встретиться еще с одним из ее представителей, с живой легендой. Абдула Магомедбегович Мурсалов читал лекцию в Дагестанском государственном педагогическом университете, а потом беседовал с нами. Ему девяносто два года. Входил в личную охрану Сталина, который отбирал туда людей только по личным качествам и только тех, кому доверял. Абдула Магомедбегович работал в разведке, знал шестнадцать языков. Его хорошо учили, учили перевоплощаться. Потому что, если даже ты блестяще знаешь язык, а не сумел стать тем, за кого себя выдаешь, тебя во вражеском окружении немедленно раскусят и лишат жизни. От такого человека было особенно дорого услышать: «Мы друг друга прекрасно понимали, когда говорили по-русски. Русский язык — богатейший, все можно объяснить». Куда только не заносила его судьба! Охотился за главарями германских нацистов по всей Европе, Латинской Америке и Австралии, в том числе за Отто Скорцени. Добывал секретные

документы по ядерным технологиям. Закрытым решением Сталина ему было дважды присвоено звание Героя Советского Союза. Только в последнее время с этой информации сняли гриф секретности, а недавно Абдуле Магомедбеговичу присвоили звание действительного члена Академии наук социальных технологий и местного самоуправления за разработку технологии перевоплощения...

Такие люди — наше национальное достояние.

Животворная сила преданий

Рассказывают: слава об Ахтынском районе когда-то гремела на весь Советский Союз. Когда же? Мне поясняют: и до войны, и после, вплоть до 1991 года, но пик известности, региональной славы приходился на 60—80-е годы. Потом в стране начались катаклизмы. Ахтынцы, однако, гордятся тем, что сохранили памятник Сталину. Узнаю, что это имя сохранено и в названии улиц. Один из жителей Ахты сказал мне: «Я живу на улице Сталина». А ведь это тоже свидетельство независимости ахтынцев и их достойного отношения к истории. Судить можно, но замалчивать, уничтожать память — нет.

Показали нам мост, построенный инженерами из Бельгии и Италии Джиорсом и Дебернарди, по вечерам красиво подсвечиваемый. В этом году мосту исполнилось сто лет, и он очень хорошо сохранился. Вот такую историю рассказали: когда иностранные инженеры строили мост, к ним подошел одетый по-простому человек из местных и сказал: через неделю мост разрушится. Ему не поверили, но так и случилось. «Расскажи, в чем наша ошибка». — «А когда у вас штаны спадают, чем вы их поддерживаете?» — «Подтяжками». — «Вот этих подтяжек не хватает у вашего моста». И мост был усилен стальными дугами. Инженеры не знали, что встретили мастера-самородка Идриса, построившего в тех краях не один десяток мостов.

Нам показали Вечный огонь и стелу за ним, взметнувшуюся ввысь. Правда, над факелом Вечного огня не вились языки пламени. Огня не было из-за урезанного бюджета. Но место все равно священо. Одних только жителей Ахтынского района на полях сражений погибло, по подсчетам местных краеведов, 1 426 человек из 2 763, ушедших на войну. Имена павших золотом горят на обелиске.

Возле обелиска мы ждали паломников-пилигримов. Шакир Мирзамагомедов и Надир Надиров, несмотря на пожилой возраст, прошли пешком из Махачкалы более двухсот пятидесяти километров, посвятив свой поход подготовке к форуму. Отдавая дань многовековой традиции, пилигримы, прежде чем попасть в Ахты, поднялись на священную гору Шалбуздаг, чтобы очиститься духовно. Оказывается, паломники каждый год проделывают такой путь в память о героях прошлого. Паломничество занимает четверо суток. Рассказывают легенду о старике, дожившем до ста десяти лет. В столетнем возрасте он один целую неделю удерживал перевал в Карачаево-Черкессии против хорошо вооруженной немецкой дивизии «Эдельвейс». Потом еще отсидел в лагере за горькое слово правды. Об этом крепком старце рассказывал нам не один человек, что свидетельствует о животворной силе легенды.

Евгений Абдуллаев

«Я б в писатели пошёл...»

Последние два-три года у нас расцвели литературные курсы.

Очные, в аудиториях. Дистанционные, в формате онлайн.

В столице и других больших городах.

При книжных издательствах. При журналах. При литературных союзах и объединениях. Авторские, созданные известными прозаиками.

Питерская «Литературная мастерская Андрея Аствацатурова и Дмитрия Орехова», московские «Creative Writing School» Майи Кучерской и «Хороший текст» Татьяны Толстой и Марии Голованивской.

При питерской «Астрели» и при журнале «Русский пионер»...

На первый взгляд — еще один парадокс нынешнего литпроцесса. Кризис, сбережения подтаивают; и ясно, что на писательстве не заработаешь — не та профессия: доходы минимальны, конкуренция огромна, целевая аудитория — число читателей — сужается...

И все же.

Дело даже не в том, что интерес к литературе растет (а он растет). Еще стремительнее растет индустрия «пожизненного обучения» (*lifelong learning*). Все больше людей после тридцати желают получить вторую, а то и третью специальность. И не обязательно напрямую связанную с заработком. Писательство? Почему бы нет.

В целом, если главной литературной приметой 2000-х стали ярмарки и фестивали, то 2010-х — писательские курсы.

В «нулевые», правда, тоже были попытки наладить систему литобразования. Например, ежегодный «липкинский» Форум молодых писателей. Но это было для более-менее сформировавшихся — или хотя бы наметившихся — авторов. «Вакансий» для новичков почти не было.

Впрочем, что-то и в этом отношении начиналось; скажу о том «кейсе», который мне известен лучше. В 1998-м алмаатинский литератор Ольга Маркова создала фонд «Мусамет» и стала организовывать литературные семинары и мастер-классы; вначале — местными, алмаатинскими силами; затем — с приглашением лекторов из Москвы, Киева, Ташкента... Семинары и классы были некоммерческими (помогали фонды) и в чем-то походили на «липкинские». Когда в 2008 году безвременно ушла Ольга Маркова, подросшие выпускники «мусаметовских» мастер-классов сами решили попробовать себя в роли преподавателей. В конце 2009-го прозаик Михаил Земсков создает в Алма-Ате «Открытую литературную школу» (ОЛША), уже на коммерческих основаниях (отчасти за счет меценатской помощи). Преподают Юрий Серебрянский,

Илья Одегов, Павел Банников, Лиля Калаус (имена, читателю «Дружбы народов» хорошо известные). Иногда «приглашенные мастера»: Леонид Бахнов, Наталья Иванова, Андрей Усачев...

Какое-то время все же к первым появившимся «платным» школам была в литсообществе какая-то настороженность. Отчасти — из-за опасения, что это будет еще один рассадник графоманов. Отчасти — из-за откровенно ярморочно-зазывального тона, который взяла одна из них.

«Мы откроем Вам секреты мастеров!» — «Мы научим Вас писать книги, которые сделают Вас знаменитыми!» — «Элитные курсы романистики!» — «Из первых рук квинтэссенцию всей сокровенной информации о литературе дают наши мастера!» И так далее.

И дело даже не только в тоне. Выпускникам там еще сразу писательские билеты вручают. Отучился — и ты писатель; получай билет. Еще обещают, что их всех после окончания будут опекать литагенты. Продвигать, выдвигать и номинировать.

Вопрос — если отвлечься от всех этих «ню-васюков» — не такой уж простой и для литературного дела довольно болезненный. О соотношении в нем «презренного металла» и «служенья муз». Тут действует своего рода молчаливое соглашение, «конвенция вкуса». Есть некая стилистическая грань (в рекламе и саморекламе), переступать которую бесполезно.

Нельзя, писал еще Пушкин, заманивать «подписчиков и покупателей» «пышными обещаниями» и «газетными объявлениями, писанными слогом афиш собачьей комедии». И людей, желающих попробовать себя в писательстве, добавлю, — тоже заманивать этим нельзя. Бесполезно.

Писатели на курсах не рождаются — как бы великолепна ни была методика и какой бы звездный состав мастеров на них ни преподавал. Курсы могут помочь, где-то сориентировать, что-то скорректировать. Расширить знания, получить какие-то навыки. Развить читательский опыт — без которого невозможен опыт писательский.

На вменяемых курсах это хорошо понимают. Скажем, на сайте курсов «Русского пионера» обещают сдержанно, по минимуму.

«Как из отдельных слов рождаются предложения, а из предложений рассказы, эссе и повести — до сих пор не знает никто. Если бы можно было раз и навсегда узнать, как написать литературное произведение, которое прочитают и оценят, то литература перестала бы существовать. Но нам, людям, владеющим русским языком, под силу научиться отличать удачное сравнение от неуместного, настоящего героя от шаблонного персонажа, яркие детали от простой избыточности текста».

Чуть более оптимистична, но тоже без «пышных обещаний», информация на сайте «Creative Writing School» Майи Кучерской.

«Мы не обещаем превратить вас в Львов Толстых и Михайлов Булгаковых, но мы точно знаем: после занятий в мастерских вы будете писать лучше, чем прежде».

И в таком разрезе *raison d'être* курсов и школ вопросов не вызывает — и выглядит достаточно полезным. Повышает градус литературной жизни. Закрывает лакуну в писательском образовании. Наконец, служит еще одним каналом обратной связи между писателем и читателем. Каналом, более структурированным, чем гуляй-поле социальных сетей, где можно и «получить виноградной кистью по морде» (по Булгакову).

Вот и среди коллег-прозаиков — с кем более-менее общаюсь — за последние годы почти все успели где-нибудь попреподавать и помастерклассить. В том числе и сам —

последний год с небольшим подвизаюсь на одних онлайн курсах (не называю, чтобы не выглядело рекламой); и этим опытом доволен.

Так что даже могу поделиться некоторыми инсайдерскими наблюдениями.

Прежде всего о тех, кто идет на эти курсы. Как правило, люди, в писательском деле едва начинающие (было несколько случаев, когда приходили и вполне состоявшиеся авторы из поэзии, журналистики — попробовать себя в прозе). Вообще цели у участников разные. Серьезное желание стать писателями — то есть сделать это своей профессией — далеко не у всех; обычно где-то у трети. Остальные хотят сохранить писательство «для себя», на уровне хобби (но делать это более профессионально), либо улучшить свои стилистические навыки.

Возраст — в основном от тридцати до сорока; оптимальный для писания прозы, когда уже набран определенный социальный и психологический опыт, на который можно опираться. К тому же сегодня это, пожалуй, последнее поколение, чье детство пришлось на времена советского «литературоцентризма» — и которое имеет достаточно высокое мнение о литературе и писательском труде.

Главным образом — женщины; количество слушателей-мужчин в каждой группе — не более пятой части. Это вполне отражает общий тренд в современной российской прозе, у которой, как можно заметить, все более женское лицо.

По территориальному признаку — Москва и Подмосковье, реже Питер. Много (иногда — до половины группы) живущих постоянно или временно за рубежом; для них это, возможно, еще и способ сохранения связи с русским языком.

Багаж знаний о литературе, с которым приходят на курсы, очень разный. Большинство читало и продолжает перечитывать классику; встречаются довольно активные читатели современной западной прозы; современную русскую прозу читают, в основном, в объеме трех-четырех «топовых» имен. Существование толстых журналов для многих оказывается неожиданной новостью...

Уровень таланта тоже, естественно, разный. Вообще здесь имеет смысл говорить о двух талантах. О таланте собственно литературном и о таланте учиться, усваивать и применять новое для себя знание. Часто более литературно одаренные студенты, блеснув в начале курса, так и замирали на этом первом проблеске, а наделенные вторым талантом «середнячки» делали неожиданный рывок.

Последний вопрос: что происходит с теми, кто окончил. Собственно, ничего. На серьезных курсах никаких бутафорских писательских удостоверений не раздается (только сертификаты об окончании), и никакие литагенты никого не начинают опылять. Некоторые снова возвращаются на курсы — сочтя, что им еще нужно поучиться, или просто чтобы продлить удовольствие от самого процесса учебы. Некоторые оставляют писательство — почувствовав, что это не совсем для них. Некоторые, напротив, совершают окончательный выбор в пользу этой, своеобразной, рискованной и уж точно не хлебной профессии...

Нет, не думаю, что большинство завтрашних прозаиков выйдет из литературных курсов. Есть еще Литинститут. Есть университетские филфаки. Есть, наконец, «ресурс X», когда прозаик возникает из ниоткуда, без всякого литературного или хотя бы окололитературного образования, самосадом и самотеком. Но что-то нынешние писательские курсы и школы, думаю, изменят. Что-то в пейзаже нашего литературного завтра — если оно, конечно, наступит. Но о последнем моменте собираюсь написать отдельный, следующий «барометровский» очерк. Уже и название ему придумал: «Как убить литературу»...

Ефим Гофман

Задачу передоказав

Ефим БЕРШИН. Гранёный воздух. — СПб.: Издательство «Аничков мост», 2016.

Я охранял пространство и окно
от сновидений и дневного Бога.
Бродил по дому, допивал вино,
курил у деревянного порога.

Как сторож, окликал любую тень,
стоял столбом, как печь на пепелище.
Но кто-то вечно крался из-за стен
и проникал в уснувшее жилище.

И выдавал себя движеньем крыл,
и сквозняком, и осторожным шорохом.
Здесь Бог ночами тоже говорил.
Но только шёпотом.

Стихи эти, выразительные и сами по себе, с достаточной определенностью выявляют некоторые особенности авторского метода Ефима Бершина. Не случайно в его новой книге, озаглавленной «Гранёный воздух», приведенное стихотворение идет одним из первых.

«...движеньем крыл, / и сквозняком, и осторожным шорохом»... Присутствие незримой, крадущейся в ночи потусторонней силы обозначено здесь с помощью мельчайших штрихов. Едва заметных, почти эфемерных, но при этом — впечатляющих даже при самом беглом, поверхностном чтении. А слова о Боге, ночами говорящем *только шёпотом*, порождают ощущение загадки, тайны. Но по мере того, как мы с большей и большей углубленностью вчитываемся в эти строки, упомянутые слова воспринимаются не просто высокой поэтической эмоцией, передаваемой читателю. За ними ощущается основательная работа мысли, авторское стремление постичь суть того, что говорит Бог своим запредельно-тихим голосом. И одновременно ощущается понимание трудности подобного постижения.

«Только шёпотом» — а ведь надо же еще суметь этот шепот расслышать, преодолевая активный натиск «дневного Бога», суету обыденной жизни, довлеющей злобы дня. И тем самым еще на один крошечный шаг приблизиться к осознанию проблемы неизбежности существования любого человека на стыке земного и возвышенного. Или, если переформулировать словами Тютчева, «на пороге как бы *двойного бытия* (здесь и далее в цитатах курсив мой — Е.Г.)».

Не случайно Ефим Бершин и себя самого порой представляет посредством подчеркнуто-шероховатого сопряжения двух ипостасей. Предельный контраст между ними обозначен в первом же стихотворении книга. С одной стороны — ипостась обыденная, демонстрирующаяся здесь в нарочито-сниженном виде — как отражение в луже, где человеческое лицо выглядит подобием *верблюжьей морды*. С другой стороны — ипостась одухотворенная, причастная к вечным, незыблемым устоям, на которых зиждется мироздание — и... с застенчивой самоиронией подаваемая автором через обыгрывание хрестоматийной тирады из пушкинского «Памятника»: «*Нет, весь я не верблюд!* / Ещё душа под утро / блуждает за окном, отбрасывая тень. / И обещает ночь разливом перламутра / и старый Новый год, и скорый новый день».

Неразрывная связь эмоционального восприятия различных сторон существования с напряженными поисками его смысла — эта особенность, характерная в целом для стихов Ефима Бершина, вполне соответствует принципам, на которых строится традиция *философской лирики*. Той самой значительной ветви российской поэзии, к которой принадлежат и упоминавшийся выше Тютчев, и Баратынский (ау, знаменитые пушкинские слова о нем: «оригинален, ибо мыслит»!). Той самой ветви, влияние которой побуждала Мандельштам определять миссию поэта: «мы — *смысловики*».

Не противоречит подобным особенностям творчества Бершина и структура книги. Стихи разных лет и десятилетий расположены не в хронологическом порядке, а по принципу образно-смыслового родства. Даты написания каждой из вещей намеренно не указываются. Подобием несущих колонн, удерживающих общее собрание стихов, выглядят здесь три развернутые композиции: поэма «*Millenium*», стихотворный цикл «*Армения*» и — «*Монолог осколка*», представляющий собой нечто среднее между поэмой и циклом (случаи такого рода в поэзии порой встречаются: взять хотя бы «*Alter Ego*» Межирова; заметим также, что некоторые части «*Монолога*» убедительны и в отрыве от композиционного целого — в полном соответствии с общей «осколочной» проблематикой этой вещи, к которой мы еще вернемся). Что же до множества отдельных стихотворений (занимающих в книге наибольшее количество страниц), то они сгруппированы в ряд разделов, имеющих заголовки. Условные названия эти, однако, не воспринимаются привязкой стихов того или иного раздела к некоей единственной строгой теме. Осторожно обозначается лишь примерное образное поле. Но — одновременно — остается открытое пространство для свободных ассоциаций, возникающих в сознании читателя. Мотивы, проявляющиеся в одном разделе, аугаются с мотивами других частей книги. А сквозные тематические линии сборника переплетаются между собой и (самое главное) пребывают в непрестанной трансформации, за которой отчетливо ощущается движение и развитие *авторской мысли*.

Вернемся к образу человека, прислушивающегося к ночному шепоту Бога. Почему приходится прислушиваться, предпринимая для этого немалые усилия? Потому что человек от Бога отъединен, оторван. Более того, кажется подчас, что человек сотворен и брошен во Вселенную *неизвестно зачем*. Именно подобное ощущение неприкаянности — один из серьезнейших сквозных мотивов книги Бершина. Побуждающее либо к печальным констатациям: «Господи, я тоже чей-то сын./ Просто *затерялся* среди осин / в чреве персонального сугроба»; «Я *забыт*, как на поле боя забытый выстрел / выбирает цель, которой уже не видно». Либо — к горькой

мольбе: «Господи, вспомни! // Сам меня выбрал и самне *узнал*, / и никогда не узнаешь, похоже». Либо — к высказыванию, носящему характер вполне отчетливого тезиса:

И Господь меня не отлучит,
обрекая изгнанию и стуже,
не затем, что я праведно чист,
а затем, что я больше *не нужен*.

Тоскливым ощущением ненужности, пребывания на обочине, на периферии бытия отмечены у Бершина временами не только стихотворные автохарактеристики, но и образы глобальные: «И жизнь калиткой без забора / Скрипит *неведомо зачем*»; «фигура бесприютного бомжа — / как сгорбленная *формула вселенной*».

В попытках осознания и собственной судьбы, и судьбы своего поколения поэт порой не может уйти от чувства, что почва уходит из-под ног. Показательным в этом смысле представляется вошедшее в книгу стихотворение «Чужие небеса», стержневая составляющая которого — три вариации одного и того же печального признания.

«Ты помнишь этот сквер? / *Его сегодня нет*»... «Ты помнишь этот дом? / *Его уже снесли*»... И наконец:

Ты помнишь тихий Днестр в эпоху листопада
и лодку, что тайком забила в камыши,
и девочек в трико... и мальчиков...
Не надо.
Не надо вспоминать.
Они давно ушли.

Казавшийся светлым, простым и ясным мир детских, подростковых лет поэта, прошедших в Тирасполе, канул в бездну. Стабильность этого мира на поверку оказалась обманчивой. Под покровом, создававшим иллюзию безмятежности, — сплошные вопиющие разрывы, барьеры, трещины, пронизывающие всю нашу жизнь, все наше безумное существование.

Общим ощущением жестокой дисгармонии пронизаны многие, самые разные строки Бершина. Будь то скорбное признание непреодолимости разлуки с матерью, скончавшейся в другой стране: «Но это небо с этим ливнем / мне *не дано соединить*». Или манифестарно-емкое: «Мир уже *не рифмуется*». Или некоторые взволнованные куски того же «Монолог осколка»:

Нам, обезумевший от икоты,
освобожденный от праведных пут,
через *разрывы, раскаты, окопы*
пьяный чертежник прокладывал путь.
<...>
Мир — геометрия идиота.
Нам *не дано пересечься* уже.

Отторжением от сомнительной хаотичности, окружающей со всех сторон, прущей из всех дыр, обусловлены и реакции поэта на конкретные животрепещущие проблемы нынешней реальности. Будь то суетливая мода на эмиграцию («Пространство — фикция. Оно / к себе притягивает страстно / лишь тех, которым не дано / перемещаться вне пространства»). Или не менее суетливая подмена подлинной духовности всевозможными суррогатами («и люди, словно от ненастья, / в церквях *спасаются от Бога*»).

Или же — общее засилье *симулякров*, обусловленное распространенной на сегодняшний день склонностью многих людей создавать вокруг себя ореол ложной значительности, конструировать претенциозные образы собственной персоны, умело драпирующие серую, заурядную суть. Не случайно заметные, обширные куски поэмы «Millenium» посвящены назойливому мельтешению масок. Снующие по темным улицам Гамлет и Лир, Гея и Гесиод здесь — всего лишь химеры, прикрывающие отсутствие истинного человеческого лица.

Этот маскарад воспринимается как апофеоз фальши. И выглядит вполне закономерной частью общего сумрачно-фантастического образного мира рассматриваемого сочинения, имеющего показательный подзаголовок «Поэма Распада». Именно его — *распада* — мелодию играет здесь таинственный нищий-трубач, «аккомпанируя судьбе». И уже сами по себе эти звуки ощущаются в контексте поэмы отзвуками всамделишных — отнюдь не карнавальных и не игрушечных! — труб Апокалипсиса. Эпиграфом из него открывается «Millenium» — и это в данном случае симптоматично.

Кульминационный момент поэмы — в своих странствиях по ночной Москве герой-поэт и его таинственная муза в черных одеждах набредают на кабака, где идет *игра*:

Там из раскрытого окна
блевал герой гламурных оргий.
И на груди его Цена
горела, как почётный орден.

И далее — гротескный парафраз на мотив пушкинского «Гимна Чуме»: «Итак, хвала тебе, Цена! — / Чума ухватистого века»... Дух не просто продажности, но — запредельной одержимости материальными, рыночными ценностями, захлестывающий современную цивилизацию, осознается в поэме как эпидемия, как подобие опаснейших болезней, одолевавших человечество в минувшие века. И — как благодатная почва для непрестанного, вечного разгула Зла. «Они ещё, случается, нежны, / Зато всё лучше *бьют от живота*»; «Предательство оплачено сполна. / Иуде не осилить эти суммы. / Они разумны, Господи! / Разумны! / И в этом суть. / И в этом *их вина*...»

Впечатляюще отражаются в стихах Бершина обличья, которые может принимать Зло. Будь то вспышки этнической и конфессиональной нетерпимости («Гуляет Иудейская война / по переулкам Старого Арбата»; «Как дружно иудей и славянин, / погромщики, погрязшие в пороке / <...> и праведник на медленном осле, / и стражник из садов архиерея / уже сошлись в едином ремесле, / готовя крест *заблудшему еврею*» — то есть, Христу). Или ситуация, по мандельштамовскому выражению, «крупных оптовых смертей» — непрекращающейся перманентной бойни, чреватой перерождением в некий тотальный абсурд. Масштабная его демонстрация занимает немалое место в «Монолог осколка», где опыт непосредственных впечатлений (как журналисту Ефиму Бершину довелось заниматься освещением военных действий в «горячих точках» бывшего Советского Союза: в Приднестровье, Чечне) переплавлен в трагические обобщения, тревожно подсвеченные всплывающим образом античного бога войны:

Одна вина конкретна.
И война
конкретна, как конкретны пятна крови
и небом продырявленные кровли.
Сквозь них пока не хлынула вода,
но виден *Марс* в своей нелепой роли
Рождественской звезды.

Покуда цел
 несчастный снайпер и тасует лица,
 он взят уже другими на прицел.
 Меж снайпером и целью нет границы
 в стране, где выстрел — средство, а не цель.
 И цели нет.
 Она нам только снится...

Иными словами (как говорится в том же «Монолог»):

Будут прямые дружить *на кресте*,
 будут гвоздями пронизывать руки,
 будут, свистя, возвращаться на круги
 пули в свирепой своей наготе.

Безысходности подобных выводов вполне под стать и символический пейзажный ряд, характерный для многих стихов Бершина. Это — и обилие осенних листопадов и дождей (не случаен в этом смысле рефрен одного из стихотворений книги: «Я — поводырь дождя»). И августовский *яблокопад*, знаменующий собой переход от лета с его теплом и солнцем к неизбежным суровым холодам (заметим, что этот образ из стихов Бершина мало общего имеет с известным «Яблокопадом» Вознесенского, и выглядит по отношению к нему подобием сознательно-пасмурной постмодернистской антитезы). И печальная картина надвигающейся зимы: «там, где между небом и землёю / нет границ и обнажилось дно, / снегом, словно белой золою, / прошлое уже погребено». Мир, предстающий в процитированных стихах, пребывает в стадии *заката*, в режиме оледенения и тления — и реакцией на распад и кризис воспринимаются строки, на первый взгляд, представляющиеся загадочными:

Если можешь, начинай сначала
 эту жизнь.
 А я начну — *с конца*.

Почему же «с конца»? Потому что — с ощущения непоправимости образовавшегося мирового расклада. С ощущения безнадежности попыток вновь, *с начала*, переигрывать те самые варианты существования, которые уже выявили свою истерпанность. С понимания необходимости подняться на другую качественную ступень осмысления собственной жизни и общей ситуации, в которой все мы волею судеб оказались. Подобно тому, как это происходило в знаменательный исторический *переходный период* двухтысячелетней давности, с которым ассоциируется у Бершина сегодняшнее переломное время.

Показательным представляется стихотворение, где улицы нынешней Москвы уподобляются одичавшему Иерусалиму времен царя Ирода, а лирический герой-одиночка («юродивый, дурак, потомок пилигрима») сознательно стремится дистанцироваться от существующего порядка вещей. Он творит *молитву на уход*. То есть, на перемещение в принципиально иную атмосферу. Или — если осмысливать ситуацию в категориях евангельского хронотопа — «в блаженный Вифлеем, // где сеном дышит хлев, / и путь ещё не ясен, / и гонят пастухи покорные стада, / и жертвенным быком у изголовья ясель / под самым потолком беснуется звезда».

Изгойство, отщепенство, содействующее отстаиванию высоких ценностей, может быть, как мы знаем, не только персональной позицией. Немалый ряд исторических прецедентов показывает, что подобным путем шли в определенные эпохи целые

народы — и обстоятельство это с достаточной предметностью отражено в цикле Бершина «Армения».

«Ревёт аэропорт. Я выставлен за двери, / как ты — за Арарат», — невесело восклицает поэт в конце цикла, уподобляя свою ситуацию участи маленькой страны, тяготеющей к христианской цивилизации, но волею судеб очутившейся в отрыве от ее мировых центров. Вдалеке, на отшибе, «в задушенном кармане раскормленной горы»... Ассоциация, кажется, достаточно обоснованная. Не менее обоснованна и параллель с судьбой другого народа-скитальца: «Армения — сестра пустынной Иудеи / по небу и Отцу» (в этом случае, как и во многих других, Бершин, похоже, идет по стопам Мандельштама).

Но его поэтическая оптика работает и на уровнях, требующих по-особому пристального всматривания.

Взять хотя бы образ *осколка*, предстающий в уже неоднократно упоминавшейся и цитировавшейся нами программной композиции Бершина. Природа этого образа — амбивалентна. С одной стороны — подобие ужасающей нормы сегодняшнего существования. Кусок металла, пули, боевого снаряда, символизирующий начало смертоносное, нацеленное на всеобщее уничтожение («Ты прости, / если я в тебя не попал. / Ты прости, / если я ещё попаду»). С другой же — решительное отклонение от этой нормы. Мельчайший элемент, являющийся единственным прочным, не поддающимся разрушению началом в донельзя катастрофичном нынешнем мире. Элемент этот — *личность*, ее внутренний стержень.

Вспоминается с виду парадоксальное суждение, высказанное Ефимом Бершиным на недавнем, Седьмом международном конгрессе «Русская словесность в мировом культурном контексте»: в эпоху осколков нельзя быть стеклом, нужно быть осколком(!), иначе уничтожат. Иными словами, принципиальный отказ от готовности быть частью того или иного бездумного массового потока, установка на предельную независимость позиции воспринимается поэтом не просто как сознательный нравственный выбор, но как необходимое условие духовного выживания.

Рельефным отражением подобной идеи является притчеобразное шестое стихотворение из «Монолога осколка», строгое по своей интонации, собранное и точное по образному ряду:

Я встал меж ними,
где дышали
воронки струпьями огня.
И с двух сторон они решали,
Кому из них убить меня.

Но не решили.
Солнце село,
изнанку леса показав.
Я спутал логику прищела,
Задачу передоказав.

Самостоятельный поступок трактуется здесь поэтом как предоставленный человеку шанс выявления своего места в мире. Как возможность осознания себя в качестве одухотворенной индивидуальности.

Или — как свой, незаемный способ решения предельно важной, насущной жизненной задачи. Как собственный метод доказательства универсальной *теоремы духа* — и не случайно подобная метафора возникает в стихотворении, посвященном выдающемуся философу Григорию Померанцу, чья фигура для Бершина является

серьезным ориентиром (равно как и фигуры крупных поэтов — Инны Лиснянской, Юрия Левитанского, Бориса Чичибабина, которым адресован ряд стихотворных посвящений книги; равно как и фигура замечательного писателя Андрея Синявского, которому посвящен ряд проникновенных страниц автобиографического романа Бершина «Маски духа»).

«Я — один. / Ваши корни — в земле. / А мои — *в небе*»... Именно этими словами завершается цикл «Монолог осколка». Но проступающая в них принципиальная неготовность покориться гнетущей обезличивающей серости, царящей везде и повсюду — отнюдь не единичный у Бершина случай. По своему пафосу эти строки перекликаются с еще одной программной вещью поэта — триптихом «Человек параллельной эпохи», где плодотворная высота устремлений обозначена с наименьшей определённости: «выковыривать душу из тела, / словно зёрнышки из миндаля».

Да и во множестве других стихотворений, вошедших в книгу «Гранёный воздух», ощущается присутствие того же смелого авторского посыла, той же готовности «скользнуть внезапно, как за катет, / *за грань* истерзанного мира». Иначе говоря — сбросить груз бездумно затверженных догм и нормативов. Прислушаться к голосу собственной совести. Заново, со всей свежестью восприятия прочувствовать и осмыслить значимость сохранения и поддержки духа любви, милосердия, человечности — в окружающей действительности и в каждом из нас.

«...Контрабас, / контрабольш, / контрапункт / приглушенного грехопадения...»

Сознательные и бессознательные отсылки к сакральной цифре *три* в книге «Гранёный воздух» отнюдь не случайны. Будь то уже упоминавшееся наличие в ней трех обширных композиций. Или возникающий в седьмой части цикла «Армения» троичный фонетический образ знаменитого озера, пропущенный: а) сквозь призму реальности — *Севан*; б) сквозь призму искусства — *Сезанн*; в) сквозь призму чуда — *Сезам*.

Вот и в данном случае три слова, схожие по звучанию, несут весьма существенную символическую и смысловую нагрузку. Перед нами — подобие троекратной попытки определить: что же представляет собой по сути высочайшая и священная *первооснова бытия*, на языке различных конфессий именуемая Богом?

Контрабас — то есть опора, подобная музыкальному инструменту, низкие звуки которого служат фундаментом оркестрового звучания. *Контрабольш* — то есть утешение боли души, утешение в страданиях. Но в первую очередь — *контрапункт* (противосложение). То есть — в соответствии со значением конкретного музыкального термина — подобие второго голоса фуги. Накладываясь на ее изначальный, первый голос он в то же время предельно контрастирует с ним, служит ему противовесом.

Точно так же духовные ценности и идеалы служат противовесом изначальному несовершенству жизни. Альтернативой тому, что в Книге Бытия трактуется как *грехопадение*, как изгнание из Рая. А соответственно, именно они — идеалы и ценности — побуждают воспринимать и свободный человеческий духовный рост, свободную тягу личности ввысь как движение *вопреки, наперекор, против течения*.

Эвелина Меленевская

Вокруг родника

О ереванских конференциях русистов

Погожий осенний день, тронутое золотом предгорье, 130-й километр трассы Ереван—Степанаван. У дороги — одетый в черный гранит родник, к которому ведут несколько ступенек. Останавливается автобус, из него высыпают люди. Это литературоведы, участники очередного ереванского съезда филологов, а гранитный родник — памятный знак, советский аналог хачкара, поставленный в 1938 году на месте знаменитой встречи. (*«Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». — «Что вы везете?» — «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.»*) В наши дни в горе прорублен тоннель, та «крутая дорога» оказалась заброшена, памятник стал разрушаться, и тогда армяне, при всех сложностях нынешнего бытия, все-таки нашли средства, чтобы перенести его вниз, на торный путь, по которому могут прийти к нему те, чью душу трогают такие сюжеты.

Поневоле впадая в пафос, подумаешь, что родник этот — не просто обозначение встречи, о которой нам никогда не узнать, была она или Пушкин ее придумал. Нет, это символ, куда более объемная примета любви к русской культуре, деятельного неравнодушия, которое, когда с ним сталкиваешься так зримо, не может не вызывать благодарного ответного импульса. Особенно в нынешних обстоятельствах, когда окрест рушатся многовековые братские, как прежде говаривали, связи. Утраченное братство не утрачено, родник русской литературы «немолчно» звучит.

«Есть ценностей незыблемая скала»...

Есть, и еще одним доказательством тому — ежегодные конференции, посвященные «круглым датам» классиков русской литературы, которые в нынешней своей форме (в тучные годы порой дважды в год) проводятся в Ереване уже двенадцатый раз. (Напомню, что практика подобных — тогда всесоюзных — литературоведческих съездов была заложена еще в 1962 г., когда в стенах Ереванского пединститута русского и иностранных языков имени В.Я.Брюсова прошли первые «Брюсовские чтения»; в 2016 году состоялись уже 16-е).

С распадом СССР научная работа по изучению и популяризации русской литературы, исторически имевшая в Армении широкий размах, пошла на убыль. Однако со временем, которое лечит, мощь традиций взяла свое, и трудами тех, кто зрит

Меленевская Эвелина Дмитриевна — переводчица, эксперт по комплектованию библиотечного фонда, сотрудница Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

жизненную необходимость в разнонаправленных, но в первую очередь литературно-культурных взаимоотношениях армян с Россией, эта деятельность возобновилась — теперь уже с полным и благодарным осознанием возможности подойти к классической литературе с позиций современности, выявить ее вечную актуальность без идеологических и всяких иных шор.

Ереванские конференции — событие, и заслуживают особого разговора. В перечне писателей-классиков, которым они посвящались, Н.В.Гоголь (2009), А.П.Чехов (2010), Л.Н.Толстой (2010), М.Ю.Лермонтов (2011 и 2014), Н.А.Некрасов (2011), А.С.Пушкин (2012), И.С.Тургенев (2013), А.Н.Островский (2014), М.Е.Салтыков-Щедрин (2014), А.С.Грибоедов (2015) и Н.М.Карамзин (2016).

За событием, когда оно приобретает регулярность, непременно стоит энтузиаст. То есть не стоит, конечно, а горы сдвигает. В нашем случае он и перенос памятного родника организовал, и идею конференций «по круглым датам» в жизнь воплотил. Литературовед, профессор М.Д.Амирханян, сущий, не побоюсь сказать, миссионер, сумел облечь свою любовь к русской культуре в энергичное ей служение. Именно он, будучи председателем общества «Армения—Россия» в рамках Армянского общества культурных связей и сотрудничества с зарубежными странами, задумал и год за годом проводит — с беспрецедентным армянским гостеприимством — международные съезды филологов. Организационная нагрузка его поражает — как правило, находя (но порой, увы, и не находя) должную поддержку со стороны российских в Армении представительств.

Между тем как не задуматься, почему именно там, «за хребтом Кавказа», так насущна идея мирового звучания («всемирной отзывчивости») русской литературы? Так заманчиво ее рассмотрение сквозь призму национальных литератур? Загадка это, «влечение, род недуга» или естественный порядок вещей, следствие давнего соседства? Как бы там ни было, предоставляя исследователям возможность живого общения и свободного, это настоятельно подчеркивается, интеллектуального обмена, цикл ереванских конференций имеет четкую концепцию — сфокусировать внимание исследователей на одном из классиков русской литературы с точки зрения его влияния на общий историко-литературный и культурный процесс.

С понятной гордостью подсчитано, что с 2009 года на ереванских «сборах» побывали «около 500 докторов и кандидатов наук», профессоров и доцентов, — и это не только филологи, но и лингвисты, философы, искусствоведы и просто любители русской словесности из вузов и научных центров около 40 городов России, бывших республик СССР, а также Италии, Германии, Словакии, Румынии, Испании, США и Китая.

Так и выходит, что, служа взаимообогащению русской и национальных литератур (плодотворные личные контакты, обмен идеями и т.д.), эти съезды филологов отражают, что называется, «state of the art», рабочее состояние литературоведения стран-участниц — не самый передовой его фронт, не линию, скажем, Лотмана, но надежную линию обороны.

Судить об этом можно по сборникам трудов, которые — это существенно и беспрецедентно — организаторы успевают издать к началу работы конференции. Налицо возможность сразу ознакомиться с полным текстом выступлений, очерчивающих деятельность русского классика, как ее видит современный исследователь. К тому же практика такова, что участникам заседаний нет нужды зачитывать свои доклады, они ограничиваются кратким их пересказом. Ибо страшно подумать, сколько времени заняли бы выступления — ведь, к примеру, на десятую по счету, салтыков-щедринскую конференцию было прислано 87 сообщений из 12 стран, и сборник ее трудов представил собой 850-страничный «кирпич».

Отметим динамику: в первом этого ранга «филологическом сборе» (по случаю 200-летия кончины Н.В.Гоголя) участвовало двадцать литературоведов. Концептуаль-

ное название его: «Н.В.Гоголь: русская и национальные литературы» — стало сквозным для всех последующих конференций. Гоголевская убедительно показала, что интерес армян к писателю (впервые по-армянски «Тарас Бульба» был издан еще в 1891 году — в Нагорном Карабахе, в Шуше) не угас, что значение его в развитии русской и национальных культур огромно, а выступление Н.А.Басилая (Тбилисский университет) о лиризме повести «Старосветские помещики» дает мне повод отметить, что с тех пор грузинские литературоведы неизменно и плодотворно присутствуют на каждой из ереванских конференций.

Примером тому может служить и чеховская, ознаменовавшая собой 150-летие классика. На дворе стоял сложный для России и Грузии 2010 год, но, как вспоминают организаторы, «А.П.Чехов усадил в президиум конференции посланцев обеих стран». Подводя итоги, участники отметили, что продемонстрирована «бездна любви» к Чехову, и единодушно сошлись в том, что политика политикой, а ценители русской словесности должны общаться, не теряя друг друга. Раз уж сложилось, что русский стал «языком многонационального общения», надо эту ценность беречь. Ведь неискраемый интерес к русской классике не только позволяет открыть новое в понимании порой зачитанного до дыр текста, но и дает импульс к раскрытию творческих задатков, потенциала самих исследователей. В этом тоже — смысл взаимообогащения культур.

В 2011 году состоялась конференция «М.Ю.Лермонтов: русская и национальные литературы», приуроченная к 170-летию гибели поэта, в которой приняли участие ученые Грузии, Армении и России. «Вряд ли где-нибудь еще эта дата отмечалась на таком уровне», — писал «Вестник МГУ» (Сер. 9, Филология, 2012, № 1), оценивая налаживание научных контактов как «ренессанс».

Мысль о духовном родстве русского и армянского народов неизменно проходит через все конференции, и доклады, на материале творчества того или иного писателя освещающие культурное взаимодействие двух стран, зачастую свежи и оригинальны. В ходе чеховской было рассказано об участии Чехова в выпущенном в 1898 году в Москве сборнике «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам». В рамках толстовской, также состоявшейся в 2010 году, на примере Армении показано, как отозвался «уход Толстого» в едином культурном пространстве Российской империи, и оценены заслуги армянского писателя Стефана Зорьяна (1890—1967), переводчика «Войны и мира» и инициатора издания десяти томного собрания сочинений Л. Толстого на армянском языке. На лермонтовской конференции 2014 года — из классиков Лермонтов один, как нераздельно связанный с Кавказом, удостоился двух конференций — докладом ««Ашик-Кериб»: контент оригинального текста и соответствие композиций» авторы, А.М. Амирханян и Е.В. Белоусова, внесли свой вклад в давнюю полемику касательно корней и истоков этой сказки, проследив бродячий сюжет о бедном ашуге в древнеармянской житийной литературе конца IV—начала V века. На грибоедовской 2014 года обсуждались отзвуки армянской исторической легенды о Радамисте и Зенобии в драматургии П.Кребийона-старшего и А.С.Грибоедова. На щедринской 2015 года задались вопросом «Нужен ли Салтыков-Щедрин в армянской школе?» И примеров такого рода, не говоря уж о неперенных «имярек в армянских переводах и армянской прессе», — в избытке. Не случайно, анализируя труды последней, 2016 года конференции, специалист по Карамзину Л.А.Сапченко отметила особую ценность материалов, касающихся проблемы «Карамзин и Армения».

Впрочем, как бы ни выделялась содержательно русско-армянская тема (согласимся, эта доминанта понятна), для всех двенадцати сборников «трудов» характерны широта и разноплановость подходов к наследию писателя, вынесенного в заголовок: можно сказать, что каждый из участников конференции представил здесь, условно говоря, «своего» Пушкина, Некрасова или Тургенева. Среди авторов — и узкие

специалисты по классику-юбиляру, и те, кто впервые обратился к исследованию его творчества, привнеся свежий взгляд и новые ракурсы рассмотрения. Диапазон охвата, заданный названием конференций («Имярек: русская и национальные литературы»), всегда широк: от вопросов частных, конкретных, фактологических — до обобщающих, принципиальных, включенных в обширный историко-литературный и культурно-философский контекст. От «Американского дискурса в культурном универсуме переводов Н.М.Карамзина» и «Оценочных средств в идиостиле А.С.Грибоедова» до «Духовных истоков экфрасиса и диегезиса в художественном слове Л.Н.Толстого и М.Ю.Лермонтова»...

Понятно, что среди гостей русские участники неизменно преобладают; в большинстве своем это преподаватели вузов (от Москвы до Томска, от Санкт-Петербурга до Таганрога). Расширяя географию, отмечу исследователей из «дальнего зарубежья». На карамзинской конференции интересно выступили немка Михаэла Бёмиг (Неапольский университет «Л'Ориентале»), на материале «Писем русского путешественника» междисциплинарно рассмотревшая проблему «Н.М.Карамзин и физиогномика Лафатера», и итальянский славист Стефано Гардзонио (Пизанский университет), установивший, что стихотворение «Фиалка» принадлежит не В.А.Жуковскому, а Н.М.Карамзину. А участникам толстовской конференции запомнились выступления молодых «филологинь» из Китая, в Ереване проходивших магистратуру: одна из них рассмотрела проблемы перевода на китайский язык романа «Война и мир», другая проанализировала «Анну Каренину» в свете философии конфуцианства (не удержусь, вырву из контекста, процитирую: «Конфуцианство Анну-изменницу не принимает и не простит ее никогда»).

Классика на то и классика, что не стареет и отзывается в сегодняшнем дне, в век интернета не потеряв своего общественного звучания. Умение уловить в классическом тексте современную ноту, литературоведы демонстрируют с каким-то особым шиком. Раздолье в этом смысле предоставляет наследие Салтыкова-Щедрина, назвать только «Пути переосмысления щедринской сатиры в современной отечественной поэзии (на примере поэмы Т.Кибирова "Жизнь К.У. Черненко")» или «Феномен добровольной бедности в современной России как проекция закона эгоистического самообмана М.Е.Салтыкова-Щедрина». Но и автор «Бедной Лизы» в свой 250-летний юбилей не отстает, его издательские приемы живы в сетевых журналах для детей и подростков, его героиня предстает и в зеркале пародийных интернет-ресурсов, и в современном медиапространстве Латинской Америки, да и самое имя его, «Карамзин», озаглавило собой поэму Людмилы Петрушевской, деревенский дневник о 90-х годах прошлого века.

Таким образом, во всей своей многогранности каждый из двенадцати сборников трудов ереванских конференций выглядит... ну, если не как энциклопедия жизни и творчества писателя, это вряд ли... скорее, как справочник-сoppanion, которые так любят издавать западные университетские издательства. Научная ценность их очевидна. Они отражают и славное прошлое, и современность. Недаром сборник «А.Н.Островский: русская и национальные литературы» в 2015 году вышел в победители проводившегося в Ижевске Первого международного конкурса учебных и научных изданий «Вузовская книга Евразии» и в ряде стран постсоветского пространства включен в список литературы, рекомендуемой студентам-филологам.

Что до А.Н.Островского, то конференция, посвященная 190-летию со дня рождения классика, состоялась с выездом в Нагорный Карабах. Часть докладов прозвучала в Ереване, часть — в Степанакерте, в актовом зале Арцахского университета. «Большой портрет еще молодого Островского с грустинкой в глазах украшал занавес», — трогательно повествовала газета «Голос Армении». «Для местной интеллигенции это стало событием... Потом была поездка в Гандзасар, памятник архитектуры XIII века. В начале 90-х линия фронта проходила неподалеку от монастыря. Лишь один

снаряд попал в стену, опоясывающую монастырь, но и тот не взорвался, так и остался в стене напоминанием... По окончании конференции силами студентов были показаны отрывки из “Грозы”. Гости с интересом узнали, что театр в Шуше основан в 1865 году».

Так же на выезде, у памятного родника — 6 июня 2012 года, в день рождения поэта! — открылась конференция, посвященная 175-й годовщине гибели А.С.Пушкина. Оттуда литературоведы переместились в Степанаван, где продолжили работу в доме-музее Степана Шаумяна (уместно окрасив разговор известным высказыванием В.О.Ключевского: «О Пушкине всегда хочется сказать очень много, всегда наговоришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует»). И замечу, что всякий скепсис по поводу встречи Пушкина с арбой, везущей останки Грибоедова, армянские литературоведы с твердостью отмечают, М.Д.Амирханян в своей книге «Грибоедов и армянский мир» посвятил этому главу.

В 2016 году, однако, посещение родника (с заездом в Дилижан, дорогой к Севану) не состоялось: не наскребли денег. Обратившись за помощью в «Россотрудничество», получили отказ: бюджет на «содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России», дескать, истрачен на групповое восхождение на Арагат. Ну чем не щедринский сюжет?

А ведь эти поездки... Трудно переоценить опыт подобного — непосредственного и эмоционального — включения в историю и культуру соседей. Именно этой задаче служит неперенная составляющая «ереванских литературных форумов» — культурная программа. Знакомство гостей с историческим и культурным наследием Армении имеет не только этнологическое, но и, как выразился один грузинский литературовед, эмоционально-научное значение. Из этого ряда, не говоря уж о роднике, поездки к античному храму в Гарни, в скальный комплекс Гехард, в монастырь Хор-Вирап у подножия Арагата... Из этого ряда и посещение коньячного завода «Ной», что находится на территории бывшей Эриваньской крепости, где в 1828 году, вопреки запрету, силами гарнизона — в присутствии автора, и Грибоедов, говорят, одолжил Чацкому свой фрак! — были впервые поставлены отрывки из «Горя от ума». И то, что беседы о литературе продолжаются и вне стен Брюсовского университета, в прогулках по Еревану, в автобусах, на катерке по Севану и — а как же! — в неперенном застолье, окрашивает «страну москательных пожаров и мертвых гончарных равнин» в яркие краски Сарьяна и Аветисяна, буквально открывает всем, кто причастен к этому, новые миры.

Так складывается не знающее границ профессиональное братство. Как сказали бы социологи, происходит сближение по признакам, связанным с формированием когнитивных концептов и устойчивых объединений.

Побывав на щедринской конференции, москвичка, профессор Э.Ф.Шафранская делилась: «Я теперь “ушиблена” и Ереваном, и армянской историей. Мои последние лекции студентам только об армянской культуре, о вашем городе. Запоем прочитала “Тоску по Армении” Юрия Карабчиевского (теперь читают студенты)...»

На авансцене общественного внимания

Два письма по следам публикации о Константине Федине

Дорогая «Дружба народов»!

В двух номерах журнала (2014, №№ 5 и 6) была опубликована моя биографическая книга о мастере советской литературы Константине Федине. Автор таких красочных произведений, как романы «Города и годы», «Братья», повесть «Трансвааль», мемуарное полотно «Горький среди нас» и др., Федин уделял много сил и внимания творческой молодежи. Своим литературным учителем его считали Юрий Трифонов, Николай Евдокимов. Вел переписку и со мной, давая много своевременных и полезных советов.

Один из парадоксов, на которые щедра человеческая история, состоял в том, что сам Федин тогда ни в какой поддержке с нашей стороны не нуждался. Он и без того находился на авансцене общественного внимания, в свете прожекторов и юпитеров. Был «министром литературы» — руководителем Московской писательской организации, не одно десятилетие — первым секретарем и председателем Союза писателей СССР. Лауреатом Сталинской премии, академиком, приятелем и другом Ромена Роллана, Стефана Цвейга, прочих мировых светил.

Между тем на «министерских» своих постах, наряду с подвижничеством таланта, Федин совершил немало казенных поступков. За них-то некоторые нынешние скороспелые правдолюбцы стремятся чохом известить его как художника и с тавром «Федин беден» сопроводить на кладбище «поминок по советской литературе». Вот во всем этом я и стремился разобраться в журнальном варианте биографической повести «Уроки с репетитором, или Министр собственной безопасности».

Через год полный текст книги вышел в московском издательстве «Вече» в серии «Историческое расследование» под измененным названием «Загадки советской литературы. От Сталина до Брежнева». Книга имела немало печатных и читательских откликов. Один из них, может, наиболее личностный, потому что исходит из семейного окружения К.А.Федина, я бы и хотел предложить вашему вниманию. Это своего рода семейная рецензия на полный текст книги, не сразу отыскавшая автора. После долгих обсуждений и по общему решению написал ее внук Константина Александровича — доктор биологических наук Константин Роговин. По духу она очень деловая и трезвая. В нынешнем году, когда широко отмечается 125-летие со дня рождения Федина, стоит, чтобы был услышан, возможно, его собственный преображенный временем голос.

Ваш Юрий ОКЛЯНСКИЙ

Уважаемый Юрий Михайлович!

Письмо это, посвященное оценке Вашей книги о Федине, пишу я, выражая мнение всей нашей большой семьи, включая и здравствующую поныне Нину Константиновну Федину. Мы все по очереди читали Вашу книгу и живо не единожды обсуждали ее в семейном кругу. Должен Вам сказать, что книга о деде произвела на всех нас очень положительное впечатление. Вы впервые за многие годы дали вполне объективную и достаточно хорошо аргументированную характеристику Федина как писателя и «окололитературного деятеля» послевоенного периода. Почти только послевоенного. Вы мало говорите о том, сколько делал со знаком +, и какую роль играл Федин в литературной жизни страны 20-х—30-х годов. А роль его немалая, и она хорошо просматривается при чтении томов «Федин и его современники», выпускаемых сейчас ИМЛИ и Музеем Федина в Саратове. (Книга 1. 2016, выход книги 2 планируется в 2017 г.). Достаточно только пробежать глазами по перепискам с Сологубом, Замятиными, Воронским и др., чтобы уже стало понятным, сколько Федин делал, как отстаивал настоящую литературу и собратьев по перу не без риска для себя, что называется «над пропастью по проволоке ходил» в довоенное время. И только, пожалуй, фигура Горького живого служила надежной защитой... В этом смысле сказать, что Федин был кабинетный человек, занявшийся не своим делом, не совсем правильно. Правда в том, что перемена в нем произошла, и рубежом, обозначившим эту перемену, была Война.

Для меня смолоду всегда дед как писатель раздваивался как бы на двух персонажей, на того, кем он был до войны, и того, кем стал после. Это касается и его книг, и его дел. Тут можно, пожалуй, согласиться с каверинской характеристикой Федина в «Эпилоге», если выкинуть преднамеренное принижение Кавериным литературных заслуг К.Ф. (Каверин по словам Н.К. в молодости страшно завидовал именно литературным успехам Федина) и откровенное вранье, как-то о приезде Демичева с Брежневым за советом, да, пожалуй, сделав поправку на сквозящие у Каверина в «Эпилоге» нотки обиды за закрытые «Литературной Москвы»). Там в «Эпилоге» есть одна очень показательная фраза Федина, которой Каверин заканчивает: «А тебе больше нравятся сталинские тройки?» (я верю, то это точно было сказано Фединым, в отличие от многого, что в кавычках приводят современники, тот же Корней Иванович Чуковский в своих дневниках (не говорил дед с К.И. такими словами, не его лексикон). Но вот, насчет «троек» — очень на деда похоже. Страх реставрации у него был большой, оснований для этого было тоже достаточно. Боялись все из его поколения, пережившие, пусть даже благополучно сталинскую мясорубку. Но он пуще многих.

Что было причиной перемены, случившейся после Войны? Причин м.б. несколько, и что первично, а что следствие первопричины — не берусь судить.

1. Был страх быть репрессированным при Сталине. (Очень хорошо, что в противовес басне Дмитрия Быкова, Вы приводите реальную историю с арестом Бруно Ясенского. С Фединым было именно то, что вы описываете как случившееся с Леоновым. Это была такая методика у них — ездить по дачам и пугать тех, кого нужно пугнуть. Н.К., которая при том присутствовала (ей было 15 лет), рассказывала, что отец просто послал молодцов трехэтажным матом, когда понял, что не за ним, крикнув: «Вы что не знаете, где кто живет, ...!» Они развернулись и ушли, не сказав ни слова. Они возили с собой коменданта «Городка», который уж точно знал, где кто...)

2. Был болен смертельно, но выжил, хотя обе его сестры от чахотки погибли.

3. Войну выиграли (то правда, что он был пессимистом в начальный период войны; показательно, что писал в войну в основном невоенное), но то, что Д. Быков выдает за правду (сюжет в присутствии Пастернака и его развитие) — дешевое вранье, из разряда «бабы лясы у колодца точили».

4. Был страх реставрации сталинизма и была совершенная уверенность в том, что «Оттепель» захлебнется. (Конечно не Федин виноват в том, что она захлебнулась. Веру в это оставим для дураков. Даже если бы не такой «мудрец», как Хрущев, стоял во главе страны, и был бы более умный, и этот умный попытался бы реформировать страну экономически, то и тогда никакой «Оттепели» бы не было, потому что реформы такого масштаба и в такой стране, имея ввиду традицию, уровень сознания и т.п., можно было проводить только чужинской рукой диктатуры. Федин это очень хорошо понимал. Вернее, думаю, сказать — понял. И моментом этого понимания была выигранная Война.)

5. Исписался? Сказать так тоже неправда. Писать он все-таки умел, и мог хорошо писать. Вы эту мою точку зрения вполне разделяете. Но после «Первых радостей», когда уже чувствовалось, что вязнет, мог бы и точку поставить (в конце-то концов после «Необыкновенного лета»; тут уж ясно и ему самому было — «шедевра не получится»). Почему он не поставил точку? Лавры уже получил. Почему не переключился на легкое, что наверняка получилось бы хорошо — на воспоминательное (вроде Катаевского «Алмазного венца»)? У меня нет на это ответа. Знаю только, что разговоры о том, чтобы бросить «Костёр» и начать писать воспоминания в доме были. В нем была какая-то врожденная потребность доводить до конца начатое.

Зачем же он впрягся в руководство Союзом писателей? Я все-таки против примитивных толкований примитивных толкователей, что по себе судят. Он был все-таки большого ума человек (м.б. даже больше ума, чем таланта; читаешь его дневники и письма и, порой, ловишь себя на этой мысли). Так вот, зачем он согласился... А чтобы хуже не было. Примитивное объяснение? Вовсе нет. Я тут, недавно передал в саратовский музей письма Б.Л. Пастернака, что Н.К. долго не отдавала и хранила дома. Потом решила отдать. И вот в связи с этой «жертвой», я как-то окупился в историю с «Живаго» и пр. Все это уже пережевано, измусолено, всем все известно. Однако самое интересное для меня было другое — обстановка той поры, в которую я как-то немного погрузился, читая всякие там записочки Федину, не чиновников из ЦК и помельче, а самих писателей и писательниц (и очень приличных). Как же они все «дрейфили», как подставляли!

Это ведь они, из его поколения, так хотели видеть во главе именно Федина. А потом подставляли, трусили, прятались, сказывались больными. Тот же близкий товарищ по перу Всеволод Иванов. А всеми нами любимый Корней Иванович Чуковский! И нашим и вашим... Реплика деда, которую я сам слышал, уже в связи с Солженицыным и письмом Каверина о разрыве отношений, фраза, по-моему, очень показательная в контексте сказанного: «Мне слюней жалко, чтобы плюнуть после этого Венке в лицо». Сильно сказано, думаю не без оснований...

Как это все-таки по-нашему — вали все на одного, а сами в кусты. «Рассея»!

Что же касается Ваших суждений о старости, безволии, заботе о собственной безопасности, о том, что засосало, — это все так. С Вами трудно не согласиться. Старость многое меняет в человеке. (Долгая у человека старость. Катаклизм эволюции Homo sapiens... Вот и тянем.)

Вот, Юрий Михайлович, что захотелось сказать Вам в связи с Вашей книгой о Федине. Название, конечно, так себе, завлекательно-примитивное. Но и это понятно, нужна клюковка, иначе читателя не заманишь.

Письмо это я прочитал Нине Константиновне. И она его одобрила и велит Вам кланяться, и благодарит за книгу. Велит еще раз сказать, что книгу принимает вполне.

Всего Вам доброго.

С уважением,

Константин РОГОВИН, внук К.Федина

Дурылинский окоём

Рубрику ведет Лев Аннинский

Сергей Дурылин — яркий культурный деятель предреволюционной эпохи, входивший в круг Василия Розанова, Николая Бердяева, Павла Флоренского... Человек интеллектуально-уникальный и нравственно независимый, начавший отсиживать сроки уже при царской власти, а при власти советской переживший две ссылки... хорошо еще, что не упекли в Гулаг — дотянул аж до 1954 года, отрезанный от издательств и университетов.

Поэт, прозаик, педагог, литературовед, историк театра, критик живописи и графики, археолог, религиозный мыслитель, иерарх Русской Православной Церкви... самым ценным из того, что делал, считал прозу.

После десятилетий запрета его проза — стараниями таких исследователей, как Александр Галкин, Анна Резниченко, Татьяна Резвых, Виктория Торопова, Наталья Виноградова — собрана и издана. «Забытая русская проза» — с горечью обозначено на обложке сборника «Тихие яблони»

Как вписывается проза Сергея Дурылина в нынешнюю литературную ситуацию, пережившую с его времени столько непредсказуемых поворотов и кувырков?

Первое, что поражает в этой прозе: в ней нет ощущения тех жутких катастроф, которые обрушились на человечество в XX веке.

А что есть?

«Семейная повесть». Поставленный в заглавие «Сударь кот» — символ домашней обжитости, доведенной до параметров церкви (кот — единственный из «братьев наших меньших», кому дозволено здесь свободно гулять, в том числе и в алтаре).

Тишь монастырская успокаивает людей. Ничего демонстративно-грандиозного!

«— Ах, бабушка, какая ты маленькая!

— К земле, детка, расту, к земельке: маленьким меньше местечка надобно и лежать теплее».

Теплее — от веры в добро. От ощущения естественности этого добра. И этой веры.

«Птицы поют, и всякий цветок на своем месте, где ему положено Богом, цветет: иной — при дороге, другой — на болотце, третий — на луговинке; синий, белый, желтый — кто покрасил? И все благоухают, каждый с своего места. И птички поют, и тоже каждая с своего места Бога хвалит: иная — на виду человеческом, другая — в лесной глубине, а третья — в синем небе высоко, человеку незримо. Всякое дыхание да хвалит Господа!»

Под этим умиротворенным многоцветьем — основа; прочная и чистая белизна; знак незыблемости:

«Сад весною был розово-бел, и снежок, легкий и душистый, густо покрывал траву, когда кончался вешний цветень».

Где-то далеко — причуды басурманского духа... А то и папского, о коем прадед рассказчика судит с добродушной иронией:

«На башнях кресты малы, будто с шеи у кого сняты и к куполу припаяны, а с кровли на прохожих бесы лают...»

Там — бесы А тут — благодать! «Всегда веселый Сон или лукавая поспешница Дрёма».

Пьешь эту жизнь-благодать — как квас из шкалика, — «чтоб хлебней было». И думаешь: хоть бы не порушилась эта чистая, тихая, мягкая жизнь...

А где же язвы, подстерегающие благодать? Где разбойники с большой дороги, нападающие на купцов, которые едут в Нижний на ярмарку?

А воровство! Без него на Руси ни шагу!

Прадед — приказчику:

"Вот что, Семён. Есть нужда мне поехать в чужие края. Отлучусь на год, может быть, на два, а лавку на тебя хочу оставить. Знаю: можешь ты меня за это время обворовать — не до разору, а до большого замешательства в делах, а если потерпишь и без воровства меня дождешься, — поверь, оба богаты будем: на меня хватит, да и тебе побольше останется, чем без меня у меня возьмешь. Видишь: как на счетах тебе выкладываю". Приказчик засмеялся в ответ и сказал: "Спасибо, хозяин, за открытое слово. Я вором не был у тебя". — "Не был, — спокойно ответил прадед. — Я и говорю: не был. Хочу, чтобы и впредь не был, оттого все тебе и открыл". — "А если я тебе скажу, что им и не буду, — поверишь?" — "Поверю". — "А дозвошь спросить, как такому слову, вперед закидному, верить можно?" — "Думаю, что ум у тебя, Сеня, есть — оттого и верить можно. Другому бы не поверил". — "Кто ж наперед-то скажет, что будет или нет воровать?" — "А мне сказания не нужно, мне расчет нужен: принимать мой расчет-учет или нет?" — "А если прогадаешь?" — "Моя оплошка будет". Приказчик подал хозяину руку, а тот ее принял».

Разбойники и воровы — неизбежность, отодвинутая куда-то за пределы повествования. Чтобы нечисть не мешала «легкоте в письме». Где-то там остается и красноезвездная смута. А тут — безмятежное детство-отрочество Ариши и счастливая влюбленность ее в сверстника Петю... Читаешь и думаешь: только бы не нарушилось...

И все-таки нарушилось! Тут подходим мы к тому, что таится в счастливом бытии героев, — та жуть, которая вроде бы далеко. Отец Ариши задумывает выдать ее замуж. Традиционно и законно. Петра предусмотрительно отправляет в дальнюю командировку. Тоже законно и даже гуманно. На сговор приглашен жених; он молодец — румян, высок, статен, весел, обходителен.

И Ариша является на сговор — тоже традиционно и законно... но слушайте!

«Она вошла сбоку, из боковых прикрытых дверей, так неприметно и тихо, так неожиданно раздвинув рукою двух старушек, стоявших у двери, что и не приметил никто, — и только когда, сделав споро, хоть неторопливо, два шага к Спасу, она остановилась, не доходя до отца и матери и жениха, истово перекрестилась на образ, поклонилась низко Спасу, поклонилась родителям, поклонилась на все четыре стороны, — только тогда все разом ахнули не со страхом, а с ужасом даже: невеста была в самом простом, обычном черном одеянии монашенки-послушницы, в черном кашемировом платочке, покрытом по-монашески. Лицо ее было бледно, но спокой-

но, и так же неторопливо и истово, как вошла и помолилась на образ, она промолвила, только очень тихо:

— Богу я обещалась, я послушание приняла. Батюшка с матушкой, простите меня Христа ради, — и поклонилась в ноги отцу с матерью; встала и, отдав и жениху поясной глубокий поклон, промолвила:

— А вы не взыщите на мне: невестой вашей я еще наречена не была. Вольны вы.

Тут опомнился прадед, сделал шаг к дочери и поднял на нее руку, — но рука опустилась, и, задыхаясь от гнева, от боли, он воскликнул:

— С ума рехнулась! Опомнись, безумная!.. Очнись!

Он готов был сорвать с нее черное платье. Но жених не дал ему. Он схватил его за руку и сказал, блестя глазами:

— На монашенках кто ж женится? Не препятствуйте. Им в монастыре-с место, да Псалтырь читать-с, на спасение души-с. А мы — люди грешные. Прощения просим-с. — Он поклонился прадеду. В голосе его была злоба и дрожь. — А вам спасибо, — уже совсем с дрожью и злостью поклонился он Арише, — что вовремя остерегли от ошибочки-с, от монашеского житья-с...

И вышел, не обернувшись, из залы.

Чувствуете? Какой невыносимый сбой греха и праведности! И чувства понятны, и злоба реальна. Но никто не собирается ломать жизнь намертво, до основания, чтобы строить новую. Все происходит без нарушения общего порядка, в данном случае православного, и судьбы проясняются (и сламываются) внутри незыблемого общего строя.

По моим читательским ощущениям — именно этот «слом без слома» потрясающе действует сегодня в дурылинской повести. Теперь, когда позади катастроф Первой мировой войны, и война гражданская, и Великая Отечественная, и сталинская диктатура, канувшая в небытие вместе с Советским Союзом. Никто сегодня не помышляет о сломах бытия (разве что безумцы!) Сломов судеб вершатся внутри незыблемого общего порядка, под крышей всеобщей солидарности — чтобы избежать общей беды...

Ариша, сделавшись в монастыре инокиней Иринеей, тихо изживает свое горе.

Вот это горе, изживаемое покорно, с пониманием того, как надо очищать от пролитой красной крови невосполнимо белую судьбу, — оно острее всего действует на меня сейчас в дурылинском повествовании, написанном век назад.

Надо ж было, чтобы век прошел — страшный XX век — и мы оказались в ситуации века «нестрашного» (кто знает, каким он еще обернется?) — в общем согласии, когда люди корчатся от боли, и «тихие яблони» оборачиваются неслышным ядом...

Еще одно дурылинское рассуждение мне хочется откомментировать: «Яшкино».

Архимандрит говорит, что у нас «детское богословие» (выношенное и сбереженное Иринеей) чаще всего «пахнет Оригеном». Или оно задавлено *Яшкой*.

«Яшку не понимаете? — переспрашивает архимандрит. И объясняет:

— Старец один мне так говорил ... Яшкой он наше «я» пресловутое называл, философствующее, богословствующее, самоутверждающееся, самочинное. «Яшка», говорил, на последнем должен стоять месте, «я» — последняя буква в азбуке, — а у нас Яшка на первое место забрался и все другие буквы вытеснил и зачеркнул. В детском богословии вовсе Яшки нет: там не Яшка, там Ангел богословствует и предлагает нам в снедь «ангелов сладость». В духовную снедь, не только в телесную. Яшка же умник известный: он нас с вами непременно бы поправил и объяснил бы нам, что вы — под «хлебом ангельским», а я под «сладостью ангелов» совсем не то, что надо, разумели,

и даже оба в ересь впали. Какую — он бы нашел, он в канонах начитан. Это он лампадку Оригенову у вас увидал; он на это зорек...

Ну, и как же этот Яшка богословствует?

— Он портной ведь, Яшка-то, и скверный портной: сошьет платье на все мирозданье и рад, а платье сшито скверно, не по росту, жмет и коробит отовсюду. Где ему шить? Он ведь косой и левша, все мерки переврет — и не замечает, что платье рвется по швам и никуда не годно... И что под его платьем не умещается — рвет его по швам. Любовь Христова — широкая и милующая, а у него все — Ориген».

Мой комментарий краток. Можно выставить этого Яшку как искажение истины Христовой, но избавиться от него невозможно: каждое новое поколение будет платить дань яшкинскому Оригену, мысля его абсолютным оправданием индивида.

А дальше? Преодолевать это. И нащупывать общую истину. В нашей ситуации — православную.

А что, зорек был Сергей Дурылин, пока мы бились во тьме смуты.

И наконец, последнее. Каким-то запредельным чутьем предвидит он кризис Великой Державы, каковою суждено выбраться России из костоломного XX века: исчезновение Советского Союза, усекновение страны до масштабов уже не мирового, а регионального уровня... Дурылин, правда, привязывает это к противостоянию славян и татар времен Батыя... Для 1913 года, когда написан рассказ «О невидимом граде Китеже», привязка понятная: за год до Первой мировой войны Батый такое выдержит. В наше время лучше не сводить счеты с Ордой: эти счеты могут переломить страну надвое. Но поразительно у Дурылина само ощущение величия России, затаенного в подсознании — и спасительного, именно потому что оно сокрыто.

«И стоит доселе пресветлый Китеж невидим, и не увидеть его никому, кроме чистых сердцем и обильных любовью. Им — пресветлый град, нам — лесные холмы и дремучий лес».

Лесные холмы... дремучий лес... тихие яблони. И неистребимая верность жребию, который сделал русских великим народом, обреченным бесконечной болью оплачивать свое величие.

* * *

Хочу отметить еще одну замечательную исповедь в наследии Дурылина — книгу его воспоминаний о детских и гимназических годах «В родном углу» (издана стараниями А.Б.Галкина с комментариями М.А.Рашковской и предисловием Дм.Шеварова). Особенно интересны мне в этой исповеди гимназические эквилибры иноземных влияний: «Французы и немцы», например, еки и латинисты».

«Это было самое суровое и грозное племя в гимназии — племя греков и латинистов. Латинский язык, начинавшийся с первого класса, и греческий язык, преподаваемый с третьего класса, продолжались до восьмого и были главными предметами в гимназии. Ни математика, ни русский язык не могли идти в сравнение с классическими языками по своему месту в гимназии: так, уже с первого класса латинскому языку отводилось шесть уроков в неделю, тогда как русскому выделялось пять, а математике — даже четыре. Немудрено, что греки и латинисты были тузами в преподавательской колоде, значение их было велико, не то что каких-нибудь немцев или французов, а влияние их на судьбы гимназистов часто было роковым: можно было проскочить через гимназические заставы, путая Иоанна Третьего с Иоанном Четвертым или не умея перевести маленькой басни Лафонтена, но проскользнуть через

заставы экзаменов, не accusatives cum infinitivo и не умея отличить аориста первого от аориста второго, было невозможно...

Еще хуже бывало, если преподаватель приносил переведенный им самим на русский язык отрывок из Цезаря, Цицерона, Ксенофонта или Геродота и требовал, чтобы ученик пятого класса в обратном переводе с полнейшей точностью восстановил железную логику Цезаря, кованую медь Ксенофонта, белоснежный мрамор Геродота и даже плавленное золото Цицерона. Я думаю, что эта задача была бы недостижима даже для Вячеслава Иванова, ученика Моммсена, переводчика Эсхила, свободно писавшего на латинском и древнегреческом языках. Мудрено ли, что самые лучшие эллинисты и латинисты из пятого класса, при всех своих стараниях достигнуть до слога Цезаря или Геродота, далеко от него уклонялись в своих латинских и греческих отрывках. Extemporale были поэтому лучшим поприщем для избиения младенцев: как ни переводил, Цезаря не достигнешь, а стало быть, ошибки против его текста неизбежны, а следовательно, неизбежны единицы и двойки, карающие за эти ошибки. Я не помню ни одной пятерки, полученной кем-либо за extemporale. Они были предметом ненависти для учащихся и причиной страдания для их родителей.

Когда пронесся слух, что extemporale будут уничтожены, по гимназии ходило стихотворение:

Клянусь я кафедрою стойкой,
Клянусь журналом и пером,
Клянусь своею первой двойкой,
Клянусь последним я колом,
Клянусь Вергилием Мароном
И Ахиллесовой пятой,
Клянусь болтливым Цицероном,
Клянусь Сократа бородой,
Клянусь я cum ut causale
Клянусь навеки, навсегда,
Что по тебе, extemporale,
Я не соскучусь никогда!

Поразительное место. многое объясняющее в становлении русской интеллигенции. Разумеется, буйные гимназисты с демонстративным негодованием отвергают античную премудрость, предложенную им в экзаменационных билетах. А при всем том усвоены оказываются и железная логика Цезаря, и кованая медь Ксенофонта, и даже плавленное золото Цицерона. И все это идет в мясорубку революционной Смуты... Спасибо Сергею Дурылину, что он сохранил в ней «Родной угол»!

Summary

Marina MOSKVINA. Centaur and Marusya. Long short story

Shagal's Vitebsk. Young lovers, casual concerns, local high days, dances in the public garden... The horrible war is already going in the world, "but the half-asleep, living as if nothing has happened, crowded, artisan Russian-Polish-Byelorussian town doesn't hear the roar of the cannons..."

Sergej PRUDNIKOV. Hello, Dad. Long short story

For the protagonist of this story the attempt together with his father to revive the old ramshackle grandfather's house in the village turns out a possibility for the first time to see his life and the life of his parents with adult sober eyes. The trajectory of the glance: St. Petersburg – Krasnoyarsk – Tuva.

Sergey RYAZANTZEV. Nomads of the Renaissance-Avenue. Long short story

Young Moldavians are roaming about Kishinev's dens of iniquity, making love, drinking and singing, selling TV-news and printers – and suddenly find out that the youth is over. Then they roam to the West. How are they doing there? With great difficulties. However... "anything but going back".

Poetry

In this issue: Sergey ZOLOTAREV, for whom love is an "irregular self-sufficing verse"; Vladimir KOZLOV with his vers libre reminding breathlessly choking speech; Hanna SHEVCHENKO with her distinct clear poetry of everyday life; Alexander KLIMOV-YOYZIN and Evgenij SOLONOVICH with their meditations on themselves and those corners of the country where one can exist recalling in the memory moments of "the fragile happiness".

Evgenij VOISKUNSKIJ. Kuznetsov's Case. An extract from the new novel

The fifties of the last century. Echo of the "Leningrad's case" – the so called "fighting against cosmopolitanism" – and Stalin's death through the lives of ordinary people.

Anatolij TZIRULNIKOV. Kiss of a jukagiriiritar

The shore of the Arctic Ocean to most of us seems to be uninhabited kingdom of the Snow Queen. But actually people are living there, working, raising children... What are they like, the residents of the very-very far North, how do they live, what are their needs and achievements, their bittersweets of the daily life? All this is revealed in the fragments of the new book by our regular author – scholar, writer and traveler A. Tzirulnikov.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

дружбанародов.com

и на сайте **vipishi.ru**

<http://vipishi.ru/internet-catalog-podpiski/item/inet/330/32/35335/druzhba-narodov/>

Верстка Елены ЖИРНОВОЙ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

«ДН» — 2017

Романы, повести:

Севак АРАМАЗД. Гора солнца. *Роман. С армянского*

Игорь БУЛКАТЫ. Цорион. *Повесть*

Керен КЛИМОВСКИ. Дорога. Скорость. Высоцкий. *Повесть*

Александр МЕЛИХОВ. Вестники. *Повесть*

Владимир ЛИДСКИЙ. Эскимосско-чукчанская война. *Повесть*

Марина МОСКВИНА. КРИО. *Роман. Книга вторая*

Юрий ОКЛЯНСКИЙ. Зять владыки. *Документальная повесть об Алексее Аджубее*

Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ. Новая повесть

Теймураз ТВАЛТВАДЗЕ. Небесная Call of Duty. *Повесть*

Ася УМАРОВА. Приходи свободной. *Повесть*

Булат ХАНОВ. Восточное направление. *Повесть*

Левон ХЕЧОЯН. Чёрная книга, тяжёлый жук. *Роман. С армянского*

Отар ЧХЕИДЗЕ. Артистический переворот. *Роман. С грузинского*

Владимир ШПАКОВ. Формула Атлантиды. *Роман*

Архив:

Лев АННИНСКИЙ — Игорь ДЕДКОВ. Из переписки 1973–1987 гг.

Ольга КЛЮКИНА. Муравей на мониторе. *Как мы жили*

с Инной Львовной ЛИСНЯНСКОЙ летом на даче

Новые сочинения: Василия АВЧЕНКО, Ольги БРЕЙНИНГЕР, Алисы ГАНИЕВОЙ, Валерия БЫЛИНСКОГО, Дмитрия ВЕРЕЩАГИНА, Андрея ВОЛОСА, Эльчина ГУСЕЙНБЕЙЛИ, Елены ДОЛГОПЯТ, Натальи КЛЮЧАРЁВОЙ, Алексея КОЛОБРОДОВА, Ильи КОЧЕРГИНА, Фариды НАГИМА, Владимира НЕКЛЯЕВА, Ульи НОВЫ, Дмитрия НОВИКОВА, Светланы ПЕТРОВОЙ, Мариам ПЕТРОСЯН, Романа СЕНЧИНА, Александра СНЕГИРЁВА, Владимира ТОРЧИЛИНА, Александра ХУРГИНА, Дмитрия ШЕВАРОВА, Евгения ШКЛОВСКОГО

Новые имена: участники Форума в Липках, Волошинского фестиваля, фестиваля «Литературный ковчег» и наши собственные открытия

Новые стихи и переводы: Шамшада АБДУЛЛАЕВА, Сухбата АФЛАТУНИ, Ефима БЕРШИНА, Германа ВЛАСОВА, Андрея ГРИЦМАНА, Алексея ИВАНТЕРА, Игоря ИРТЕНЬЕВА, Александра КАБАНОВА, Инны КАБЫШ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Григория КРУЖКОВА, Марины КУДИМОВОЙ, Инги КУЗНЕЦОВОЙ, Виктора КУЛЛЭ, Станислава ЛИВИНСКОГО, Вадима МУРАТХАНОВА, Олеси НИКОЛАЕВОЙ, Александра ОРЛОВА, Натальи ПОЛЯКОВОЙ, Геннадия РУСАКОВА, Юрия РЯШЕНЦЕВА, Анны САЕД-ШАХ, Владимира САЛИМОНА, Ильи ФАЛИКОВА, Олега ХЛЕБНИКОВА, Вячеслава ШАПОВАЛОВА, Санджара ЯНЫШЕВА и других авторов

Следите за рубриками:

«ДРУЖБА НА ВЫРОСТ»

«ПЕРВЫЕ СТИХИ» *Сергея НАДЕЕВА*

«БИБЛИОНАВТИКА» *Ольги БАЛЛА*

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР» *Евгения АБДУЛЛАЕВА*